

А. А. Донсков (Ред.)

Новые материалы
Л. Н. Толстого и о Толстом

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner:

<http://verlag.kubon-sagner.de>

© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig.

«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH

ISBN 3-87690-638-5

©

by Verlag Otto Sagner, München 1997.
Abteilung der Firma Kubon & Sagner,
Buchexport/import GmbH, München
Offsetdruck: Kurt Urlaub, Bamberg

97 P 87690

**Vorträge und Abhandlungen
zur
Slavistik**

herausgegeben von Peter Thiergen (Bamberg)

Band 32

1997

VERLAG OTTO SAGNER * MÜNCHEN



Л. Н. Толстой и его секретарь Н. Н. Гусев
в «ремингтонной» комнате. Ясная Поляна.
Фотография Т. Тапселя. 1909 г.

**Новые материалы
Л. Н. Толстого
и о Толстом
Из архива Н. Н. Гусева
(со вступительным словом на английском языке)**

**New Tolstoy materials
from the N. N. Gusev Archive
(with an introduction in English)**

**Составители:
Л. Д. Громова-Опульская, З. Н. Иванова**

**Редактор:
А. А. Донсков**

**Compiled by
L.D. Gromova-Opul'skaya and Z.N. Ivanova**

**Editor
A.A. Donskov**

Н. Н. Гусев и Л. Д. Громова-Опульская
Голицыно.

Фотография М. Громова. 1963 г.



Содержание

От редактора	xi
From the N.N. Gusev Archive: New Tolstoy materials <i>A. A. Donskov</i>	1
Секретарь Л. Н. Толстого <i>Л. Д. Громова-Опульская</i>	18

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА

1. Л. Н. Толстой – К. М. Сибирякову. 6 авг. 1889 г.	23
2. Л. Н. Толстой – П. В. Великанову. 18 марта 1898 г.	24
3. Л. Н. Толстой – неустановленному лицу. 1898-99 гг.	25
4. Л. Н. Толстой – В. С. Толстой. 12 июля 1899 г.	26
5. Л. Н. Толстой – Д. Н. Анучину. 31 августа 1909 г.	27
6. Л. Н. Толстой – Г. А. Новичкову. 10 февраля 1910 г.	28
7. Л. Н. Толстой – неизвестному лицу. Без даты.	29

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

8. Н. М. Еропкина. Воспоминания	33
9. Н. И. Петров. Эпизод из паломничества Л. Н. Толстого в Киев в 1879 г.	36
10. С. В. Бельгард. Дни, прожитые когда-то в Ясной Поляне	48
11. И. Л. Поливанов. Л. Н. Толстой в 1881 г.	51

12. М. С. Урусова. Из воспоминаний о Толстом	61
13. Т. Г. Арнаутова. Из личных встреч с Толстым	61
14. В. П. Шнейдер и сестра. Свидание И. П. Минаева со Л. Н. Толстым	69
15. Ю. Я. Рабинович. Две встречи с Л. Н. Толстым	71
16. В. Д. Поленов. Толстой у Поленова	75
17. Е. А. Пушкин. Мои воспоминания о гр. Л. Н. Толстом	77
18. С. Т. Кузин. Мои воспоминания о Льве Н. Толстом	82
19. С. А. Некрасов. Встреча Льва Толстого с Сеченовым	86
20. В. В. Марковников. Воспоминания	88
21. В. В. Романов. Из прошлого. Отрывки из воспоминаний старого журналиста о Л. Н. Толстом	90
22. В. Ф. Лебедев. У Л. Н. Толстого (Воспоминания)	101
23. А. Л. Вольнский. Ясная Поляна (Из письма)	113
24. П. К. Энгельмейер. Воспоминание из эпохи начала авиации в Москве	122
25. Неизвестный автор. Воспоминания о встрече с Л. Н. Толстым в 1899 г.	124
26. А. П. Накашидзе. Воспоминания	130
27. Т. И. Бобырь. Посещение Льва Николаевича Толстого в Москве, в его доме в Хамовниках	133
28. С. П. Эверлинг. Из бесед со Л. Н. Толстым	138
29. Н. Л. Аронсон. Воспоминание об акушерке	142
30. С. М. Ратов. День с Толстым	145

31. А. Г. Русанов. Поездка в Ясную Поляну	152
32. П. Ф. Безверхий (Буки). Мое знакомство и переписка с Л. Н. Толстым	155
33. П. Буайе. У Толстого	156
34. И. К. Дитерихс. Мое последнее свидание со Л. Н. Толстым	161
35. А. Демидов. Встреча с Л. Н. Толстым	163
36. Е. А. и А. А. Салищевы. Дети тульских рабочих в Ясной Поляне летом 1907 года	168
37. И. В. Сидорков. Отрывочные дневниковые записи	174
38. Н. Н. Краморев. В Ясной Поляне в 1907 году	190
39. А. В. Мартынов. Болезнь Л. Н. Толстого в 1908 г.	201
40. В. А. Шейрман. Нечто о Толстом (в связи с моими исканиями)	206
41. Г. С. Павлов. Воспоминания о Л. Н. Толстом	218
42. И. Мельников. Из моих воспоминаний об Ясной Поляне	220
43. И. В. Денисенко. Воспоминания	226
44. Б. О. Гольденблат. Лев Николаевич Толстой в суде	228
45. Г. Д. Деев-Хомяковский. Рабочие в гостях у Л. Н. Толстого	231
46. Ф. Миловидов. Л. Н. Толстой в Московской губ.	236
47. А. Мачикин. Воспоминания о посещении Ясной Поляны летом 1910 г. и встрече с Л. Н. Толстым в поезде	238
48. М. Богданович. У Льва Толстого	241

49. И. И. Перпер. Из воспоминаний о Льве Николаевиче 248

50. Ф. И. Новиков. Рассказ о Л. Н. Толстом 250

ВОСПОМИНАНИЯ
В ПИСЬМАХ Н. Н. ГУСЕВУ

51. Е. Н. Любич. 27 февраля 1926 г. 255

52. Б. О. Гольденблат. 21 января 1929 г. 257

53. М. П. Новиков. 29 февраля 1936 г. 258

54. В. С. Никольский. 17 января 1937 г. 260

Указатель упоминаемых произведений

Л. Н. Толстого 262

Указатель имен 262

ОТ РЕДАКТОРА

От имени Оттавского университета, я бы хотел выразить сердечную благодарность Государственному Музею Л. Н. Толстого в Москве за предоставленный ценный материал в данном сборнике и за столь важное, как для толстоведов, так и для всех читателей, сотрудничество.

Я хотел бы также выразить свою признательность моему коллеге Джону Вудсворту и моему аспиранту-ассистенту А. А. Ключанскому за участие в подготовке данной книги.

Май 1997 г.

А. А. Донсков
Оттавский университет
Канада

38. M. H. ...

...

FROM THE N.N. GUSEV ARCHIVE:
NEW TOLSTOY MATERIALS
(Вступительное слово на английском языке)

The materials published here for the first time comprise a unique, original collection of memoirs, recollections and reminiscences on Lev Nikolaevich Tolstoy. The originals are all contained in the archive of Tolstoy's personal secretary, Nikolaj Nikolaevich Gusev, which he donated to the L.N. Tolstoy Museum in Moscow. While Gusev had indeed intended to publish them, he never had the opportunity to fulfil this ambition.

The materials are presented together with a sensitive description of the relationship between Tolstoy and Gusev by Lidia Dmitrievna Gromova-Opul'skaja, herself a legendary Tolstoy scholar, accompanied by her commentaries and those of another Russian academic, Zinaida Nikolaevna Ivanova. The accounts should appeal to specialist and lay person alike, as each of them describes some interesting trait of both the professional and the everyday human life of the writer/philosopher, as seen through a particular episode witnessed or conversation shared, vivid details of his external appearance — his clothing, bearing, mannerisms — or a revealing insight into some corner of his mental makeup, some facet of his thinking, giving new significance to one of Tolstoy's sayings or some obscure passage from his writings not hitherto fully explained.

Tolstoy himself considered memoirs a valuable and important literary genre, which he himself employed on at least one occasion, namely, in *Vospominanija* (*Reminiscences*, 1903–06).

It is true that the bulk of the memoir literature on Tolstoy comes from members of his family and from those in his wide circle of friends and acquaintances who represented the élite of his time (contemporary scholars, writers, composers, artists, theatre people). Such monumental collections of reminiscences and diary entries by personal physician Dushan Petrovich Makovitskij, pianist Aleksandr Borisovich Gol'denvejzer, publisher Vladimir Grigor'evich Chertkov, along with memoirs of teachers and pupils at his Yasnaya Polyana school (Petr Morozov, Vasilij Morozov, Nikolaj Peterson), are veritable chronicles of Tolstoy's life and writings from the mid-19th to the beginning of the 20th century. But one must also remember the significant contribution made by ordinary Russians from all over the country and of many diverse walks of life — including the peasants, who were able to relate to him as to no other writer in Russian history.

The forty-seven accounts (following the seven Tolstoy letters) comprising the present collection come mostly from such people — from those who were well acquainted with Tolstoy (e.g., Nos 34, 38) and from first-time visitors (e.g., 24, 28), who made sometimes arduous journeys to see the *starets* of Yasnaya Polyana — especially the penniless farm lad from Ukraine (25). The accounts not only reveal, but also augment or deepen our understanding of, particular traits of Tolstoy's character, or shed fresh light on already-

-known episodes of his life from a completely different angle. He is shown as a young man (8) and deep into old age (44, 48), as a teacher of life attracting followers from all over the world (23, 33, 48), and in more mundane affairs such as buying a house (13). Many of his acquaintances see him as the great prophet of the age (e.g., 23, 30, 32, 42, 47), while others accept him more on the level of a personable human being (12, 13, 29, 37, 52). Attitudes range from unquestioned praise (38) to, in at least one instance reported from a third party, outright condemnation (the woman on the train in No 10).

With rare exceptions (e.g., No 40) we are treated not to abstract analyses and generalisations of his teachings, but to specific, concrete evidence of his daily activities at Khamovniki (15, 22, 28) and, of course, at Yasnaya Polyana (39, 41, 48), whose quieting atmosphere still leaves its indelible impression on virtually all who visit there. We are also afforded glimpses of the man outside his home — attending a lecture downtown (19, 20) or a trial in Tula (44), visiting an artist's studio in Moscow (16) or an archaeological museum in Kiev (9), discussing Indian language and culture with a Sanskrit professor in a hotel-room (14) or art and philosophy with like-minded thinkers in a headmaster's office, in a rare stenographically recorded interview (11). A few casual moments are also included: Tolstoy pedalling a wobbly bicycle up Poklonnaja Hill (21), lunching in a railway-station snack-bar in Tula (47), dashing home by troika one wintry day on the suspicion that his wife was having an affair in his absence (17), bidding farewell to a friend in St Petersburg about to be sent into exile (10), being helped across a log-bridge by peasants, for fear of falling into the water (46), being driven by a peasant coachman to a monastery after fleeing his family in the last days of his life (50).

We learn of Tolstoy's relationships with those around him: his personal physician Dushan Makovitskij (37, 42), his faithful but ambivalent wife Sof'ja Andreevna (29, 40, 43), his publisher, both in Russia and abroad, Vladimir Chertkov (38, 46), his children and other relatives (4, 30, 34, 43). We learn about his attitudes to fellow world thinkers, past and contemporary, and, in some cases, what they thought of him — e.g., writers Dostoevsky (11, 23, 40), Korolenko (49), Turgenev (8), Shakespeare and Molière (11); artists Repin (22, 27) and Leonardo Da Vinci (23); the composer Tchaikovsky (38); the pianist Gol'denvejzer (37, 39, 54); the actor/director Stanislavsky (30); the philosopher Nietzsche (23, 31); the economist Henry George (35, 49).

We read of his treatment by the press, especially by the staff of *Russkie vedomosti* (21) and *Russkoe slovo* (48). We gain insight into his staunch defence of the unjustly persecuted (26, 44, 53), his efforts to help others find work (5), his moral encouragement to those in need (6, 7, 18), his oft-noted gentleness and delicacy in criticising others (1, 2, 3, 22, 29), his potential for occasional less tactful reaction (8, 16), his less-than-positive attitude toward women in the professions (27, 30), his disagreements with his wife over their children's education (12, 34), his preference for prose over poetry (18, 23) and for painting over sculpture (30), his openness toward children and young people (36, 42, 45), his counsel to present and potential army recruits (32, 37, 51), his fondness for the peasantry and appreciation for their life on the land (6, 18, 31, 33), his love of animals and nature in general (13, 36, 45),

the consistency of his conversation with his writings (35) and (from at least one visitor's point of view — No 40) his capacity to offer even more of himself in personal communication than in his writings.

Finally, we are given several descriptions (e.g., 27, 41) of the celebrated writer's funeral at Yasnaya Polyana 10 November 1910, the most extensive being provided by the journalist Vladimir Romanov (21), who reported on not only the ceremony but all the events leading thereto for *Russkie Vedomosti*.

While all the memoirists have something interesting to say about Tolstoy, all that they reveal, in the process, of their own stories, concerns and inner characters, further contributes to our understanding of the social and moral perplexities of the times surrounding the writer and his work.

Especially for the benefit of the English reader, a brief summary of the letters and accounts is offered below.

Surprising as it may seem, new messages written or dictated by Tolstoy himself are still turning up even more than eighty years after his death — messages which somehow escaped the earlier compilers of his 'complete works', including correspondence. The seven Tolstoy letters from the Gusev collection published here for the first time are naturally given pride of place in the current volume.

All seven letters are quite brief, less than 200 words each. One of the longer ones (No 4) was penned to a niece, Vera Sergeevna Tolstaja, in 1899, thoroughly chastising her and virtually threatening her with everlasting punishment for causing her father untold sufferings by running off to Samara without telling him and refusing to answer his letters.

Another letter of equal length (No 1), addressed to his friend Konstantin Mikhajlovich Sibirjakov (a former publisher of the paper *Slovo*), comprises a string of apparently randomly ordered remarks on people and other topics of common interest, from criticism of V.F. Orlov to invoking God's help in Sibirjakov's efforts to serve others by his own labours. Letter No 2, only slightly shorter, is an evident attempt to patch up a misunderstanding with friend Pavel Vasil'evich Velikanov: Tolstoy's initial admission of hurt feelings is eventually followed by an apology and a request for forgiveness.

Letter No 5, on the other hand, consists of a mere eight words scribbled on one of Tolstoy's business cards, discovered by sheer coincidence among some papers tossed out by the post-mortem commission following the death in 1923 of Dmitrij Nikolaevich Anuchin, erstwhile editor of *Russkie vedomosti*. The message is simply the count's request to Anuchin to help the bearer of the card (evidently an unemployed psalm-reader) find work.

Not much longer are Nos 6 and 7. In the former Tolstoy urges Gavriil Aleksandrovich Novichkov, a railway-worker recently released from imprisonment on false charges, to keep in touch about any new developments in his life, while in No 7 the writer offers his addressee some words of moral encouragement to stay on the 'true and good' path of life which he has found. Moral advice is also the theme of Letter No 3, written in response to another follower who had just shared with Tolstoy his 'inner' life history.

The bulk of this volume is devoted to forty-three 'eye-witness accounts' from the Gusev collection, arranged — insofar as dates can be determined — in approximate chronological order and numbered (following the seven letters by Tolstoy) from 8 to 50. (Four additional references to Tolstoy, drawn from letters addressed to Gusev himself, are presented in a separate section at the end of the book.)

The earliest of these accounts (No 8) dates back to Tolstoy's earlier years, to a time when the young count 'imagined himself to be handsome when he really was not, went overboard in his manner of dress and put on airs'. Recorded by Aleksandr Somov from the lips of his grandmother Nadezhda Mikhajlovna Eropkina (née Turgeneva), who in turn heard it from *her* grandmother, the story describes a particular incident at a social gathering, when Tolstoy became angry with fellow writer Ivan Sergeevich Turgenev for accidentally pouring coffee over his brand new imported-from-London trousers. Happily, both the trousers and the relationship between the two writers survived the incident without serious harm. But these early reminiscences, according to their author, introduce us to a 'second self' inside Tolstoy, a darker, ego-centric, 'devil' self, constantly at war with the kind, altruistic 'first self' — foreshadowing, no doubt, the numerous inner conflicts the writer/philosopher was to experience over his lifetime.

The second account (No 9) takes us forward to June of 1879, when, on a 'pilgrimage' to Kiev, Tolstoy paid a two-hour visit to an archæological museum attached to the Kiev Ecclesiastical Academy. The seven-page description (including background notes) by the museum's director, N.I. Petrov — preceded by a three-page introduction written in 1923 by S.M. Brejtburg and followed by three pages of what appear to be Brejtburg's own background notes — may be said to contain the least of all the accounts in terms of insight into Tolstoy's character. As both Brejtburg and Petrov himself point out, the report was written some four decades after the incident occurred, and the author confesses that not all the details of the visit may be accurately conveyed. In fact, most of the text is devoted to what might be called a 'tourist' description of the museum's collections at the time, for which Petrov drew heavily upon the first edition of the museum's catalogue, published in 1880. We are also given a brief history of the museum and of Petrov's prominent role in its development. References to Tolstoy are largely confined to his physical movements of arriving at the museum, exchanging greetings, and being furnished a description of the various exhibits as he proceeds from room to room under Petrov's guidance. Very little conversation is presented, and apart from Tolstoy's reported statement that he once dabbled in modelling clay in his youth, no significant information about Petrov's distinguished visitor is forthcoming. In fact Petrov himself, toward the end of the account, frankly admits that he 'made no attempt to penetrate [Tolstoy's] soul', hinting that one could hardly expect any serious sharing to come from 'just another chance encounter'.

Sof'ja Vladimirovna Bel'gard's reminiscences (No 10) begin with a romantic stanza purportedly referring to her mother, Baroness Mengden, tak-

en from a poem circulating in Moscow in the 1850s whose author is indicated to be Tolstoy. Her main focus, however, is on the writer's wife, Countess Sof'ja Andreevna Tolstaja, two of whose letters are quoted (possibly in full). The first was sent to her mother in August 1881 following an amateur theatre performance at Yasnaya Polyana in which she and other neighbourhood children took part; the second she herself received in 1910, in which the countess complained of her tedious everyday life. Bel'gard includes several other amusing incidents involving both Lev Nikolaevich and his wife that took place at various times.

In September 1881 the Tolstoy family moved from Yasnaya Polyana to Moscow. The count arranged for an appointment with Lev Ivanovich Polivanov, the headmaster of a *gimnazija* (secondary-level college) where he was considering enrolling his sons. The meeting took place in the headmaster's office during the school's lunch-break, and included three other teachers along with a former colleague, Evgenij Markov, who as a writer himself happened to be already acquainted with Tolstoy. The headmaster's wife, seated unobtrusively behind a partition, managed to record practically the whole dialogue on paper (her husband filled in a few missing details later). It is this transcript, subsequently edited by their son, I.L. Polivanov, that forms the bulk of the fourth account in this volume (No 11).¹ It is probably one of the most accurate transcriptions we have today of Tolstoy's participation in a discussion, and offers a vivid record of the lively dialogue that ensued, especially between Tolstoy and his acquaintance Markov, on issues of art, literature and poetry, and their connection with religion and history.

Polivanov's account is followed by the reminiscences (No 12)² of the Marija Sergeevna Urusova (née Mal'tseva). An acknowledged francophile, she was married to lieutenant-governor of Tula Province Prince Leonid Urusov, who, according to Lev Nikolaevich's son Sergej was 'one of the first Tolstoyans'. Following a visit with her husband to the Tolstoys early in 1882, Urusova and her daughters stayed several days at Yasnaya Polyana in July of the same year (the Tolstoys still spent their summers there), during which her daughter Mary succeeded in impressing Tolstoy with her music and literary talents. Reference is also made to a conflict between him and his wife over their children's education. This account was translated from the French version included in Mary's collection of her mother's memoirs, published in Paris in 1904.

Some months after the move to Moscow the Tolstoys were searching for a new place to live. In June of 1882 they finally decided on a house in Dolgo-Khamovniki Lane belonging to Ivan Arnautov and his wife Tatjana. It is Tatjana Arnautova's memories of the transaction (which for some reason she associates with 1883) that are recorded in No 13. They include several significant references to Lev Nikolaevich's great longing for the outdoors. On his very first visit to the house his primary interest was in seeing the garden. And in an addendum to the account he is quoted as saying:

¹Unfortunately, two pages of the transcript have apparently gone missing.

²Here published in Russian translation.

I took a liking to your house because it reminds me of the country. I am a great lover of nature and would be most happy if they sent me away to Siberia. But I moved because of the children. The children are attending school in Moscow — Polivanov's school. I myself would be glad to leave.

The seventh account (No 14) is one retold by Varvara Petrovna Shnejder and her sister Aleksandra Petrovna from a letter they received from their uncle, Ivan Pavlovich Minaev, a renowned professor of Sanskrit and Pali at St Petersburg University who had recently spent two years in India, as well as from conversations with their friend Nikolaj Strakhov, who was a close acquaintance of both Minaev and Tolstoy. Minaev's one encounter with Lev Nikolaevich in Tula in October of 1883 lasted over five hours, filled with a lively exchange of ideas on the political, cultural and linguistic forces at work in India, in which the two thinkers shared a burning interest.

Another account (No 15) was recorded a day or so after Tolstoy's death in 1910 by Nizhnij Novgorod poet A.A. Belozеров from a conversation with Dr Yu.Ya. Rabinovich, who as a *gimnazist* (college pupil) active in an underground 'self-educational' movement in 1884 had gone to Tolstoy for permission to reproduce some of his writings. Their first encounter took place on the street, as Rabinovich and a school-chum accompanied the writer as he walked from Khamovniki to the centre of Moscow. The following day Rabinovich went to Tolstoy's house alone to receive some promised books. Surprised to discover a group of peasant protesters outside the Khamovniki mansion, Rabinovich only many years later (after hearing that Tolstoy had left his family) was able to attribute the count's apparent insensitivity to their plight to the countervailing influence of family members.

In 1888 Tolstoy paid a brief visit to the studio of a well-known painter, Vasilij Dmitrievich Polenov, whom he had not met before. During the encounter, described by Polenov (No 16) to A.N. Moshin, the artist tried unsuccessfully to introduce his visitor to field-glasses (the better to see his painting by). Tolstoy for some reason accused Polenov of harbouring a hatred for the Christ-figure portrayed in his canvas 'Christ and the sinful woman' — an accusation Polenov never did understand. In 1909 Tolstoy wrote a letter to Polenov, expressing his thanks for an autographed album of his work the artist had sent him, and regretting that he had not been able to attend his recent exhibition.

The writer of No 17 was previously unidentified in Gusev's archive; he now turns out to be Evgenij Alekseevich Pushkin, a judge and senator connected by marriage to the D'jakov family, who had a close relationship with the count and his niece, Princess Obolenskaja. The writer describes his attempt to impress Tolstoy with a question about the nature of love and his embarrassment at the latter's laconic and somewhat mysterious reply, yet still remembering the encounter as 'one of the most interesting in my lifetime'. He goes on to recount a rare incident in Tolstoy's life he heard from Dmitrij Alekseevich D'jakov, who had once witnessed Tolstoy's frantic return to Yasnaya Polyana in a fit of jealousy, on the suspicion (unfounded, as it turned out) that his wife was having an affair in his absence — a suspicion the writer immediately repented of.

In No 18 peasant Sergej Timofeevich Kuzin describes two encounters with Tolstoy. The first took place in 1889 shortly after Kuzin had moved to Moscow after losing his farmhouse in a fire; Tolstoy advised him to return to farming (which he considered a much healthier way of life) and referred him to the writings of peasant Timofej Bondarev. After perusing a collection of poems Kuzin had brought, he declared them 'rather weak', and declared his overall preference for prose over poetry. He also recommended Kuzin give up drinking and join a temperance union. (This incident is also mentioned in No 46 — see below.) After taking Lev Nikolaevich's advice on all three counts, Kuzin came back to see him some five years later to see about publishing some prose; this time he found the great writer less cheerful; it was shortly after the death of his seven-year-old son Ivan in February 1895.

Nos 19 and 20 describe Tolstoy's visit to a famous hall in downtown Moscow 11 January 1894 to hear a lecture by V.Ya. Tsinger on the foundations of geometry, part of a week-long conference of physicians and natural scientists — first from the point of view of one of the student ushers Sergej Nekrasov, and then of one of the conference participants Vladimir Vasil'evich Markovnikov. Tolstoy arrived to thunderous applause and was seated on the stage. During the interval he was afforded the opportunity of conversing in the 'round room' with Ivan Mikhajlovich Sechenov, a prominent physiologist and member of the St Petersburg Academy of Sciences, over a hot sugar-and-lemon drink (Tolstoy did not drink tea).

One of the most far-reaching accounts (No 21) was written by Vladimir Viktorovich Romanov, a journalist with the liberal-democratic Moscow newspaper *Russkie vedomosti* (who in time, apparently, became one of their most trusted staff members). It begins with Romanov's student memories of Tolstoy, then their first chance encounter in 1894 on Poklonnaja Hill on the way to the newspaper office, when Romanov noticed Tolstoy's wobbly bicycle and offered to fix it. The journalist proceeds to chronicle Tolstoy's special relationship with the highly respected publication from 1894 to his death in 1910 — in particular with its editor, Vladimir Mikhajlovich Sobolevskij, whom Lev Nikolaevich frequently entrusted with printing his views (as well as those of others of like mind) on social issues of the day — especially the Russian famines of the 1890s. We are told of the government-imposed penalties on the paper such articles all too often led to, along with the delicate balance between public and private attitudes of the media in general toward the Yasnaya Polyana philosopher. The journalist tells of how he obtained first-hand news for the paper of Tolstoy's serious illness in 1901 directly from regular personal visits to the Khamovniki home. Especially interesting is his extensive vivid account of the newspaper's reporting (and Romanov's personal role therein) of the events surrounding the final days of Tolstoy's life (including preparations and activities of organisations such as the Literary Art Guild), his death at the Astapovo railway station, and, finally, his funeral at Yasnaya Polyana attended by masses of loyal followers which the authorities, try as they might, could not keep away.

In 1895 Vladimir Fedorovich Lebedev was a student activist at Moscow University, whose psychology professor, the well-known Nikolaj Jakovlevich Grot, offered to arrange an appointment for the young Vladimir with Count Tolstoy. Vladimir, like many students, much admired the count, whose prohibited works he often read in secret. Their encounter is described by Lebedev in No 22. After overcoming his feeling of utter awe at finally being in his hero's presence, the visitor manages to summon up enough courage to declare the exception he takes to the policy of non-violence advocated in the writer's recently published *Tsarstvo Bozhie vnutri vas* (*The Kingdom of God is within you*). The record of the ensuing lively discussion includes a number of interesting references to Tolstoy's physical features and manner of speaking, which along with his striking message made an impression on his visitor which lasted for many years to come.

The account (No 23) by Akim L'vovich Volynskij (real name: Flekser) tells of his third visit to Tolstoy at Yasnaya Polyana, which occurred 29 July 1897. Arriving mid-afternoon while Lev Nikolaevich was at rest, the visitor engaged in an interesting conversation with an old friend of Tolstoy's (Aleksandr Petrovich Ivanov), a fellow of advanced years who spent most of his time wandering penniless about the country on foot, stopping every few years at Yasnaya Polyana to see his much-beloved friend. The five hours Volynskij then spent in Tolstoy's company were shared with an unidentified visiting Englishman (actually Tolstoy's English translator Aylmer Maude) who exuded a 'refined' but 'cold' politeness. Topics of conversation included Nietzsche's philosophy, Machiavelli and Renaissance art (Leonardo da Vinci in particular), as well as the nature of the 'glorious trinity' of Beauty, Good and Truth. There are also references to a typed draft of 'Tolstoy's book on art' — no doubt *Chto takoe iskusstvo?* (*What is art?*), to be published in 1898 — and to the forthcoming 14-volume re-edition of Tolstoy's works.

Petr Kliment'evich Èngel'mejer's page-and-a-half record of his one and only conversation with Tolstoy (No 24) includes no reference to a date, although his sub-title 'Reminiscences from the time of the beginning of aviation in Moscow' places it somewhere around the turn of the century. (In 1897 Èngelmejer's book *Rukovodstvo dlja izobretatelej* [*A Handbook for Inventors*] was published; it included a letter from Tolstoy, declining to write a foreword [for lack of time] but wishing the book well.) In response to Tolstoy's question as to what was interesting at the moment 'in your technology', Èngel'mejer began talking about the latest work of prominent Western European scientists (Röntgen and Hertz in Germany, Marey in France). It was the notion of 'the philosophy of technology' (then being developed in Germany), however, that provoked a strong reaction from Tolstoy, hinting that technology was somehow at odds with mankind's moral development. Of special interest here is the noteworthy description of Tolstoy's external appearance forming the first paragraph of this text.

The unknown author of No 25 tells how in the spring of 1899, as a ten-year-old farm boy in Ukraine, he set out with hardly a kopek in his pocket (and without telling his parents) on a remarkable journey to Yasnaya Polyana to see Tolstoy (except, as it turned out, he had to backtrack to Moscow,

where the Tolstoy family lived at that time of year). His father had just returned from a long exile in Siberia for his religious convictions, and the lad hoped to convince the famed benefactor to help his family emigrate to Canada, as he had recently helped the Doukhobors (it was rumoured Tolstoy had his own ship for such a purpose). A good four-fifths of the account is devoted to the story of his journey, which reads like a children's adventure novel and is indeed fascinating. Little is actually reported (or remembered) of the resulting half-hour conversation with Lev Nikolaevich, beyond the latter's firm advice that the family should stay and make the best of life where they were, but the memory of the great man's kind, radiant expression never waned. Suffice it to say that the boy was helped to return safely home.

Like the preceding account, No 26 is also mostly a tale of adventure: Prince Aleksandr Petrovich Nakashidze tells of his unwarranted arrest and abuse by the police and of Tolstoy's influence in effecting a change in the authorities' attitude (though surely Nakashidze's own noble status, once proved, must have been a contributing factor). We are also told of the efforts on the part of Tolstoy and some of his friends to visit the injured party, who was then living in a rather undesirable part of town; there is no information given, however, on these visits, or even how many times the busy writer managed to free himself from his work and run the police gauntlet to pay an actual visit. No date is associated with the incident reported, although it is believed to have taken place in January 1901.

Similarly undated is the next report (No 27) by Tamara Bobyr', a participant in the radical women-students' movement. (The reference to Tolstoy's funeral, however, means that it was not written earlier than 1910.) Bobyr' was included in a delegation of female students asked to read an appeal to Tolstoy from the intelligentsia of Khar'kov; the fact that she was not herself from Khar'kov only added to her feelings of shyness and embarrassment, as did the presence of other distinguished visitors, notably the artist Il'ja Repin. The women were somewhat dismayed at Tolstoy's displeasure not only with the appeal (deeming it too highly influenced by Western European ideas) but with the whole notion of women being active in political and social causes. The report includes references to Tolstoy's outward appearance.

In No 28, educator Sergej Nikolaevich Èverling tells of a visit with Tolstoy in April 1901 (as he indicates, shortly after Tolstoy had recovered from his illness — cf. No 21). Almost the whole text is devoted to a relating of the conversation, which covered a variety of religious and philosophical issues: the nature of life and death, man's freedom of will, and the dichotomy of Tolstoy's two literary periods (before and after his 'spiritual crisis' around 1880) — a dichotomy which Tolstoy regarded as rather artificial. Toward the end of the conversation they were joined by a politician from Tula, N.N. Ravskij, who began steering the discussion toward more mundane matters. But the ideas shared earlier in the evening inspired Èverling to undertake a nighttime walk home from Khamovniki, 'to the other end of Moscow'.

No 29 contains an interesting story told by Sof'ja Andreevna Tolstaja in the summer of 1901, evidently to Naum L'vovich Aronson, who was staying at Yasnaya Polyana at the time. Sof'ja Andreevna describes an aspiring

midwife who, after completing the required study in her home city, had come to Moscow to take her graduating examination in obstetrics. But before she could take the examination she was told that as a Jew she must leave the city forthwith. Upon learning of her plight the countess appealed to the local authorities, but meeting no positive response, decided to defy the regulations and take it upon herself to look after the student in her own home until she could sit the exam. The police did not dare to interfere. Tolstoy later confided to the recorder of the story how impressed he was by his wife's action, as a result of which, he said, 'I forgave her a lot'.

The following year actor/director Sergej Mikhajlovich Ratov of St-Petersburg's Novyj Theatre was invited to accompany two colleagues, owner Lidija Borisovna Javorskaja and artist/set-designer Konstantin Vasil'evich Izenberg, to Yasnaya Polyana to confer with Tolstoy on their forthcoming production of his play *Vlast' t'my* (*The Power of darkness*). Ratov's text (No 30) includes a 'stenographic record' of a number of Tolstoy's utterances during two days of conversation, on such subjects as his disapproval of Stanislavsky and his intolerance of mediocrity in art. His attitude toward the theatre in general — and especially the role of women performers — is described as something less than positive. He considered sculpture to be an obsolete art-form which had its place only in antiquity. Upon request he shared a number of thoughts on the portrayal of characters in *Vlast' t'my*. The conversations also included references to 19th-century Russian writers, and to people of common acquaintance in St Petersburg.

The reference to Sunday 1 June at the beginning of the next account (No 31) indicates the year 1903. Its author, Andrej Gavrilovich Rusanov, learnt from the Yasnaya Polyana coachman who met him at the station that, just the day before, Lev Nikolaevich, accompanied by the family doctor, had paid a visit to his brother Sergej, who had fallen ill. Tolstoy and Rusanov talked about the latter's proposal to set up a 'social salvation committee' to help the needy, which in turn led to a discussion of the prejudicial attitudes toward the peasant class on the part of both the tsarist authorities and the intelligentsia. Two afternoon visitors are also mentioned: peasant writer Mikhail Novikov (who had experienced a falling-out with his fellow-peasants) and Evgenij Andreevich Solov'ev, the editor of the dissident magazine *Zhurnal dlja vsekh*, who did not find favour with their host on this particular day. Reference is also made to Tolstoy's ongoing work on *Khadzhi-Murat*.

No 32 is an abbreviated account of Tolstoy's brief meeting in August of 1905 with Pavel Fedorovich Bezverkhij, a young man strongly attracted to Tolstoy's ideal of the peasant way of life. Dissuaded by Tolstoy from switching careers too hastily, he was later imprisoned for refusing military service; it is noted that Tolstoy's subsequent letters to him are published in the *Jubilejnoe izdanie* (*Jubilee edition*) of the complete works; they were also published separately in German translation in 1927.

On his 78th birthday (28 August 1906 = 10 Sept. by the new calendar) Tolstoy received a visit from Paul Buaje (Boyer), a special correspondent for *Le Temps*, who made a 15-hour railway journey ('a mere trifle' in a country the

size of Russia) for the occasion. The greater part of Boyer's account (No 33) is devoted to their equestrian excursion through the historic Zaseka Forest. Boyer is most impressed by how this 78-year-old man took to handling an admittedly challenging horse, just as he fearlessly took up other challenges in life, and by the ease with which the count conversed with the local peasants they met along the way. One peasant's report of personal violence leads to a discussion of the nature of power and authority on both a political and an inner, personal level — especially their moral and 'religious' overtones. Special reference is made to Carlyle's non-ecclesiastical view of 'religion', quoted by Tolstoy in one of his *Krug chtenija* volumes, a copy of which its compiler offers to Boyer with the proviso that he read from it daily.

No 34 is a brief excerpt from the diary of another of Tolstoy's followers, a Cossack centurion named Iosif Konstantinovich Diterikhs (elsewhere spelt Diderikhs or Ditrikhs), describing his last visit with Lev Nikolaevich at Yasnaya Polyana in March 1907 (mistakenly noted by the author as 1906), before leaving for an indefinite stay in the Caucasus. Tolstoy was moved 'to tears' by Diterikhs' recent reconciliation with the latter's divorced brother-in-law, none other than Tolstoy's own son Andrej. Other references include: news of the Malevanians (a persecuted Christian sect close to the Tolstoyans), the illness of Lev Nikolaevich's daughter Tatjana, his longing for simplicity over luxury, his disagreement with the countess over their children's education.

Aleksej Demidov, a self-educated peasant serving in a government post, came to Yasnaya Polyana one June day 'about three years before [Tolstoy's] death' with some burning questions to ask, notably about the apparent contradiction between Tolstoy's teachings of the land belonging to the peasants rather than landowners and his own landowning status as a hereditary count. His host's answers, recorded in No 35, are described as 'clear and concise, equivalent to what has been said in his books' — even if Demidov could not agree with them all (especially his views on art and drama). As in No 18, Tolstoy extolled the benefits of country over city living, as well as the wisdom of marriage. As for the abovementioned 'contradiction', he could only offer the questioner his apologies and express his longing to 'get away from luxury, from the family, and live all by myself from my labour'. It was only three years later, after learning of Tolstoy's break with his family and then attending his funeral, that Demidov came to feel full pity for the great man's sufferings.

26 June 1907 was a big day for the children of factory workers in Tula — a day on which they were invited to visit Yasnaya Polyana and meet with Count Tolstoy. Included in this group were Aleksej Alekseevich and Efrem Alekseevich Salishchev (13 and 9 at the time, respectively), whose recollections of the day's events are presented in No 36. The first half of the text is taken up with background, preparations and the journey to the estate. The children were surprised to find, in place of the 'rich and important count and famous writer' they were expecting, a 'simple and pleasant little old man'. Reminiscences include: Tolstoy taking the boys to bathe in the Voronka River (the girls later went separately), amazement that the count

knew how to cut grass with a scythe, hearing the master's advice on how to live with nature, being impressed with the number of books inside the house. Tolstoy's own delight at hosting the children is recorded in his wife's letters written to her daughter and another acquaintance the following day.

No 37 consists of selected entries from the diary of Ivan Vasil'evich Sidorkov, who refers to his fifteen years of faithful service in the Tolstoy household; the entries extend from 19 July 1907 to 20 October 1910, a couple of weeks before his master's death. They describe the day-to-day activities at Yasnaya Polyana, outings taken by the count and members of his household, the comings and goings of various visitors — including mendicants, whom Tolstoy usually turned down, wishing neither to set a precedent nor risk being taken in by dissimulation. Issues touched upon include: vegetarianism versus meat-eating, sympathy for new army recruits, Tolstoy's visit (by invitation) to the mental hospital in Meshcherskoe and the plight of the mentally ill, Sof'ja Andreevna's urgent request for her husband to return home immediately because of her physical illness, her subsequent expression of disillusionment on their anniversary (23 September 1910).

In August 1907, seventeen-year-old Nikolaj Kramorev, in response to a request for an interview with Tolstoy (with whom he had already had some correspondence), was invited by the latter's trusted friend Vladimir Chertkov to stay a few days with him and pay several visits to Yasnaya Polyana. His conversation with Tolstoy at dinner and thereafter, reported in No 38, ranged from vegetarianism to the nature of God, from the study of foreign languages and the count's insistence on correct word-usage to Tolstoy's rather ambivalent relationship with Tchaikovsky (on which Kramorev elaborates in some detail). Chertkov later took the young lad, a music student, to see the pianist Aleksandr Borisovich Gol'denvejzer. The remainder of the account, mainly devoted to Lev Nikolaevich's visit to Chertkov's home the following day, includes references to Tolstoy's acceptance of royalties from the performance of his plays on the condition they go to a charitable cause, his assessment of Petr Kropotkin's theories as 'scientifically well-founded', and his diplomatic response to an embarrassing question inappropriately raised by Kramorev, who credits Tolstoy with having kept him from getting involved in potentially harmful activities.

On 14 August 1908 Tolstoy had become ill to the point where his personal physician Dushan Petrovich Makovitskij, together with another doctor (also a family friend), decided to call a prominent surgeon and professor, Aleksej Vasil'evich Martynov, to Yasnaya Polyana for consultation. The latter's third-person account of his visit is presented in No 39. Apart from the medical details, Martynov also mentions a pleasant walk around the estate in the company of Sof'ja Andreevna, and a discussion he had with her husband about the current strike by university students, which, as Tolstoy was glad to hear, was about to end. The final sentence of the text takes note of his patient's subsequent recovery.

Following a three-page introduction describing his fruitless search for answers to life's contradictions in the Russian Orthodox Church (including a much-anticipated interview with the famed Ioann Kronshtadtskij), Vladi-

mir Aleksandrovich Shejerman, a former landowner who turned over his land to peasants, sets forth the report of his December 1908 visit to Yasnaya Polyana (No 40) in seven numbered sections, as follows: (1) upon his arrival, a chance meeting with Countess Sof'ja Andreevna which revealed her profound unhappiness with her life; (2) Shejerman's first impressions of the count upon entering his study; (3) his feeling of experiencing a whole new consciousness during Tolstoy's talking to him about love and family relationships; (4) his impression from further conversation that 'what [Tolstoy] had to give in personal communication was more significant than his writings'; (5) his discussion with his host of the remarkable story of Rizenkampf, a former officer who tried to achieve perfection through outward abstention from anything that would harm life (including eating the fruit of growing plants), leading to Tolstoy's pronouncements on the need to strive for spiritual rather than material perfection; (6) his reflections on Tolstoy's unique role in the development of Christianity and particular influence on his own searchings for truth; (7) his final meeting with his host on the following day.

Several months later ('a year and a half before his death ... a fine spring day at the end of May'), fifteen-year-old Georgij Pavlov and a small group of his school chums decided to pay a visit of their own to the great writer. According to Pavlov's two-page account (No 41), they walked the five kilometres to the estate from the Zaseka station (as did a number of the other memoirists). Only a few details are mentioned: natural features noted during a half-hour walk around the estate before the meeting, the count's clothing, and a chat about Pythagoras' theory, a confirmation of which Tolstoy had discovered in old Hindu documents. Pavlov contrasts this visit with his second journey to Yasnaya Polyana in November 1910, when he was one of many Tula high-school pupils who defied official edicts to attend the funeral there.

Following in their footsteps, in the summer of 1909 two other young people from Tula made the same trek from Zaseka to Yasnaya Polyana. The record made by one of them, surnamed Mel'nikov, is presented in No 42. As it turned out, this meeting with Tolstoy was almost prevented by none other than the master's wife: Sof'ja Andreevna twice tried, unsuccessfully, to turn away the pair, who were eventually joined by a third seeker — a son of the Tula priest and professor Troitskij. (The senior Troitskij had earlier made attempts to persuade Tolstoy to return to the Orthodox fold. At this point Mel'nikov enters upon a rather long digression on the conflict between what he regards as the church's regressive views and modern-day secular, scientific concerns.) The three young people's mission was eventually salvaged by a chance encounter with Tolstoy's physician, Dr Makovitskij, on his way into the house: upon learning of the situation from the doctor, Tolstoy happily came out to greet his visitors, and to offer advice (at their request) on what to read and how to live. In connection with the latter he alluded to the need to be like 'working pulleys', which perform useful work to the benefit of others as well as themselves.

That same summer lawyer Ivan Vasil'evich Denisenko, who was married to Tolstoy's niece Elena Sergeevna, was summoned for consultation by

Sof'ja Andreevna on whether or not she had control over the copyright to his works and could sell it without his permission. Denisenko's meetings, not only with the countess but also with Tolstoy himself and several of their children, are briefly recounted in No 43. Upon learning that a special power-of-attorney would be required, the countess tried, unsuccessfully, to persuade her husband to relinquish control. Tolstoy in turn asked Denisenko to draw up a legal document to turn over all his works to public domain — a task the lawyer was unable to fulfil before the writer's death, as his written request to daughter Aleksandra for instructions 'never reached its destination'. At one point Lev Nikolaevich even asked Denisenko to see about willing his estate lands to the peasants, temporarily forgetting he had already assigned them to his wife and children.

Six months later another lawyer, Boris Osipovich Gol'denblat, was defending a group of peasants accused of making a drunken attack on a postman's sleigh. Neither severe winter conditions nor his wife's protests could keep Tolstoy, who had a burning interest in the case, from attending the trial, held 16 January 1910 at the Tula District Court. He was accompanied by Dr Makovitskij. In No 44 Gol'denblat tells of his escorting the count in peasant's garb past the court authorities, of the concern for every detail of the case expressed on the great man's face during the trial, of the latter's joy, shared by all, upon finally hearing the 'not guilty' verdict, and of the prosecutor's grudging respect and virtual apology to Tolstoy after the trial for simply 'doing my job' (to which his interlocutor tersely replied: 'You've got a poor job'). For further information on Gol'denblat see No 52.

No 45 comprises Grigorij Dmitrievich Deev-Khomjakovskij's recollections of a two-day visit *en masse* to Yasnaya Polyana by young factory workers and workers-in-training toward the end of May 1910 ('Trinity Sunday' weekend) — a visit which the authorities tried but failed to prevent. Some of the visitors, especially the women, ignored the advice of other colleagues and wore their best clothes for the occasion, which provoked a gentle rebuke from the peasant-oriented count. As the latter accompanied the students and workers on a walk about the estate, they were impressed by (among other things) his great love of animals and the ardour of the peasants working in his fields. The statement by one of the workers that he intended to become a 'teacher of the common people' (*narodnyj uchitel'*) gave Tolstoy the occasion to repeat once more his often-expressed conviction that 'it is not our job to teach the people, but to learn as much as we can from them'. Many of the young people visiting that day also attended his funeral the following year. In 1912 Deev-Khomjakovskij was to be expelled from Moscow University as a 'dangerous element'.

In No 46 a peasant surnamed Milovidov briefly describes Tolstoy's visit to Vladimir Chertkov's dacha 'Otradnoe' in the Podol'skij district of Moscow province (this is known to have taken place in mid-June 1910), as well as his conversations with several peasants in the area sometime during 1909. One of the latter was Sergej Kuzin, whose own reminiscences are presented in No 18 above. Reference is made to the drafting of a constitution for a temperance union, to Chertkov's habit of constantly taking pictures of Tolstoy,

and to the latter's continuing sprightliness, in spite of his eighty-two years (although once, eighteen years earlier, afraid of falling, he had to be helped across a log-bridge by peasants).

At about the same time a man by the name of A. Machikin, on his way to Moscow from the south, decided to stop off at Yasnaya Polyana for a possible visit with Tolstoy, only to learn of the writer's very recent departure (as it turns out, to 'Otradnoe' — see No 46 above). Upon leaving Moscow on his return journey south, however, he was delighted to hear that Tolstoy himself was on the same train and managed to see him first-hand — initially at a distance, as the latter looked out the window of one of the railway carriages, and later, from a closer vantage-point, at a snack-bar in the Tula station. Machikin's reflections, presented in No 47, include interesting details of Tolstoy's external appearance. This account appears to have been taken from a speech addressed to 'comrades' (*tovarishchi*) at a gathering some ten years later.

No 48 is the delightful account of a young social-studies teacher from Serbia, Militsa Bogdanovich. While visiting the Moscow paper *Russkoe slovo* in July 1910 she and her colleague Milovan Danilovich Grba were assured they could gain an interview with Tolstoy by contacting the paper's 'Tula correspondent', one Viktor Gerasimovich Kuprijanov. The latter, they learnt upon arriving at Tula, was not only classed as 'a peasant' but had since removed from Tula to Yasnaya Polyana itself, where the Serbians managed to seek him out. He, his wife, other people and details of the estate, and especially Tolstoy himself, are described in simple but picturesque turns of phrase. The half-hour conversation between the schoolteachers and their host touched upon a variety of subjects: the nature of history as a 'psychologically enhanced "biography" of mankind'; the importance of the study of ethnography; Tolstoy's attempt to speak to them — in a less-than-perfect accent — in German (which Grba apparently understood better than Russian); an anecdote about a schoolgirl who disappointed her teachers by insisting on a literal interpretation of the commandment 'Thou shalt not kill'; the conflict between what Tolstoy called 'the superstition of science' and 'the superstition of the church' it was gradually taking the place of; a comparison of Tolstoy's teachings to those of Weininger, especially on 'the sex question'; the great man's modesty in complying with a request for an autograph. Bogdanovich concludes her text philosophically as follows:

And here he is standing before me, that old peasant-prince, with furrowed brow and stooping figure, with a gentle but firm expression that is not of this world. And I wish I could ask him something, but of course I can't. One must endure to the end of the road.

In No 49 Iosif Iosifovich Perper (real name: Osievich), editor of the review *Vegetarianskoe obozrenie*, describes several encounters at Yasnaya Polyana from 4 August to 17 October 1910. Some distinguished visitors were also present, notably Tolstoyan Pavel Ivanovich Birjukov and writer Vladimir Galaktionovich Korolenko. The latter told about hearing the American economist and social reformer Henry George speak in Chicago. One of George's reported comments to the effect that Chinese workers should be excluded from America met with particular disapproval from Tolstoy.

The final 'eye-witness' account (No 50) is presented as related by peasant coachman Fedor Il'ich Novikov, who, 28 October 1910 — a week before the great writer's death — drove Tolstoy and 'a tall gentleman' (i.e., Dr Makovitskij) from the Kozel'sk railway station to the Optina Pustyn' monastery, where the famous 'heretic' was still welcome to stay in spite of his earlier excommunication from the Russian Orthodox Church. The following day Novikov drove them on to Shamordino, to visit Lev Nikolaevich's sister Marija. Tolstoy, whom the coachman first takes to be a peasant on account of his dress and his accent, ever so gently and with a touch of humour expresses his dismay at Novikov's smoking and drinking habits. While the latter admits to having little knowledge of his distinguished passenger, he recognises that 'his heart is different from other people's', and finds that he is not a person who enjoys being waited upon. The coachman ends by remarking: 'He may not attend church, but he does go to monasteries'.

The closing section of this volume comprises four letters written between 1926 and 1937 in response to Nikolaj Gusev's requests for information about Tolstoy and his correspondents.

No 51 (dated 27 February 1926) is a response from Efrem Ljubich regarding a single letter he received from Tolstoy back in 1890, a copy of which he sent earlier to Chertkov. He explains how the letter was intercepted by superior officers at the military post where he was serving at the time, and how he was too timid to attempt a reply. He also mentions an autographed portrait of Lev Nikolaevich still in his possession.

The second letter (No 52, dated 21 January 1929) is from Tula lawyer Boris Osipovich Gol'denblat, telling about his first glimpse of Tolstoy as the latter calmed a frightened horse on Kievskoe Highway in Moscow; around 1892 or 1893 he became a legal consultant to the count. It is also in this letter that he offers to write out for Gusev one of his more vivid reminiscences — an account of Tolstoy's visit to the Tula courtroom (presented in No 44).

In No 53 (dated 29 February 1936) a military clerk of peasant stock, Mikhail Petrovich Novikov, whose full correspondence with Tolstoy is published in Volume 28 of this series (München: Sagner, 1996), asks whether there is any mention in Tolstoy's diaries of his meeting with the great writer in 1895. As it turns out, no mention is to be found; Tolstoy evidently felt it wise not to record this meeting because of the militarily sensitive position which Novikov occupied at the time.

Finally, Viktor Sergeevich Nikol'skij tells in No 54 (dated 17 January 1937) of three meetings with Tolstoy in 1905, when, as a 19-year-old student at the Petrograd Technological Institute, he was spending his summer holidays with the Bulygin family and sometimes visited the Chertkovs' home at Yassenki. It was here that the first two encounters took place. On the third occasion he accompanied pianist Aleksandr Borisovich Gol'denvejzer (mentioned in Nos 37, 38 and 39) to Yasnaya Polyana, where in a conversation in his private study Tolstoy dissuaded the young man from his intent to forsake his education and his family for a life of labour among the peasants.

It should be noted that the book does not pretend to be — indeed, it could not be — a *biography* of Tolstoy. As is evident from the synopses presented above, accounts vastly different in content and length have been juxtaposed in this collection quite arbitrarily. Nevertheless, taken together, they form a multi-faceted image of this real-life human being with all the mood changes and the many other contradictions inherent in his complex character. Despite all the differences in class, profession, and point of view, the stories share a common link in that their authors were all Tolstoy's eye-witness contemporaries — they sought him, saw him, listened to him and (in most cases) talked with him, and so have infused their accounts with living, breathing evidence.

July 1997

A.A. Donskov
Department of Modern Languages
and Literatures
University of Ottawa

СЕКРЕТАРЬ Л. Н. ТОЛСТОГО

Николай Николаевич Гусев прожил долгую жизнь (1882–1967). Вся она отдана Л. Н. Толстому.

21-летний молодой человек, сын рабочего-ремесленника, только что окончивший Рязанскую гимназию, он отправил 31 июля 1903 г. в Ясную Поляну трогательное письмо «самому близкому человеку»¹. Книжки и статьи Толстого открыли юноше «истину», уяснили смысл жизни и жизненную работу — «радостную, трудную и плодотворную». Он хотел увидеться со своим духовным отцом.

Александра Львовна Толстая и доктор Д. В. Никитин ответили, что время теперь, летом, неудобное, слишком много посетителей. 6 сентября написал сам Толстой: «Дорого и важно не личное, а духовное общение, а это, как я думаю, есть между нами. Впрочем, если вы найдете, что вам *нужно* видеть меня, то я с радостью встречу вас»².

27 сентября Гусев, разумеется, появился в Ясной Поляне. Я пишу «разумеется», потому что много лет спустя хорошо узнала Николай Николаевича — как издательский редактор 90-томника, книг «Л. Н. Толстой. Материалы к биографии» и двухтомной «Летописи жизни и творчества». Открытый, добрый, любивший громко смеяться, весь какой-то «круглый», подобно Платону Каратаеву из «Войны и мира», Гусев становился неукротим, энергичен и непреклонен, когда дело касалось того, что он любит. Свое следующее письмо к Толстому он подписал: «Безгранично любящий Вас сын Ваш Н. Гусев».

Гусев получил в Ясной Поляне новые книжки, которые с волнением и восторгом читал. Любопытно, что не только на русском языке. «Чуждой» названа в одном из писем «Tolstoj, His Life and Works» Джон Кенворти (John Kenworthy). В бурный 1905 год это знание отвращало от революции: «Всматриваясь в личности революционеров, я нашел у большинства из них величайшую несознательность, склонность к фразе, партийность, подавляющую доброжелательство, множество предрассудков, в которых даже не пытаются разобраться, и, главное, отсутствие любви» (письмо 27 сент. 1905 г.).

Он навсегда остался толстовцем. Это принесло великое счастье стать в 1907–1909 гг. секретарем, поселиться в Ясной Поляне, помогать учителю

¹Напечатано в кн.: Гусев Н. Н. «Два года с Л. Н. Толстым», вышедшей в 1912, 1928 и 1973 гг. Затем были еще 44 письма 1903–1910 гг. (хранятся в ГМТ); не опубликованы.

²Толстой Л. Н. Полное собр. соч. в 90 тт. Т. 74. С. 174–75. Девятнадцать писем Толстого Н. Н. Гусеву напечатаны в томах 74–82. Последнее письмо — от 18 сентября 1910 г.

в его многообразном труде, исполнять всякие поручения, отвечать на письма (Гусев знал стенографию и быстро записывал слова Толстого). «Помощник и работник он бесценный» — заметил Толстой в одном из писем к В. Г. Черткову³. Но распространение запрещенных в России книг и беседы о них с крестьянами, чем занимался Гусев, считались «революционной пропагандой»: в 1907 г. он был арестован, тогда, правда, ненадолго, а в 1909 г. сослан на два года в отдаленный Чердынский уезд Пермской губернии. «Приехали разбойники за Гусевым — и увезли его», — записал Толстой в дневнике⁴. Не помогли ни хлопоты, ни толстовское «Заявление об аресте Гусева», напечатанное газетой «Русские ведомости». Возвращение из ссылки произошло только в 1911 году.

«Как любил вас в присутствии, так же, если не больше, люблю и в отсутствии»⁵, — писал Толстой своему секретарю, ставшему «милым, милым, дорогим другом»⁶. Чувство усиливалось сознанием вины перед Гусевым, хотя тот не давал никакого повода к таким переживаниям, а, напротив, писал: «Если бы мне пришлось переносить в тысячу раз больше трудностей, чем теперь, я и тогда был бы только благодарен Богу за то, что в такой близости провел с Вами последние два года» (25 авг. 1909 г.). Приходится отдать должное и проницательности молодого человека: «Только не пишите о своей «спокойной» жизни. Я знаю цену Вашего мнимого спокойствия. Спокойно живущие люди не ищут Голгофы» (30 марта 1910 г.).

В ссылке Гусев восполнял недостатки своего прежнего образования, по Толстому — тоже. Впервые прочитал «Войну и мир», данную Александрой Львовной в дорогу; штудировал книгу «Что такое искусство?», равно как «добросовестно и интересно составленную» П. И. Бирюковым «Биографию Л. Н. Толстого», не предполагая еще, вероятно, что сам станет несравненным биографом. Учился физическому труду, к которому, впрочем, никогда не питал особой склонности. Страстью было литераторство, сперва работа для «Посредника», потом замыслы популярно изложить религиозно-философские книги Толстого.

Последние строки, обращенные Толстым к Гусеву, проникнуты, как всегда, сердечным чувством: «Во всяком случае, пока жив, всегда с любовью и уважением думаю о вас»⁷.

Исследование, научная работа, понятые как призвание, долг, полное любви служение, начались с участия в подготовке к изданию трехтомника «Посмертных художественных произведений», вышедших в 1911–1913 гг. в Москве и Берлине, и Дневников Толстого. И продолжались всю жизнь, выражаясь в писании книг, статей, собирании и публикации литературного наследства, писем, воспоминаний — всего, что хоть как-то относилось к жизни и деятельности великого друга и учителя.

³ПСС. Т. 89. С. 99.

⁴ПСС. Т. 57. С. 111.

⁵ПСС. Т. 80. С. 89.

⁶ПСС. Т. 77. С. 229.

⁷ПСС. Т. 82. С. 155.

Н. П. Гусев — не просто автор знаменитых, ставших настольными, трудов. Могу засвидетельствовать: у нас не было и нет такого знатока текстов Толстого и всей его жизни. Стоило начать какую-нибудь цитату — из художественных ли сочинений, публицистики, дневников, писем, как Николай Николаевич тут же говорил, откуда она, и продолжал паузой. Память у него была феноменальная. Как и талант рассказчика, неторопливого, обстоятельного, но всегда эмоционального.

Ученые заслуги Гусева увенчались званием доктора филологических наук, лекторские — тем, что как профессор он стал любимцем студентов и аспирантов.

Не выносил он одного: слова, сказанного о Толстом неверно или дурно. В этих случаях он делался непримирим и беспощаден, и горе тому, кто становился объектом его обличения и полемики.

Разных знакомых, мало знакомых и вовсе незнакомых людей, которые хоть что-то могли рассказать о Толстом, Николай Николаевич понуждал писать воспоминания, отвечать на его письма, справедливо полагая, что каждая черта в жизни гения драгоценна. Хранил материалы у себя, критически оценивал, всегда зная, что потом они перейдут в московский Музей, где сам он долго состоял научным сотрудником, директором и где у него до последних дней были помощники и друзья. Официально в 1950-е годы Николай Николаевич стал научным сотрудником Института мировой литературы Академии Наук. Родным домом по-прежнему оставался Музей Л. Н. Толстого.

Думаю, символично, что две скромные комнатки, которые занимал Николай Николаевич в здании, прилегающем к Музею на Пречистенке, теперь хранят изобразительные фонды, а в остальных помещениях бывшей коммунальной квартиры расположилась библиотека.

29 апреля 1966 г., за полтора года до кончины, Н. П. Гусев составил завещание: весь архив и личная библиотека отдавались (конечно, безвозмездно) Музею Л. Н. Толстого; рукопись последнего труда — «Материалы к биографии с 1881 по 1885 год» — Институту мировой литературы (книга появилась в печати в 1970 г.).

Научный сотрудник Музея З. Н. Иванова много лет отдала разбору бумаг Гусева; Н. Г. Шеляпина — его библиотеки и разных печатных материалов.

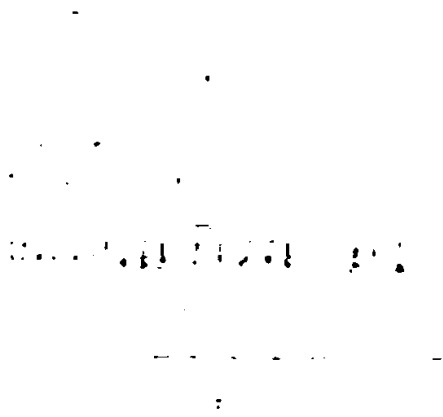
Настоящее издание — дань памяти Николая Николаевича, приуроченная к 30-летию со дня его смерти (27 октября 1967 г.).

Составители книги сердечно благодарят научных сотрудников Музея Л. Н. Толстого В. С. Бастрыкину и Т. Г. Никифорову за помощь в работе.

Май 1997 г.

Л. Громова-Опульская
Институт мировой литературы
РАН, Москва

Неопубликованные письма



Л. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо К. М. Сибирякову

6 августа 1889 г.

Дорогой Константин Михайлович.

Письмо ваше целое лето пролежало у меня на столе неотвеченным, а я был очень рад получить его и благодарен за то, что извещаете меня о ходе ваших дел.

В. Ф. Орлова я как любил и ценил, так и продолжаю любить и ценю. Я боюсь, что всё то, в чем вы справедливо упрекаете его, он делал в отуманенном состоянии. Эта возможность и привычка отуманивать себя вином и табаком есть *ужасное* бедствие. Я думаю, что ему лучше будет в той маленькой школе. Дай Бог ему там хорошо устроиться с своим милым семейством. Не даром он с такой неохотой шел на место, кот[орое] вы ему предлагали. Что ваши Самарские хуторяне? Письмо их хорошее. Неудачи в этом деле неизбежны. Дело слишком трудное. Известите меня о них. Радуюсь вашему участию в Посреднике, более всего тому, что вы пишете о вашем неизменном желании служить ближнему в духе Христовом. Одно, что позволю себе посоветовать вам, это то, чтобы стараться как можно более — не денежными жертвами, а самому непосредственно каким бы то ни было личным трудом служить людям. Только это даст вам неотъемлемую радость и спокойствие. И помоги вам в этом Бог.

Любящий вас Л. Толстой.

Печатается по машинописной и рукописной копиям, хранящимся в архиве Н. Н. Гусева. В ПСС (Т. 64. С. 355) отмечено среди писем, текст которых известен.

Сибиряков Константин Михайлович — сын сибирского золотопромышленника, в 1873–1881 гг. издатель газеты «Слово». Некоторое время близкий к взглядам и кружкам народников, прочитав сочинения Толстого, стал разделять его идеи и материально помогать «Посреднику». Письмо, на которое отвечает Толстой — от 8 мая 1889 г. (ГМТ).

В принадлежавших ему имениях Сибиряков устраивал земледельческие колонии и открывал школы для народа. Толстой рекомендовал в одну из таких школ (на Кавказе) своего знакомого, бывшего нечаевца В. Ф. Орлова; но, как писал Сибиряков, Орлова пришлось отстранить от управления школой: «Самая главная причина — его неуживчивость».

2. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо П. В. Великанову

18 марта 1898 г. Москва
(штемпель на марке)

П. В., Алекс. Никиф. рассказал мне про письмо, которое Вы написали его семейным и которое очень огорчило его. Меня же очень огорчило то, что Вы имеете такое сильное враждебное чувство ко мне. Меня это огорчает в особенности п[отому], ч[то] за все время нашего знакомства я не переставал самым естественным образом чувствовать к Вам уважение и дружбу. Правда, что письмо Черняева и Вами высказанные суждения удивили и оскорбили меня, и я в последнее наше свидание (находясь в особенно дурном расположении духа) не добро и резко говорил с вами, поступил дурно, в чем тотчас же раскаялся и пошел к Дунаеву, чтоб попросить Вас простить меня, но не застал уже Вас. Прошу этого прощения у Вас в письме и прошу иметь ко мне те же добрые чувства, как я к Вам имею. Мне скоро умирать, и тяжело думать, что человек, с которым мы должны быть в единении, не любит меня и по моей вине и может быть страдает от этого так же, как и я.

Прощайте, любящий Вас, правда же любящий Вас

Л. Толстой.

Печатается по рукописной копии, хранящейся в архиве Н. Н. Гусева.

Великанов Павел Васильевич (1860–1945) – учитель, знакомый Толстого с 1891 г. В ПСС напечатано восемь писем к Великанову.

Разделяя некоторое время взгляды Толстого, позднее Великанов писал обличительные письма, которые возвращались ему – нераспечатанными. Конфликт 1897–1898 гг. был связан с тем, что земский учитель Пензенской губ. И. М. Черняев собрался заняться сельскохозяйственным трудом и просил у Толстого (через Великанова) «уделить ему 8 десятин» земли для разведения сада. Августовское письмо 1897 г. к Великанову на эту тему Толстой не отправил (ПСС, Т. 70, С. 109–111). Комментируемое письмо дошло до адреса, и 20 марта 1898 г. он отвечал:

«Великий Лев Николаевич! Сегодня я получил Ваше хорошее письмо. Оно подняло во мне целый рой мыслей... Если во мне и взбудоражена душа, то отношением вашим не ко мне, а к Черняеву и др.; в разъединении с ними Вы, конечно, и виноваты, а не передо мною...

PS. Если я чем и обидел Вас, то прошу у Вас прощения» (ГМТ).

З. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо к неустановленному лицу

Простите, что так долго не отвечал вам, милая единоверка.

(Простите и за то, что забыл ваше имя и отч[ество].) Историю вашей внутренней жизни я давно получил и прочел с большим умилением. Все мы переживаем одно и то же и все приходим к одному и тому же: к сознанию своего бессилия в полном осуществлении в жизни своей веры, к большому смирению и сознанию...

Печатается по копии (рукой А. П. Сергеенко), хранящейся в архиве Н. Н. Гусева. Кроме того, черновик письма находится на одном из автографов романа «Воскресение» (оп. 40, л. 1 об.).

Кому адресовано письмо, установить не удалось. Датируется условно 1898–1899 гг. — временем интенсивной работы над романом.

Л. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо В. С. Толстой

12 июля 1899 г.

Вера!

Ты поступаешь ужасно, уезжая в Самару и доставляя такие страшные страдания своему отцу. А доставлять страдание другому — отцу (который так любит тебя), убивать отца нельзя без того, чтобы не заставить страдать себя. И ты страшно заставишь страдать себя, только твои страдания будут после, а его страдания теперь, перед его смертью. Это ужасно. Что бы у тебя ни было там с тем, что бы ни было, все развязывается не свиданием, не разговорами, а только одним: забвением, временем, невниманием к тому, что было. *Свидание и разговоры все могут испортить, ухудшить, а поправить может только молчание, неотвечание на письма, невидание.* Это верная и несомненная истина. Когда ты поймешь, что ты сделала и делаешь, ты ужаснешься на себя (и непременно ужасайся, а не скрывай). Ты делаешь вот что: если бы самый злой ненавистник придумывал, чем мучительнее всего заставить страдать твоего отца, то он не мог бы выбрать ничего жесточе того, что ты делаешь. Главное же — пойми, что выход и спасение для тебя в одном: в ничего не предпринимании.

Верочка, голубушка, ради всего святого опомнись, вникни в то, что я пишу кровью сердца. Ужасно то, что дьявол, чтобы достичь своего — озлобляет. Не поддавайся ему, дьяволу, Верочка, ради Бога.

Л. Т.

Печатается по машинописной и рукописной копиям, хранящимся в архиве Н. Н. Гусева.

Толстая Вера Сергеевна (1865–1923) — племянница Толстого, дочь его брата Сергея Николаевича. Семья С. Н. Толстого жила очень замкнуто в Пирогове Тульской губ., и отец не стремился выдать замуж трех своих дочерей от брака с цыганкой М. М. Шишкиной: Веру, Варвару, Марию. Личная жизнь Веры и Варвары сложилась не так, как хотелось бы их родителям. В 1897 г. Варвара Сергеевна, которой было уже 26 лет, вышла замуж за пироговского крестьянина В. Н. Васильева, служившего в имени отца, уехала с ним из дома и устроилась жить в Сызрани. В 1898 г. Вера Сергеевна увлеклась башкирцем Абдурашидом Сарафовым, которого вместе с другими кумысниками Сергей Николаевич выписал в Пирогово из Самарской губ. Зимой кумысники вернулись к себе домой, а весной 1899 г. Вера Сергеевна решила ехать к Абдурашиду. Тайком от родителей она вышла за него замуж. Брак не был оформлен. Обо всем этом писала отцу дочь Толстого Мария Львовна Оболенская, жившая недалеко от Сергея Николаевича. Жизнь с Абдурашидом у Веры Сергеевны не сложилась, но она не вернулась домой, так как ожидала ребенка, и поселилась у сестры в Сызрани. Лишь в ноябре 1900 г. она возвратилась в Пирогово с шестинедельным сыном. Эта история послужила основой рассказа «Что я видел во сне...» (1906).

5. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо Д. Н. Анучину

31 августа 1909 г.

Очень обяжете меня, если поможете подателю найти работу.

Лев Толстой

Печатается по машинописной копии, хранящейся в архиве Н. Н. Гусева. Под текстом – приписка: «Визитная карточка Л. Н. Толстого найдена в бумагах, выброшенных как хлам Комиссией по разбору бумаг умершего в 1923 г. профессора Дмитрия Николаевича Анучина. М. Боднарский».

Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) – ученый антрополог и географ, этнограф и археолог, с 1896 г. академик, профессор Московского университета, один из редакторов газеты «Русские Ведомости». С 1891 г. находился в переписке с Толстым и лично знаком. В 1908 г. был в Ясной Поляне для обсуждения вопроса об открытии в деревне народной библиотеки-читальни. Толстой обращался к Анучину с просьбами о публикации в газете разных материалов, о помощи в устройстве на работу. Вероятно, рекомендация на этот раз дана «бывшему псаломщику», посетившему Толстого утром 31 августа 1909 г. (фамилия неизвестна, отмечено в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого). Толстой записал в своем дневнике: «Нынче утром был псаломщик, с которым я, только что узнал, что он проситель, отказал, и потом стало стыдно» (ПСС, Т. 57, С. 129).

Б. Л. П. ТОЛСТОЙ
Письмо Г. А. Новичкову

[10 февраля 1910 г.]

Рад знать, Гавриил Ал[ександ]рович, о вас и о том, что Вы помните меня. Давайте о себе знать. Что будет у меня нового, сообщу вам.

Любящий вас

Лев Толстой

Так что причина моего поступка есть разум.

Печатается по машинописной копии, хранящейся в архиве Н. Н. Гусева. После текста помета Д. П. Маковицкого: «приписка Л. П-ча к моему (Д. П.) письму Г. А. Новичкову 10-II 1910 г.». В ПСС (Т. 81, С. 267) отмечено среди писем, текст которых неизвестен, и с неверной датой: 23 февраля.

Новичков Гавриил Александрович (1852-?) — чернорабочий, служивший на станции Ртищеве Рязано-Уральской железной дороги; разделял взгляды Толстого. Впервые был в Ясной Поляне 20 июля 1902 г. В ПСС напечатаны четыре письма Толстого к нему. Из писем Новичкова видно, что в 1908 г. он находился в тюрьме: богатый крестьянин, арендовавший у помещицы землю, наговорил на него, будто бы он подбивал крестьян не работать у этого богача. 20 января 1910 г. Новичков в письме Толстому просил поблагодарить Д. А. Олсуфьева за освобождение. 10 февраля ответил, по поручению Толстого, Д. П. Маковицкий (его текст неизвестен).

7. Л. Н. ТОЛСТОЙ
Письмо к неизвестному лицу

Без даты

По письму вашему вижу, что вы стоите на верном и добром пути. Помогай вам Бог не сходить с него, тот самый Бог, которого мы знаем в любви и которого, как я вижу, вы уже узнаете в себе. Любовь всемогуща и если жить ею, то уничтожаются все препятствия. Помогай вам Бог.

Печатается по копии (рукой А. Л. Толстой), хранящейся в архиве Н. Н. Гусева. Кому и когда написано это письмо, установить не удалось.

Воспоминания
о Л. Н. Толстом



FILE - 100-1000000000

8. Н. М. ЕРОПКИНА

Воспоминания

(слышанный ею рассказ ее бабушки;
записал с ее слов ее внук Сомов Александр Сергеевич)
Воспоминания Н. М. Еропкиной
о ссоре И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого

Александр Михайлович Тургенев был один из просвещеннейших людей прошлого столетия. Тяжело раненый под Бородиным, он тем не менее дожил до 94 лет.

Уже пожилым человеком, желая пополнить свое образование, он отправился в Геттингенский университет и вернулся, как сам он говорит, совершенно иным человеком. А. М. жил это время на Миллионной, и квартира его сделалась как бы маленьким литературным центром. Самым близким другом А. М. был Василий Андреевич Жуковский и И. С. Тургенев. Посетители квартиры А. М. были гр. Л. Н. Толстой, Павел Васильевич Анненков (издатель Пушкина), Яков Петрович Полонский. Эти постоянные посетители привозили в литературный кружок других. И. С. Тургенев прочел здесь с таким чувством свою «Муму», не напечатанную еще, что заставил всех расплакаться. Гр. Лев Николаевич, как рассказывала мне бабушка, был не особенно приятен в обществе. — Не перебродил еще, — добавляла она. Воображал себя красавцем, а скорее был некрасив, носил слишком модное платье, позировал. И зачем ему позировать, когда все мы и Тургенев его талантом восхищались. Один раз вышла у нас преуморительная история. Лев Николаевич появился в каких-то необыкновенных модных панталонах. Помню только, что они были светлосерые и преузкие. Анненков смеялся и спрашивал: «Видали Толстого на спицах?». Сам же Толстой был в восхищении, смотрелся в зеркало, поглаживал их рукою. Тургенев (И. С.) подтрунивал и спросил, где приобрел Толстой эту редкость. Оказалось, что привезли ему их из Лондона, что это последняя мода и что они, пока, единственные в Петербурге.

После обеда пили кофей и Толстому подали, как он любил, стакан кофейя со сливками. Сидеть было немножко тесно. Иван Сергеевич, такой большой, немножко неуклюжий, потянулся за чем-то и опрокинул стакан Толстого и прямо на его заморские панталоны. Л. Н. сначала испугался, но затем страшно обиделся. Но жаль было не его, а Ивана Сергеевича. Он совсем сконфузился, вскочил, потянул первую попавшуюся салфетку, опрокинул еще одну тарелку и кинулся вытирать злосчастные панталоны. Толстой стоял бледный и злой. Серенькие спицы его стали какими-то пегими. Мама твоя вся краснела, еле удерживалась от смеха. Толстой грубо отстранил руку Тургенева и пробормотал какую-то дерзость. Я расслышала только «косолапый». Но добрейший И. С. нисколько не обиделся, но еще пуще прежнего стал извиняться. — «Хотите я сейчас поеду

к Никольс и Пликс (большой английский магазин) и привезу вам новые», — обратился он к графу. Но тот еще больше разозлился. — «Не вам такие панталоны достать. Таких нет других в Петербурге, вы понимаете...» — внушительно и с грустью возразил он. Ни с кем не простился и уехал. Толстой к нам не показывался. Тургенев был в отчаянии, проклинал свою неловкость. Один дедушка (А. М.) оставался спокоен. — «Он досины теперь свои стирает. Высушит и появится». Мама (О. А.) твоя посоветовала И. С. поехать к Толстому, который, вероятно, успокоился и стыдится. Тургенев поехал нарочно утром, чтобы застать Л. Н. дома, но тот его не принял. Теперь уже негодовал И. С., который и слышать больше о Толстом не хотел. Прошло две недели. Толстой к нам не показывался. — «Дурак да еще невежа. — твердил дедушка. — Чем мы виноваты в провинции кофейной жижи?» Каково же было общее изумление, когда в субботу (день, когда собирались на обед) через две недели вместе появились и Иван Сергеевич и Лев Николаевич. Тургенев успел только показать на губы, чтобы мы молчали о происшедшем. Но кому была охота возобновлять пантальонную катавасию! Дедушка оказался прав: на Толстом были те же досины и без единого пятнышка. Л. Н. был мил, разговорчив и любезен, как никогда. Иван Сергеевич был весел и остроумен, и обед прошел оживленно. Толстой уехал поздно, но И. С. его пересидел. Все, конечно, сгорало нетерпением узнать подробности примирения. — «Вам слово», — обратился дедушка к Ивану Сергеевичу. — «Все закончилось в несколько минут. Я переодевался, чтобы идти к вам обедать. Звонок. Говорят, что пришел Л. Н., и немедленно же вторгнулся и он сам. Я стоял раздетый, даже без... виновника всего происшествия. Но он ничего не замечал и прямо обратился ко мне: «Простите меня, я перед вами кругом виноват». Глаза добрые и говорит просто и искренно. Я протянул ему руку и мы расцеловались. Приехали вместе, и он все время шутил и смеялся». — «Вероятно с радости, что пятна на панталонах отмылись», — заметил Анненков. — «А как вы думаете, Иван Сергеевич, что сделал бы граф, если бы панталоны погибли? Пошел бы извиняться?» — «Пошел бы, — отвечает Тургенев, — сердце у него доброе, только бес какой-то сидит в нем и все баламутит...» — «Мне кажется, — заключила бабушка, — что Иван Сергеевич верно разгадал Льва Николаевича. Я часто об этом думала. В Толстом два человека: один преисполнен могучего, удивительного таланта; другой самолюбив, честолюбив и хочет обратить на себя внимание, выделиться. «Все думают так, а я иначе. Я открою новый путь... Я умнее всех...» Этот второй вечно борется с первым, мешает ему развить свой талант и толкает его на ложный путь. Иван Сергеевич называл второго бесом... Но теперь, слава Богу, первый побеждает. После того, что Л. Н. дает нам теперь, сомнений быть не может. За «Войну и мир» я готова все ему простить. Ведь я помню многое из того, что он описывает, я знала некоторых. Все как живое. Ничего подобного никто нам не давал».

Еропкина Надежда Михайловна (рожд. Тургенева, 1808–1895) – родная сестра Александра Михайловича Тургенева, тетка и воспитательница его единственной дочери Ольги Александровны (в замуж. Сомовой). Жена А. М. Тургенева Пелагея Христиановна (рожд. Литке) умерла в 1836 г. в год рождения дочери.

В дневниках и письмах Толстого рассказанная Н. М. Еропкиной своему внуку Сомову история не упоминается. Относится она скорее всего к 1856 году, когда Толстой жил в Петербурге отдельно от И. С. Тургенева. В первый свой приезд в Петербург из Крымской армии в ноябре 1855 г. он остановился на квартире у Тургенева. В дневнике Толстого А. М. Тургенев впервые упомянут 6 февраля 1856 г.: «Был... у Тургеневых. Почему-то стыдлив и нахален» (ПСС, Т. 47, С. 67).

9. И. И. ПЕТРОВ

Эпизод из паломничества Л. Н. Толстого в Киев в 1879 г.

(Неизданные воспоминания; Редакция, предисловие
и примечания С. М. Брейтбурга; Москва, 1923 г.)

Предисловие

Летом 1879 года, желая использовать очередную заминку в напряженной работе над своими первыми антицерковными писаниями, Толстой задумал ряд поездок, с целью, главным образом, посетить места, издавна привлекавшие волны паломников из народа.

«Вышло совсем не то, что я думал. Работа моя не работается, и я ничего не делаю, и свободным временем не пользуюсь, чтоб поездить летом. — Я задумывал нынешним летом съездить в Соловки», — сетовал Толстой в письме к Страхову от 20 мая, а 5 июня сообщал уже более определенно о своем намерении — ему же: «Мне предстоит несколько поездок, кроме Соловецкого, и я пригону так, чтобы быть дома вторую половину июня»¹.

В Соловки Толстой не ездил, но вскоре собрался в Киев, которым весьма живо интересовался: «Киев очень притягивает меня» — писал он жене с пути, — и в другом письме: «Боюсь, что в Киеве не успею осмотреть и узнать и 1/10 того, что хочется, судя по рассказам»². И, действительно, по прибытии в Киев Толстой тотчас же принялся «ходить по соборам, пещерам, монахам»³.

Среди прочих духовных учреждений Толстой посетил в эту поездку и Церковно-Археологический Музей (при Киевской духовной Академии), которым заведывал профессор И. И. Петров.

Нижепубликуемые воспоминания последнего, любезно предоставленные в наше распоряжение проф. М. Е. Слабченко, повествуют об этом именно посещении.

Киевский Церковно-Археологический Музей не был тогда еще столь обширен, но уже заключал в себе многое из своих исторических ценностей. Подробному — по комнатам, с историческими и иными комментариями — описанию того, что мог обозреть Толстой в течение двухчасового своего пребывания в Музее, посвящена основная часть «Эпизода из паломничества». Разумеется, здесь важен не столько самый перечень, который может быть реставрирован (в смысле индекса — даже более полно) и по каталогу соответствующего года, — сколько указания И. И. Петрова на те именно из общегоклада экспонаты, которые сделались предметом пристального внимания Толстого. Таковыми, насколько можно определить, оказались: коллекция Кипрских статуэток и сосудов VI или VII в. до Р.Х.; предметы, объясняющие евангельский текст; собрание ламайских и шаманских принадлежностей культа; портреты Выгорецких раскольников и раскольнические «аллегории»; старинные монастырские гравировальные

доски; святыни и иконы ценнейшей Муравьевской, Сорокинской и др. коллекций; ореховый с двумя пальмовыми ветками из Палестины кивот, некогда вдохновивший Термонтова, и т. д. Но особенное, по-видимому, внимание обратил Толстой на сооруженный кликушею крест, сделав даже заметку о нем в записной книжке.

К этим сообщениям проф. Петрова нужно отнести, однако, с большой осторожностью. Он сам заявляет, что ко времени *записи* воспоминаний «некоторые подробности ... еще живо сохранились в моей памяти, а иные уже улетучились из нее. Некоторым пособием к восстановлению забытого может служить первое издание «Указателя Церковно-Археологического Музея», напечатанное в 1880 году». Несомненно, автор воспоминаний широко пользовался этим указателем. Поэтому, конечно, выражения — «я указывал также графу...», «обращено было внимание графа...», «должна была заинтересовать графа...», «он мог обратить внимание...» — встречаются чаще, чем прямые утверждения о предметах, действительно заинтересовавших Толстого. Это, разумеется, не могло не повлечь за собой ошибок. Так, в первоначальной редакции рукописи, между прочим, значилось — со всеми подробностями: «Но *главный интерес* для графа Л. Н. Толстого представляли две большие картины Страшного Суда, одна на холсте из м. Ратна, Волынской губ., а другая на дереве из гостиницы Киево-Михайловского монастыря» (см. примеч. №№29 и 31). Здесь также сообщалось, что экземпляр упомянутого «Указателя» «вручен был мною и графу Толстому» (см. прим. №21). Оба эти места, как и некоторые другие части рукописи, при позднейшей ее обработке, Н. И. Петрову пришлось исключить. Причиной послужило неправильное сначала *датирование* описываемого эпизода.

Впервые «Эпизод из паломничества» был записан 17 декабря 1910 года, — вероятно, под свежим впечатлением смерти Толстого. В этой редакции, на основании различных домыслов и вычислений, посещение Толстым Музея отнесено было ошибочно к весне 1883 года. Однако позднее просмотренные «Известия Церковно-Археологического Общества при Киевской духовной Академии» за 1879 год, отметившие в числе посетителей Музея имя Толстого, напомнили Н. И. Петрову, что это произошло именно в 1879 году. Это обстоятельство послужило, по-видимому, импульсом к пересмотру и исправлению записи воспоминаний 30 июля 1916 года. Таким образом возникла вторая их редакция; она сохранила большую часть первой — самое описание (стр. 3–16 рукописи), — но со значительными купюрами и переделками; а две первые страницы старой редакции были заменены новым вступлением. Тогда же было исключено и упомянутое место о картинах Страшного Суда, так как последние были приобретены Музеем лишь в 1883 году, и, следовательно, Толстой не мог их там видеть в 1879... Не вручил проф. Петров Толстому и выше-названного «Указателя», первое издание которого вышло в свет только в 1880 году...⁴

Но, исправив дату года, Н. И. Петров и в новой редакции не сумел определить дату описываемого им события подробно. «Когда это было, т. е. в какой день недели, какого числа и даже месяца, я определенно

сказать не могу», — сознается автор. Между тем можно установить *полную* дату — и вполне точно. В день своего приезда — *11 июня* 1879 года — Толстой сообщал жене:

...утром, 8 часов, очень усталый приехал в Киев. Все утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам, и очень недоволен поездкой. Не стоило того... В 7 пошел опять в Лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного. Что даст Бог завтра. Послезавтра, наверное, выеду, если Бог даст здоровья⁵.

Толстой зашел в Музей после посещения Лавры. Неудовлетворенный первым днем, он возлагал надежды на следующий. Однако Толстой не мог быть в Музее 15-го числа, с которого, по заявлению автора, «обыкновенно начинаются летние каникулы, так как академическая библиотека не была еще закрыта для студентов и профессоров». Итак, Толстой посетил Музей *14 июня 1879 года*.

Вышеприведенные критические замечания, однако, отнюдь не лишают «Эпизод из паломничества» права на опубликование. Напротив, он во многих отношениях является ценным документом. Здесь, прежде всего, освещается неизвестный доселе момент толстовской биографии. Притом — весьма характерны приведенные отрывки из беседы с Толстым о вере народной: живо передан внешний облик Толстого того времени — манера речи, костюм; засвидетельствована любопытная подробность из ранней его юности — увлечение ваянием. Наконец, мемуарный материал о значительнейшей в жизни Толстого эпохе — «кризиса» — чрезвычайно скуден, и здесь приходится дорожить всяким новым показанием.

С. М. Брейтбург

¹Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (Юбилейное изд.), Т. 62, С. 187, 190. Ср. также 2 мая: «У меня кроме работы есть тоже планы поездок» (там же, С. 186).

²Т. 83, С. 270.

³Там же.

⁴При посещении Толстым Музея здесь был лишь *рукописный* каталог (см. «Известия» за ноябрь 1878).

⁵Т. 83, С. 270-71.

Эпизод из паломничества Графа Л. Н. Толстого в Киев в 1879 году¹

В «Известиях Церковно-Археологического Общества при Киевской духовной Академии» за июнь 1879 года напечатано было следующее: «в числе посетителей (Церковно-Археологического Музея) был известный наш писатель Лев Толстой, автор сочинений «Война и мир», «Анна Каренина» и др., изучающий в Киеве народную религиозную жизнь для задуманного им произведения»². См. журнал «Труды Киевской духовной Академии» за июль 1879 года, стр. 392³.

Упоминаемые в приведенном известии Церковно-Археологическое Общество и Церковно-Археологический Музей при Киевской дух. Академии, имевшие своею задачею охрану и изучение памятников церковной старины, утверждены указом св. Синода от 18-го октября 1872 года⁴, который, однако, отказал при этом в денежной субсидии новым учреждениям и даже исключил из проекта устава⁵ параграф об обязательности членских взносов⁶. Создавалось такое затруднительное положение для нового, беспомощного Общества, что сами учредители его считали невозможным дальнейшее его развитие. К счастью, тогдашний ректор Киевской дух. Академии преосвященный Филарет (Филаретов)⁷, на которого, по уставу, возложена и должность [председателя]⁸ новоучрежденного Общества, не любил отступать перед какими-либо препятствиями. Пересмотрев проект устава и включив в него параграфы о членах Общества, не принадлежащих к составу Академии, он обещал отпускать из своих личных средств деньги на делопроизводство по Обществу, и для Музея приобрел в 1874 году у московского мещанина Сорокина⁹, за 13 000 рублей¹⁰, коллекцию древних икон¹¹, начиная с XIV века, в количестве свыше 220¹² номеров. В секретари Общества избран был я, нижеподписавшийся, профессор Н. И. Петров, а заведывание Музеем, для которого отведены две комнаты при академической библиотеке, возложено было на академического библиотекаря, дряхлого старца К. Д. Думитрашко¹³. В 1877 году преосвященный Филарет приспособил для помещения Музея значительную часть старого академического корпуса, так называемого Мазепинского, и личным распоряжением передал Музей в мое заведывание, тогда как формально должность особого блюстителя Музея учреждена была лишь новым уставом Общества 1881 года. Музей размещен был в новоотведенном для него помещении при помощи студентов Киевской дух. Академии; но детальным устройством Музея я занимался сам лично. Особенно много хлопот доставляла мне Муравьевская коллекция святынь и древностей, собранная известным путешественником по св. местам А. Н. Муравьевым¹⁴ и пожертвованная в 1878 году его наследниками¹⁵ в Церковно-Археологический Музей при Киевской дух. Академии. Нужно было найти в Музее уютное место для этой коллекции и для этого произвести значительные перемещения. В один из рабочих дней моих и посетил Музей граф Л. Н. Толстой.

Когда это было, т. е. в какой день недели, какого числа и даже месяца, я определенно сказать не могу, так как, по «Известиям Церковно-Археологического Общества», *отчетный* месяц июнь в 1879 году простирался от 20 мая до 20 июня. Не могло это быть и после 15 июня, с которого обыкновенно начинаются летние каникулы, так как академическая библиотека не была еще закрыта для студентов и профессоров.

Помню, день был солнечный, ясный. Я работал в Музее один-одинешонок, в рабочем костюме и с молотком в руках¹⁶. Вдруг, около 11-ти часов утра, отворяется дверь Музея, входит господин высокого роста и плотного сложения, в подержанном сюртуке, рекомендуется графом Толстым и просит позволения осмотреть Музей. Я спросил его имя и отчество и, узнав, что передо мною стоит знаменитый писатель, отвесил чуть не поясной поклон, прося извинения за мой костюм и некоторый непорядок в Музее, произведенный моею работою.

Граф пробыл в Музее приблизительно около двух часов, и когда осмотрено было уже до половины Музея, в это время зашел в Музей профессор Киевской дух. Академии А. Д. Воронов¹⁷, возвращавшийся из академической библиотеки, и принял участие в дальнейшей беседе со Л. Н. Толстым.

Свою беседу со мной Л. Н. Толстой начал тягучими фразами, как бы заминаясь и подыскивая слова. Он интересовался знать, что привлекает народ в Киев? как он понимает религию? какую духовную пищу получает он здесь?

Я, конечно, сказал, что Киев привлекает к себе народ своими вековыми святынями, и прежде всего привлекает Киево-Печерская Лавра с нетленными мощами Киевопечерских святых. Конечно, Вы были уже в Лавре?

— Был! — серьезно ответил граф. По устному сообщению одного из Лаврской братии, граф Л. Н. Толстой при посещении Лавры участвовал в общем обеде с богомольцами Лавры, под открытым небом.

— Недалеко от Лавры недавно возник новый монастырь Свято-Троицкий Понинский, названный так по имени основателя своего о. Ионы¹⁸. Он устроен на новых, можно сказать народных началах: основатель его — из купцов, а братия его почти исключительно из простолюдинов. О. Иона живо считается святым и привлекает к себе массы простого народа.

— Был и там! — ответил граф, слегка улыбаясь.

Из этих двух ответов я понял, что Л. Н. Толстой своими ногами прошел тот путь, какой обыкновенно совершают киевские богомольцы, переходя от одной киевской святыни к другой, и потому счел неудобным говорить более о киевских святынях церковного характера. Я мимоходом указал только на несколько фактов из религиозной жизни Киева вне церковной сферы.

Прежде всего, я указал на Сампсониевский фонтан на киевском толкучем рынке, в виде статуи Сампсона¹⁹, раздирающего пасть льва, из которой струится вода. Малороссы называют этот фонтан «Лэваном (т. е. львом) святым», по нему определяют окружающие его местности, как по земному пупу, располагаются вокруг него со своими снадями, запивая их «свягою водою» фонтана, и вешают на шею льву крестики, которые тут

же покупают у киевских торговков, а последние снимают эти крестики и продают новым богомольцам. Ныне эта статуя Сампсона со львом находится в Киевском городском музее..

Из чтимых народом личностей в Киеве я указывал графу на Иоанна Босого, умершего около половины XIX столетия, который летом и зимою ходил босым и считался в народе Божьим человеком. Киевские старожилы и доселе украшают его могилу цветами, служат над нею панихиды и берут землю с нее для исцеления от зубной боли. Краткая биография его помещена была в «Киевских Епархиальных Ведомостях»..²⁰

Я сообщил также графу Толстому о тогдашней киевоподольской богородице, безумной женщине, имитировавшей Пресв. Богородицу. Эта женщина носила на руках тряпье, спеленутое в форме младенца, а на лбу — венчик, как на иконах. Одни говорили, что она получила институтское образование, но была оболыщена кем-то и сошла с ума, а другие утверждали, что это — Нежинская купчиха, сошедшая с ума после смерти мужа. Она принята была в купеческих домах Киева, а изредка вывозима была из Киева на время какими-то Стародубскими сектантами, признававшими ее своею богородицею. Но живя в Киеве, она обыкновенно ютилась около Братского монастыря, целовала в церкви иконы и получала от монахов просфору, а студентов духовной Академии называла архангелами. Но в данное время этой Богородицы не было в Братском монастыре, и видел ли Л. Н. Толстой — мне неизвестно.

Приступая к обозрению Музея, я предупредил Л. Н. Толстого, что это учреждение — совершенно новое, не имеющее глубоких корней в жизни Киева, и стоит вне маршрута передвижений киевских богомольцев, но что и в нем найдутся религиозно-этнографические предметы, которые носят на себе печать взаимодейственного отношения между церковным и просто-народным пониманием религии.

37-мь с лишком лет прошло с тех пор, как Л. Н. Толстой был в Церковно-Археологическом Музее. Некоторые подробности из моей беседы со Л. Н. Толстым еще живо сохранились в моей памяти, а иные уже улетучились из нее. Некоторым пособием к восстановлению забытого может служить первое издание «Указателя Церковно-Археологического Музея», напечатанное в 1880 году, т. е. в следующий год после посещения музея графом Л. Н. Толстым²¹. Тогда Церковно-Археологический Музей при Киевской дух. Академии был вдвое, если не втрое, меньше теперешнего его состава, и ориентироваться в нем было гораздо легче, чем ныне.

В первой комнате Музея помещались первобытные и исторические древности, преимущественно языческого характера. Это, так сказать — преддверие христианства. Здесь помещались: незначительная коллекция первобытных и исторических древностей России, ламайские и шаманские принадлежности культа из Сибири, древности египетские, моавитские, еврейские, кипрские, греко-римские и абиссинские, кресло, приготовленное для императрицы Екатерины II, и профессорская кафедра старой Киевской Академии. Из египетских древностей портрет с мумии, писанный восковыми красками, издан ныне в «Альбоме достопримечательностей Церковно-Археологического Музея при императорской Киевской дух. Ака-

демии», выпуск 1. Киев 1912 г., табл. 1. Из древностей классических обращено было особенное внимание на интересную коллекцию Кипрских древностей (статуэток и сосудов), относящихся к VI или VII веку до Р. Христовой, и в частности на такие предметы, которые или объясняют евангельский текст, или унаследованы Христианскою церковью от классической древности, как например алавастры, глиняные светильники, патеры и кликсы, служившие прототипами наших потиров и малорусских «келехов». Должна была заинтересовать графа коллекция ламайских и шаманских принадлежностей культа и в частности ламайские изображения Будды и добрых и злых гениев, «хорде» (колесо мира) — нечто вроде молитвенной машинки, шаманское полотняное облачение с нашитыми на нем змеями из полотна, шаманский головной убор с металлическими рогами, и музыкальные инструменты — свистулька в виде рыбы, большой бубен в виде барабана, «цены» в виде двух медных шляп, напоминающие собою древние кимвалы. Все это, при выполнении, производило невообразимый шум. Я указывал также графу на некоторые бытовые принадлежности ближнего Востока из коллекции преосвященного Порфирия Успенского²², как например, на эбеновую паллицу шейхов бедуинских, на абиссинские воловьи рога для ношения питья, деревянный носок абиссинского Паломника, бруски соли из Абиссинии, служившие вместо разменных денег, на серебряное головное украшение невест из племени Ливанских Друзов, и т. п.

Грандиозная профессорская кафедра Кафедра изд. в IV–V выпуске «Альбома», Киев, 1915 г., табл. 38, старой Киевской Академии сделана в виде проповеднического амвона, увенчана резным изображением пеликана, кормящего своих птенцов плотью и кровию из своей груди и знаменующего собою Иисуса Христа, а по стенкам украшена изображениями святых христианских философов²³.

Вторая комната Музея тогда наполнена была акварелями, чертежами, гравюрами и фотографическими снимками и едва ли могла представлять для А. Н. Толстого особенный интерес. Он мог обратить внимание только на некоторые акварели, например, на портреты Выгорецких раскольников Андрея Денисова²⁴ и Петра Прокофьева²⁵, расколическое изображение зависти и вражды людской, лицевую «расколическую догматику», виды развалин древних храмов Владимиро-Волынского и Овручского, портрет Иерусалимского патриарха Феофана, хромо-литографический снимок с отпечатка лица и роста Спасителя на плащанице Иосифа Аримафейского²⁶ в Турине и др. Указывал я графу и на старые гравировальные доски Киевопечерской и Почеевской Лавр и на бумажные оттиски с них.

Третья комната вся заполнена была коллекцией древностей и святынь, собранных известным путешественником по св. местам А. Н. Муравьевым. Это был человек ультра-православный, дороживший всякими вещественными памятниками, напоминавшими ему о посещенных им святынях. Большая часть предметов его коллекции получена им в благословение от разных духовных лиц. Тут есть и ковчег из масличного дерева Гевсиманского сада, с камнями и землею из разных святых мест, и ветвь от Елеонской маслины, и греческое печатное Евангелие со св. Гроба. Обращено

было внимание графа на ореховый кивот с древними святыми иконами и двумя пальмовыми плетеными ветками из Палестины, перед которым наш поэт Лермонтов написал известное свое стихотворение «Ветка Палестины». «Кивот» с веткою Палестины и древнейшими иконами издан там же, табл. 40. Из отдельных предметов этой коллекции указано было на модели Иерусалимского храма Воскресения и Вифлеемского вертепа, на древние греческие иконы, на резные из слоновой кости изображения Богородицы IX века и ангела 1520 г., на лик Саровского старца Серафима²⁷, писанный на куске того камня, на котором он молился по ночам, на кукуль от схимы патриарха Никона, на деревянное кресло, сооруженное руками Камчатского архиепископа Иннокентия²⁸ в 1838 году на Алеутских островах, на фотографический снимок с Переяславской иконы Покрова Богоматери, с изображениями на ней Петра I с супругою, козацкой старшины и епископа, на две каменные западно-европейские иконы XVI и XVII вв.

Четвертая комната заключала в себе принадлежности церковного богослужения и обрядов. Здесь находились памятники церковной архитектуры, плащаницы и хоругви, кресты, принадлежности алтаря и жертвенника, металлические образки, крестики, медальоны и привески к иконам, воздухи и палицы и священнослужительские облачения²⁹. Указаны были графу древнейшие русские антимины с половины XVI века, плащаница 1710 года, серебряный напрестольный крест начала XVII века (изд. там же, табл. 26, рис. 2 и 3), две дарохранительницы XVII века (там же, рис. 4), деревянная точеная чаша, медные старообрядческие «кацеи» или ручные кадильницы, кония с железного гвоздя, которым пригвожден был Спаситель, находящегося в Италии, глиняная ампула из Египта с изображением великомученика Мины³⁰ и верблюдов (там же, табл. 6, рисун. 10), часть бронзового складного энколпиона с исполненным перегородчатую эмалью изображением распятого Спасителя (там же, табл. 15, рис. 5 и 6), деревянные резные складни о четырех створках века XV (там же, табл. 18, рисун. 5), серебряный ключик, служивший привескою к иконе, с резною надписью «от запрещения блуда и пьянства раба Божия С. М.», серебряная бляха с изображением великомученика Георгия из развалин храма XII века в Осетии, древний бронзовый образок св. Николая с чудесами (там же, вып. III, Киев, 1913 г., табл. 1, рисун. 10), образцы церковного шитья и между ними грузинская архиерейская палица XVII в. и шитый золотом воздух, сделанный из головного убора донской казачки (там же, вып. IV-V, Киев, 1915 г., табл. 34, рисун. 4)³¹.

В пятой комнате помещались тогда: сборная коллекция икон с несколькими неважными греческими иконами, иконы из склада при Св. Синоде, иконы из склада Московского Общества любителей духовного просвещения, иконы из Нежинского Благовещенского монастыря и иконы и духовные картины из Южной России. Тогда еще не поступили в Музей древние Синайские и Афонские иконы из коллекции преосвященного Порфирия Успенского и Демидовская коллекция с крестом преп. Сергия Радонежского. Иконы эти, кроме нескольких греческих, можно разделить на две главные группы: иконы северно-русские и иконы южно-русские

или малорусские. Тогда как первые изображают святых обыкновенным шаблонным иконописным способом, не заботясь о красоте и естественности изображаемых лиц — южно-русские или малорусские иконы уже подчиняются влиянию западных образцов, стремятся к естественности и художественному выражению ее во внешней форме и отличаются сравнительною свободою вымысла и композиции. В соответствии с иконописными пошибами северно-русских икон, эти южно-русские иконы могут быть названы ультра-фряжскими. На них-то граф Л. Н. Толстой и обратил преимущественное внимание. В своей записной книжке он сделал заметку о кресте, сооруженном кликушею Дарьею Венедихтевой в 1713 году, из Каменца-Подольского. Ему указаны были также датированные южно-русские иконы: две от иконостаса, писанные в 1693 году «маляром» Иваном Миславским, из упраздненной церкви села Вакумовки, Переяславского уезда; большая икона вознесения Богородицы на небо (Успения), писанная иконописцем Власом Ивановым Шубейским-Глинским в 1755 году, из Переяслава Полтавского, и образ отрока Якуба Сикала, будто бы замученного в 1761 году жидами для получения христианской крови (униатский), из села Здобунова, Волынской губернии. Наиболее типичные представители южно-русской иконописи изданы теперь в III-м выпуске «Альбома достопримечательностей Музея», Киев, 1913 года.

Шестая комната была занята исключительно иконами Сорокинской, или Филаретовской коллекции, заключавшей в себе свыше 220 икон северно-русских писем или пошибов, начиная с XIV века. Говорят, что первоначально она принадлежала бесполовщинскому Преображенскому кладбищу в Москве; но, при закрытии молельной этого кладбища при императоре Николае I, она объявлена была частною собственностью уставщика и таким образом спасена от заарестования. В 1874 году, как мы видели выше, она приобретена была для Музея за 13 000 р. бывшим ректором Киевской Академии архимандритом Филаретом (Филаретовым) у Московского единоверца, купца А. Е. Сорокина, от чего и получила свое название. Представители разных школ или пошибов этой коллекции изданы во II-м выпуске упомянутого «Альбома», Киев, 1913 года. Но на этой коллекции граф Л. Н. Толстой долго не останавливался своим вниманием и отметил только икону «зачатие св. Анны, егда зачат Пресв. Богородицу», Строгановских вторых иконописцев XVII века. Икона изображает это событие в довольно реальной бытовой обстановке и стоит в прямом противоречии с католическим мнением о непорочном зачатии Пресв. Богородицы Анною, обращенным потом в католический догмат.

Оставалось осмотреть еще галерею Музея, примыкающую к осмотренным шести комнатам во всю их длину. Тут находились картины и портреты, статуи, монеты, медали и жетоны и образцы памятников письма и печати. Но граф видимо торопился или не находил для себя особого интереса в этих отделах и осматривал их довольно бегло. При самом выходе из Музея он увидел на окне большую глиняную статую Венеры Кипрской, века VI или VII до Р. Христова, изд. в «Альбоме достопримечательностей Музея», вып. IV-V, Киев, 1915 года, табл. 4, рисун. I., и нашел, что бюст ее сделан очень недурно.

«Признаться. — прибавил он. — я и сам в молодости грешил этим делом, пробовал заниматься лепной работой»³².

В газетах появилось известие, что Л. Н. Толстой оставил после себя несколько рукописных томов своего дневника. Судя по тому, что в нашем Музее граф делал заметки в своей записной книжке, надобно полагать, что в дневнике этом есть воспоминание и о виденном им в Музее. Мы едва ли дождемся издания этого дневника в свет, но думаем, что некоторым комментарием к этом месту должно быть первое издание «Указателя Церковно-Археологического Музея» 1880 года.

Руководя графа Л. Н. Толстого при обозрении им Церковно-Археологического Музея, я не выходил из пределов моего прямого долга, говорил только о предметах древности в Музее и не пытался залезать в душу великого художника слова. Да и сам граф Л. Н. Толстой не был настолько экспансивен, чтобы открывать свою душу при всякой случайной встрече. И я, и профессор А. Д. Воронов — оба видели в тогдашнем Л. Н. Толстом только знаменитого русского художественного писателя, тогда не достигшего еще зенита своей славы, и не подозревали даже, что, быть может, в это самое время в нем совершался уже известный духовный перелом в его мировоззрении, ярко обнаружившийся в его «Исповеди»³³.

Киев.

30 июля, 1916 года³⁴.

Подготовленные к печати С. М. Брейтбургом, воспоминания проф. Н. И. Петрова не были опубликованы; машинопись сохранилась в архиве Н. Н. Гусева.

¹ Автор «Эпизода из паломничества» — Николай Иванович Петров (1840–1921) — ординарный профессор Киевской духовной Академии по кафедре теор. словесн. и истор. иностр. литерат. Со дня основания (1872) Церковно-Археологического Общества при К.д.А. был избран в секретари Общества, а с 1877 года состоял и заведывающим Церковно-Археологического Музея. Автор многочисленных исследований. (См. «некролог» и спис головніших праць акад. М. І. Петрова що до археології та історії мистецтва», в: «Українське наукове товариство. Збірник секції мистецтв», Київ 1921, стр. 145–47. Также Энциклоп. Слов. Бркг., плт. 45, стр. 463).

² Приведенная цитата принадлежит перу Н. И. Петрова, который, как секретарь Ц.-А. О-ва, составлял периодические отчеты — «Известия». Пояснения в скобках внесены автором специально в контекст «Эпизода».

³ Все примечания в тексте воспоминаний [здесь поставленные между . .] сделаны Н. И. Петровым.

⁴ В заседании Совета К.д.А. от 26.I.1872 г. был заслушан (и исправлен) «составленный экстраординарными профессорами Петром Лашкаревым, Александром Вороновым и Филиппом Терновским проект устава церковно-археологического музея и церковно-археологической комиссии при К.д.А.», после чего было постановлено представить в синод на утверждение (см. «Протоколы заседаний Совета К.д.А. за янв. 1872 г.», стр. 1 и 6; ср. «Отчет о состоянии К.д.А. за 1871/2 уч. г.», стр. 42).

⁵ Проект устава приведен в упомянутом протоколе от 28.I.1872 г.: стр. 1–6.

⁶ §18, п. «а».

- ⁷Филаретов, Михаил Прокопьевич (1824–1882) — епископ рижский и митавский; сперва — воспитанник К.д.А., затем — ее ректор. Редактор многих духовных периодических изданий, выходящих при тех учебных заведениях, где Ф. начальствовал.
- ⁸Здесь, как и в др. мест., в *прямые* скобки нами введены явные пропуски.
- ⁹Сорокин, А. Е[вграфович] — сын известного иконописца и исторического живописца, московск. профес. Евграфа Семеновича.
- ¹⁰Из этой суммы Филарет затратил *личных* лишь 3 000 руб., а «остальные 10 000 р. сер. пожертвованы благотворительницей, пожелавшей скрыть свое имя» (Ср. «Труды К.д.А.» 1879 — II, стр. 256).
- ¹¹Перечень икон этой коллекции см. в «Труд. К.д.А.» за 1875 г., а частичное их описание — там же, за 1878 г.
- ¹²В документальной «записке» Филарета — 222 (ср. «Тр. К.д.А.», 1879 — II, 256).
- ¹³Думитрашко, Константин Данилович (1811–1886) — украинский писатель (псевдон. *Копытько*) и фольклорист. Окончив К.д.А., сделался секретарем ее и академическим библиотечкарем. Д. был первым заведывающим Ц.-А. Музея.
- ¹⁴Муравьев, Андрей Николаевич (1806–1874) — известный паломник по св. мест. Востока и Запада, писатель и коллекционер святынь и древностей; первый «частный» издатель житий. По предложению ректора Филарета, А. П. в заседании от 8.1. 1872 г. был избран в почетные члены Академии. Коллекция, заключ. в себе 190 номеров, описана в брошюре: «А. П. Муравьев. Описание предмет. древн. и свят.», К. 1872 г.
- ¹⁵Племянниками А. П-ча — почетными членами Ц.-А. О-ва Леонидом Михайловичем и Владимиром Сергеевичем. Им же пожертвована и библиотека А. П-ча, состоящая из 1740 тт. и брошюр; большая часть ее вошла в академическую библиотеку.
- ¹⁶Здесь кончается новое вступление II-ой редакции, и следует первоначальная (с 3 ей стр. рукописи); она начиналась следующим отрывком, позднее *зачеркнутым*: «[Тол]стой участвовал в общем обеде с богомольцами Лавры, под открытым небом. Таких обедов дается Лаврою несколько в течение года, на счет процентов из сумм, специально завещанных для этого известною графиней Анною Орловой-Чесменскою. Один из таких обедов и падает на 3 мая, на день памяти преп. Феодосия Печерского. В 1883 году Пасха приходилась на 17 апреля. Следовательно, Л. Н. Толстой был в Киеве или в Фомину седмицу, или же в седмицу жен мироносиц».
- ¹⁷Воронов, Александр Дмитриевич (1838–1883) — в 1862 г. был назначен бакалавром общей новой церковной истории в К.д. Академии, а с 1866 г. состоял в ней экстраординарным профессором. В. редактировал «К. епарх. ведом.».
- ¹⁸«Маленькой» (?).
- ¹⁹Самсон «Страннопримец» (род. в Риме), изучил врачебное искусство с единственной целью — помогать страждущему человечеству. С. отпустил на волю своих рабов и раздал доставшееся ему по наследству большое имущество. С. пользовался славой «целителя и чудотворца».
- ²⁰*Зачеркнутый* абзац: «Может быть, подражателем его в 1880-х годах был некий «Гриша», купеческий сын, который учился даже в гимназии, но вдруг перестал учиться и начал блажить: летом и зимою ходил в одном рубище без обуви и шапки, спал на улице, под открытым небом, и если хотел поесть чего-нибудь, то обращался к встречным с просьбою дать ему столько-то копеек. Лишнее он возвращал назад, а то, чего не доел, отдавал нищим. Но он не у всякого просил нужных ему на насущный хлеб денег, а только у тех, чья физиономия ему нравилась. Некоторых из купечества он положительно не долюблял и иногда, набравши на улице папиросных окурков и другого сору, бросал его в магазин нелюбимого им купца».

- 21 Слова... «т. е. в следующий год после посещения музея графом Л. Н. Толстым» *надписаны взамен зачеркнутых*: «с дополнениями из «Отчетов» и «Известий» Общества до мая 1883 года. Экземпляр этого «Указателя» вручен был мною и графу Толстому».
- 22 Порфирий Успенский (1804–1885) — знаменитый археолог. Во время трехлетнего путешествия по Палестине и Сирии П. составил многочисленное ценное собрание древних рукописей и книг, принадлежащих ныне Академии Наук и Петроградской Публичной Библиотеке. Ак. Наук издала дневник П.: «Книги бытия моего».
- 23 Далее в рукописи *зачеркнуто*: «что указывало на первоначальное назначение ее для философского класса Академии».
- 24 Андрей Денисов (наст. фам. — кн. Мышецкий, 1664–1730) — главный вожь раскола в первой половине XVIII века. 21 года А. Д. тайком от отца ушел в олонекские леса к расколоучителям, преследуемым воинскими карательными отрядами. Ок. 1695 г. основал Выговское раскольническое общежительство. Глубокий знаток др.-русск. литературы и талантливый диалектик — А. Д. являлся упорным защитником раскола от правительственных гонений. А. Д. написал 119 сочинений.
- 25 Из исторических монографий Андрея Денисова особенно замечательна: «Надгробное слово Петру Прокофьеву».
- 26 Член синодрина, из Аримафен. По евангельскому тексту, И. А. испросил у Пилата позволения снять тело Христа с креста и с почестями предал его погребению в своей гробнице.
- 27 Монах Саровской пустыни (1760–1833).
- 28 В мире — Иван Евсеевич Вениаминов (1797–1879) — просветитель алеутов, пропагандировавший среди них занятие трудовыми ремеслами.
- 29 *Зачеркнуто*: «В этой же комнате помещены были и вновь поступившие в 1883 году две большие картины страшного суда» (см. прим. №31).
- 30 Один из четырех так именуемых святых; вероятно, египтянин, пострадавший в царствование Максимилиана, в 288 году.
- 31 *Зачеркнуто*: «Но главный интерес для графа Л. Н. Толстого представляли две большие картины Страшного Суда, одна на холсте из м. Ратна, Волынской губ., а другая на дереве из гостиницы Киево-Михайловского монастыря. В 1840-х годах св. Синодом предписано было изъять такие картины из церковного употребления; но простой неграмотный народ дорожил ими, как единственным наглядным нравоучительным руковод(ством)...» Следы старой нумерации рукописи показывают, что здесь были выпущены при переработке первоначальной редакции две страницы ее — 11-я и 12-я (см. примеч. №29).
- 32 Здесь *исключен* следующий отрывок: «Когда граф Толстой выходил из Музея, в ограде Киево-Братского монастыря было совершенно пустынно, так что едва ли кто из посторонних и заметил его в это время».
- 33 Последние 8 слов надписаны взамен *зачеркнутого* заключения (первоначальной редакции): «который прежде всего выразился в его «Исповеди». Когда в следующем 1884 году я прочитал эту «Исповедь», мне больно стало за знаменитого писателя, который, изменив прямому призванию своему, взялся — как мне думалось — не за свое дело и думал найти истину в каком-то тесном религиозном кружке. Больно и досадно было за графа, когда он, обремененный 82-мя годами жизни, в зимнюю пору тайком оставил свое теплое гнездышко в родной Ясной Поляне и отправился в неведомую даль почти на явную гибель. Но теперь, перед свежей могилой знаменитого писателя и мыслителя не должно быть места субъективным недоброжелательным упрекам по адресу почившего. De mortuis aut bene, aut nihil».
- 34 *Исправлено* из: «17 декабря 1910 года».

Ю. С. В. БЕЛЬГАРД

Дни, прожитые когда-то в Ясной Поляне

В пятидесятых годах в Москве ходило по рукам стихотворение, написанное на тогдашнее московское общество. Было написано про мою мать:

Не алмазом, черным глазом очарован наш барон.
Речью женской, Оболенской стал давно уж бредить он.
Сердце бьется, сердце рвется к ней в деревню на балкон.
В летни ночи, краше очи императорских корон.

Но не всегда Лев Ник. определял людей красиво, поэтично. Приезжал к Толстым молодой сосед, красивый, полный, краснощекий. Лев Ник. заметил: «застывший ростбиф». Это определение было столь метко, что каждый раз, встречая вышеупомянутого соседа, невольно вспоминалось определение Толстого «застывший ростбиф». Обедали, пили чай в хорошую погоду под липами перед домом. Помнится мне в особенности один обед на балконе: мы только что сели за стол, когда заметили, что лакей Петр, подававший кушанья, нетвердо стоит на ногах, он был выпивши. Проходя мимо груды тарелок, стоявших на довольно широких перилах балкона, Петр задел тарелки, и они с грохотом полетели с балкона и разбились вдребезги. Лев Ник. преспокойно подошел к Петру, уговаривая его уйти. Но тот не слушался. После долгих переговоров Лев Ник. увел шатавшегося, но покорного Петра.

С каким радостным чувством вспоминаю, что ездила на охоту в обществе Льва Ник., время, когда он еще увлекался охотой. Когда стоя на опушке леса Лев Ник. с замирающим волнением ожидал появления зайца или лисицы. Помню Льва Ник. в черном сюртуке, галстук, в черных сапогах...

София Андр. рассказывала, наказав однажды Илью (второй сын) за какую-то провинность, она поставила его в угол. Когда София Андр. хотела уйти из зала, Илья ее остановил со словами: «мама, не уходи, здесь яблоки на столе, уйдешь, я их съем»...

В 1881 году в Ясной устраивался домашний спектакль. В зале сооружена была сцена. Играли старинную пьесу «Слава Богу стол накрыт» и «Искорку», перевод с французского «L'Étincelle», где главную роль играла моя сестра¹. Съезд гостей был большой. Многие остались ночевать. Хотя дом и был поместительный, все комнаты, предназначенные для гостей, были заняты. Сестру и меня уложили спать в кабинете Льва Ник....

Прилагаю письмо, полученное моей матерью, где София Андр. говорит про спектакль.

«Благодарю вас, многоуважаемая и милая Елизавета Ивановна, за ваше участие ко мне и моему положению, я это очень ценю и видела все время, как вы добрыми глазами следили за всеми моими движениями и действиями во время всей суеты. Я теперь совсем здорова и отдохнула. Если всей молодежи было нескучно, то я счастлива и нисколько не жалею, что

повозилась и потрудилась немножко. Скажите Ольге, моей милой, если она еще не уехала, что ее игра превзошла всякие ожидания, я с улыбкой слушаю, как умиляются все — мой муж, Урусов², вся молодежь, когда речь пойдет о ее игре. Она перевернула все сердца, — это был успех невероятный. Очень благодарю ее и барона³, что доставили всем нам удовольствие и участвовали в нашем спектакле. Поцелуйте от меня Софию Владимировну⁴ и ее благодарите. Почему она сомневается в моих чувствах к ней? Меня очень трогает, что она дорожит хоть немножко моим расположением, и я всей душой люблю ее, но к сожалению меньше знаю и реже видела, чем Ольгу.

Сегодня в ночь еду в Москву, только вчера уехали последние гости, а главное я не могла уехать до сих пор, потому что на другой день спектакля заболел и слег Илья, потом пролежала от горла и жара моя Маша и пришлось ночи не спать и внимательно ходить за нею. Теперь расхворался Саша Кузминский, муж сестры, такое время настало тревожное.

Надеюсь, что у вас все здоровы, простите меня, если вам что-нибудь было неудобно у нас и если вы поскучали.

Кончаю письмо, потому что надо укладываться в Москву, распоряжаться по дому и ехать.

Муж целует ваши ручки, молодым дамам и барону кланяются. Буду с радостью ждать в Москве. От всей души уважающая и любящая вас

С. Толстая

24 августа 1881.

Много толковали о шалостях младших сыновей Льва Ник., возвращаясь из гимназии они забавлялись звонить проходя мимо домов, где звонки были снаружи. Позвонят и спрячутся, снова позвонят и спрячутся за ворота, выжидая, что отворят дверь. Не видя никого, прислуга бранилась сердито, что весьма забавляло шалунов. Один дворник решил их подкараулить и действительно ему удалось поймать одного на месте преступления недалеко от дома Толстых. Дворник поймал мальчугана и порядочно его поколотил. Тот с плачем прибежал домой и пожаловался Софии Андреевне. Она вспылила, спросила, из какого дома дворник, приказала его привести. Перепуганного дворника привели в залу. София Андр. разобрала дворника, упавшего на колени со словами: «что он не знал, что это графский сын». София Андр. его простила на этот раз и отпустила, а в сенях Лев Ник. подждал дворника, сунул ему в руку десять рубл. и поблагодарил, что научил сына.

Однажды, ехавши из Москвы в Тулу, в одном купэ с Софией Андреевной ехала одна дама, которая всю дорогу горько плакала. София Андр. с участием смотрела на нее, и обратившись к ней, сказала — «какое у Вас должно быть тяжелое горе?» — «Да, ужасное, — отвечала дама, — у меня один сын, он меня покинул, он следует ученику Льва Толстого. Я проклинаю этого человека, этого...» Она не закончила своей фразы. София Андр. с ужасом воскликнула: «Замолчите, это мой муж»...

В 1910 году от 25 ноября я получила письмо от Татьяны Андреевны Кузминской, из Ясной Поляны. Она пишет: «Пережили мы много здесь. Сестра так изменилась, похудела, что жалко смотреть. Я сплю около нее, за стеной слышу ее вздохи, стоны, слезы. Проснется в пять утра и редко снова заснет от своих печальных мыслей. Яснополянский дом обратился в какую-то обитель. Живем сестра, я, Вера (племянница Льва Ник.), доктор и сестра милосердия, т. е. три старухи, доктор и сестра. Тишина полная, не слышно голосов не только веселых и молодых, как бывало, но и никаких. Попеременно лишь сменяются чинно и во время «терас» в этой большой, пустой зале со старинными портретами, которые застыли в своих рамках, как и вся Яснополянская жизнь»...

Сожалею, что не видела Льва Ник. в последние годы его жизни. Я была замужем за военным, мы читали и восторгалась произведениями великого писателя земли Русской, а я не решалась просить моего мужа ехать в Ясную. Мой муж любил свой полк (Преображенский), любил товарищей, участвовал в Турецкой войне 1877/78 гг. Я знала, что Лев Ник. встретил у себя одного военного со словами: «Вы в платье палача»...

Пришлось еще раз видеть Льва Ник., когда он приезжал в Петербург проститься со своим другом Чертковым, ссылавшимся в городок Верро, в Прибалтийском крае⁵. Вечером он навестил Анатолия Федоровича Кони, жившего тогда на Невском, дом №100, в четвертом этаже. Прислуга Анатолия Федоровича тотчас же пошла к своей соседке по квартире куме, объявила — «у нас в гостях Лев Ник. Толстой».

Это известие, как электрический ток, пронеслось по всему дому. В первом часу ночи, когда Анатолий Федорович вышел на лестницу проводить Льва Ник., лестница была переполнена всеми квартирантами дома, каждый пожелал взглянуть на великого писателя земли Русской.

Лев Николаевич насутился, надвинул шапку на глаза и быстро сошел с лестницы...

После кончины моей матери, в 1902 году, в ее Евангелии было найдено письмо к ней Льва Ник.⁶

Бельгард Софья Владимировна (1854-?) — дочь бар. Е. И. Менгден (1821-1902), которая нравилась в молодости Толстому, судя по его дневниковым записям и письмам 1857 г. Впрочем, в мае 1875 г. брату Сергею Николаевичу Толстой написал: «У нас madame Mengden с дочерью, и скука страшная» (ПСС, Т. 62, С. 190). Вторым браком С. В. была замужем за сенатором Н. А. Трахимовским, и в 1895 г. Толстой упомянул ее в письме к А. Ф. Кони — в связи со статьей о духоборах.

¹София Андр. была в ожидании ребенка.

²Почитатель Льва Ник. князь Леонид Дмитриевич, тульский вице-губернатор.

³Константин Платонович Фредерикс.

⁴Автор статьи.

⁵Событие относится к февралю 1897 г.

⁶Далее приводится письмо Толстого к Е. И. Менгден (ПСС, Т. 62, С. 143-44).

И. И. Л. ПОЛИВАНОВ
Л. Н. Толстой в 1881 г.
(Запись одного диалога)

В моем семейном архиве есть тетрадь в коленкоровой коричневой папке с тиснением «Album»: среди текстов, занесенных в нее моей матерью, М. А. Поливановой, есть запись, озаглавленная ею «В «Большую перемену» 18 сентября 1881 г. в частной гимназии» и содержащая в себе диалог, центральным лицом которого был Л. Н. Толстой.

Как известно, в половине сентября 1881 г. Толстые переехали в Москву, по словам Софьи Андреевны, — «чтобы не оставить в городе одиноким старшего сына Сергея, только что поступившего в университет, и для того чтобы продолжать учение следующих детей, — к воспитанику которых так охладел Лев Николаевич». Второй сын — Илья, а затем и третий — Лев, поступили в гимназию, учрежденную¹ моим отцом, Л. И. Поливановым. В связи с выбором учебного заведения, Л. Н. Толстой 18 сентября, т.е. в один из первых дней после переезда в Москву, зашел к моему отцу, с которым до того лично знаком не был. Пришел Л. Н. в час, свободный от уроков, в так называемую «большую перемену» (между уроками до и после нее); в те годы «большая перемена» продолжалась 1 ч. 10 м. (12 ч.—1 ч. 10 м.), и отец имел время принимать в своем кабинете тех или других посетителей или гостей. И в этот раз, еще до прихода Л. Н. Толстого, в кабинете шла беседа нескольких лиц: проездом в Петербург был в Москве Евг. Льв. Марков², который заехал в гимназию, учрежденную отцом, с целью повидать своих бывших сослуживцев по Тульской гимназии (где он был в 60-х годах учителем, а потом и инспектором) — И. В. Янчина, Н. И. Шишкина и В. А. Фукса, которые в 1867 г., совместно с моим отцом и несколькими другими лицами, положили основание гимназии (официально именовавшейся «учрежденной Л. И. Поливановым»); пользуясь «большой переменной», эти три лица сошлись с Е. Л. Марковым в кабинете отца, где был и он, а также моя мать. В это время доложили о Л. Н. Толстом; моя мать, стесняясь остаться в кабинете и вместе с тем желая послушать беседу, в которой предстояло участвовать Л. Н. Толстому, поспешила уйти в часть комнаты, отделенную библиотечным шкафом — и таким образом присутствовала при этой беседе, не обнаруживая себя; мало того, она сумела происходившую беседу записать. Записанное ею было пересмотрено моим отцом, в восстановлении отдельных выражений диалога приняли участие и упомянутые выше коллеги отца; в результате этой общей работы получилась запись, доведенная до возможной точности; только цитата, приведенная Л. Н. Толстым из письма Карамзина, не дописана: очевидно, предполагалось заполнить этот пробел по справке с печатным текстом, но почему-либо было отложено и осталось неисполненным. Текст этой цитаты восстановлен уже мною. В дополнение к этому пояснению внешней обстановки, в какой шла беседа, считаю не лишним

привести несколько строк из письма С. А. Толстой к ее сестре и из дневника Л. Н. Толстого, из которых видно, в каком душевном состоянии был он под гнетом переезда в Москву. «14 окт. 1881 г. Москва» — пишет С. А. Толстая — «Завтра месяц, как мы тут, и я никому ни слова не писала. Первые 2 недели я ежедневно плакала, потому что Левочка впадал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre плакал иногда, и я думала, просто, что я с ума сойду». Строки из дневника Л. Н. Толстого относятся к 5 октября: «Прошел месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраняются, когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные. И нет жизни»...

Мне казалось необходимым предпослать тексту записи хоть краткую характеристику настроения Л. Н. Толстого в это время, потому что в некоторых местах диалога такое болезненно-враждебное отношение его к городу и ко всему, чем живут эти «несчастные» люди города, прорывается слишком заметно.

В «Большую перемену»

18-го сентября 1881 г. в частной гимназии

Сидят в кабинете Л. Н. Поливанов, В. А. Фукс, И. В. Яичин, Н. И. Шишкин и Е. Л. Марков. — Входит гр. Л. Н. Толстой. —

После обычных приветствий:

Марков. Ах, Лев Николаевич. Как мы давно не видались.

Толстой. Евгений Львович. Здравствуйте. (Целуются). Да. Давно мы не видались.

... .. [отсутствуют 2 страницы]

...«творчество», «художественность», «образованность». Ну, определите, как Вы их понимаете...

М. Да для чего нужны эти определения? Достаточно, если мы признаем в человеке стремление к наслаждению прекрасным. — зачем же его лишать законного стремления и не удовлетворить ему?

Т. Да, для чего? Мало ли что нравится? Но, это все такое ничтожное, случайное, что служить ему не стоит.

М. Почему Вы считаете искусство предметом ничтожным?.. Возьмите мужика — и тот, когда не работает, когда не принужден работать, читает сказку... о каком-нибудь Бове-Королевиче, или поет песни. Значит, это и ему свойственно, а не есть дело навязанное, искусственное.

Т. Да. Но сообразите, как он смотрит на эту забаву. Разве он считает ее за что-нибудь важное? Поверьте, что это для него то же, что надеть на праздник сапоги бутылкой или прикормить собаку, приласкать ее и т. п. мелочи... А мы? Мы всю жизнь полагаем в этих сказках.

М. Зачем же Вы измеряете количеством времени, посвящаемого занятию. Этак и религии не останется у него много времени. Он ходит в церковь не часто, когда досуг.

Поливанов. Но ведь это не значит, что в другое время от него далеко религия... И выезжая на работу, он снимет шапку и перекрестится... Это, конечно, только внешнее выражение его постоянного помысла.

Т. Надо отделять внешнее от внутреннего. Конечно, исполнить обряд, поставить свечу ему приходится редко: но ведь, поверьте, что и сам мужик смотрит на эту свечку так же, как и на сапоги в праздник, и на свою собаку...

М. Так неужели же Вы смотрите на художественную деятельность, как на что-то случайное, ничтожное?..

Т. Еще бы. ... Вот был Пушкин. Написал много всякого вздору. Ему поставили статую. Стоит он на площади точно дворецкий с докладом, что кушанье подано... Подите, разъясните мужику значение этой статуи и почему Пушкин ее заслужил.

М. Но в деле религии...

Т. (С движением нетерпения). Вот опять «религия». Да ведь надо опять разъяснить, что такое «религия» и «вера»? Мужик имеет внутри свое собственное в этом отношении... Христианский, крестьянский народ очень отделяет внешнее от внутреннего. Он груб, он и напьется, и жену поколотит, и выругается — но очень хорошо знает, что сделал дурно. У него неизменно сознание добра и зла... Вы не подумайте, что я славянофильствую. О, нет. Но нельзя не признать в народе этого сознания, что добро и что зло.

М. Это так. Но религии различны — и что для одного добро, то для другого не кажется таким.

Т. Ну, нет. Уж я не согласен с этим. Все религии одинаково решают основные вопросы: и буддист, и магометанин, и христианин — одинаково считают злом убить человека.

М. Чем же поэтическая деятельность противоречит этим высшим идеям? Вот и действуйте на читателей...

Т. Да как же я буду поучать других, когда сам не знаю, что добро и что зло. Что дает для этого «художественность»? Вот еще «философия»... Да ведь из этой философии ничего не вынесешь. Только и вынесешь из Шопенгауера например, что жизнь есть величайшее зло. Ведь тогда только и остается сыскать петлю и повеситься, что и делают умные молодые люди... Зачем поучать? Не лучше ли жить хорошо? По-моему, из всего, что написал Карамзин, лучше всего одна строчка, которая стоит всей его «Истории Государства Российского» — это следующие слова в письме к Муравьеву: «Жить не значит писать историю, а...»³ Почему я непременно должен писать? Я хочу жить. Я уж дожил до седых волос, смерть у меня на носу, а я совсем не научился жить. Посмотрите на мужика: он умеет жить, умеет трудиться, переносить несчастья, умеет умирать — а я не умею. Мне нужно научиться этому.

М. Это, конечно, дело Вашей личной жизни, Вашей совести — и никто не в праве осуждать Вас — но разве это может помешать литературной деятельности?

Поливанов. Лев Николаевич, Вы не отрицаете потребности делиться с другими своими мыслями и чувствами с помощью устного слова. Отчего

же считать недостойным письменное выражение своих мыслей и чувств? Ведь между устным словом и литературным его выражением нет качественного различия...

Т. Совершенно с Вами согласен, совершенно согласен — и не отрицаю возможности писать.

М. Следовательно, что же мешает Вам и жить, как Вы это называете, и писать в то же время?

Т. Да что писать?

М. Ну, хоть бы писать романы.

Т. (горячо). Когда я пишу, я так люблю это дело, что уже не могу ничем жить другим. Это дело всей моей души. Нет, я хочу жить, а не поучать. Неужели стоит наполнять свою жизнь таким делом: писать о какой-то даме, как она влюбилась в офицера, писать разные гадости ... с позволения сказать, — похабные вещи?

М. Уже не Вам, Лев Николаевич, говорить о морали в поэзии. Вы обладаете особым даром видеть то, что другие не видят. Делитесь с нами без всякой намеренной цели и поучений. Вы никогда не поучали...

Т. Как не поучал? Да ведь читатели читают гадости — и учатся.

Поливанов. Евгений Львович, сколько я понимаю, Лев Николаевич хочет сказать, что он осуждает прекрасную форму, если она не служит выражением глубокого содержания, достойного выражения.

Т. Совершенно верно, совершенно так.

Поливанов. Творчество может только тогда выразиться в произведении, когда явится потребность выразить достойное содержание.

Т. Именно в содержании-то все дело. А эта теория «художественности» имеет в виду одну форму. Вот почему из литературы вышло дело ничтожное и даже вредное. В том, что написал, встречается кое-что, чем сам доволен — смотришь: это-то и не понято. А что пустяки, то воспринимается жадно.

Поливанов. Дело, стало быть, в том, что Вам не пишется потому, что Вы замечаете, что в читателях не загорятся те идеи, не возникает то настроение, какие Вы бы желали...

Т. Ах, нет, не то. Ничего писатель не в праве желать зажигать. Он должен не зажигать, а сам гореть.

Марк. Повторяю, не Вам упрекать себя в дидактизме. Вы именно создаете без предвзятой цели.

Т. Ну, мне лучше знать. Я очень хорошо знаю, что меня вызывало на писание.

М. Но все же согласитесь, что художник имеет право творить, когда ему хочется творить...

Т. Да в том-то и дело, что мне не хочется.

М. Это дело Ваше, личное. Но, вообще, не станете же Вы отрицать деятельности художественного творчества, деятельности поэта?

Т. Вы опять с своим «критическим» жаргоном: «художественность», «творчество», «поэт»... Мы никогда не столкнемся, вечно не будем понимать друг друга, расходясь в понимании этого своего рода офенского языка, языка Вашей «критики». Все это пузырь, вздутый немцами, в основе

которого ложь, условная чепуха, выдуманная, никому не нужная, бестолковая дребедень.

М. Но, не станете же Вы, Лев Николаевич, отвергать вложенную самой природой у известных натур способность высказываться... ну — петь, как соловей поет, а нам — жаждать этой песни, наслаждаться ею?

Т. О, это другое дело. Да. Соловей с своей песней — другое дело. Пусть его поет — и его песня прекрасна, когда ему самому поется. Но что же хорошего, когда соловьятник его искусственно вызывает на песню... Вот что мне противно... Притом у соловья — одна песня, которая наполняет всю его жизнь, а не двадцать песен, которые из птицы выдавливает какой-нибудь соловьятник.

М. Но, если молчание соловья искусственно вызвано, ведь оно преступление пред всем обществом... я все-таки Вам напоминаю слова Гладстона.

Т. (Резко). Для меня странно, что находятся такие глупцы, которые высказывают такую бессмысленную вещь, как эти слова Гладстона, но еще более странно, что находятся люди, которые повторяют эти слова. Англичане ведь известны своим тупоумием. Это одно из самых тупоумных изречений — и чисто английское.

М. Но ведь нельзя не принять во внимание, что чувствуют и желают миллионы, целое государство...

Т. Что это, Евгений Львович, какой Вы, право. В Вас, видно, осталось прежнее свойство не слушать, что Вам говорят, опускать какую-то заслонку при разговоре... Да поймите же, ведь это то же вот, что старички Английского клуба, привыкшие видеть графа NN в своей среде пьющим в известном часу свою сахарную водицу. Граф не явился в клуб — и вот все качают головами и говорят: Боже мой! Где граф? Отчего же он сидит не с нами и не пьет свою сахарную водицу?

М. Да ведь здесь не какие-нибудь тупоумные старички: здесь вся Россия...

Т. Да я Вам сказал, что я живу среди России, которая и не слыхивала о Вашей «лит-тературе». Ведь Ваше побуждение писать сводится к изречению: «что станет говорить княгиня Марья Алексевна...» Разве мало всякой мелкой птицы, которая обладает умением складно рассказывать, живо изображать — и сделала из этого какое-то ремесло... и Вы меня посылаете в эту компанию? Да. Меня там не доставало. Когда я молодым офицером приехал в Петербург и вошел в этот круг «литераторов»... знаете, где они собираются, говорят, точно и в самом деле важные вопросы решают, — чего я там не наслушался? И что меня особенно поразило: вот, кажется, двое сошлись в мнении — оба говорят, что следует убивать... Вот, думаешь, наконец — согласились... Смотришь, нет: они готовы съесть друг друга из-за того, как следует убивать. Или сойдутся в том, что убивать не следует — опять разногласие: в том, как убивать не следует... Болтают, спорят, тут им приносят корректуры, кричат, друг друга не слушают, не понимают: один лопочет одно, другой лопочет другое — все лопочут, а между тем все это наборщики набирают, набирают, набирают — и печатают... Я Вам скажу — я в ужас пришел... это

совершенно Преображенская больница⁴. Как же Вы меня посылаете в эту компанию? Как же Вы меня посылаете в Преображенскую больницу?

М. Сравнение прекрасное. Но я говорю не об этой литературной кличке. Кто же Вам мешает самостоятельно поднять задачу Вашего творчества...

Т. Ах, вы, господа критики. Вот то-то и беда, что у нас, я, пожалуй, соглашусь — есть художники, иногда напишут действительно достойное, но ведь сейчас явится «критик», напишет критику, а потом критику на критику...: ведь это выходит уже не искусство, а критика критики критики критики⁵... Что дойдет до читателя?..

М. Но надо же указать, что прекрасно, почему нравится то и это, какое произведение выше, художественнее.

Т. Эх, господа. Вы, право, смотрите на искусство — вот как на шляпку гриба. Ничего, кроме шляпки, не видите. Требуется, чтобы эта шляпка росла, росла вверх, а того не замечаете, что ведь она поднимается только тогда, когда ее поднимает стержень, который должен расти... без этого шляпка не поднимется... Вот, Лев Иванович давеча справедливо сказал, что вся сила в содержании, а Вы толкуете о каком-то «искусстве»...

Полив. Видите ли, Евгений Львович, из начала разговора уже было ясно, что есть слова, которым всем придано такое значение, которое не оставляет возможности более употреблять их. Таково слово «художественность».

Т. Ну, да. Все оправдание произведению в его содержании. Нужно писателю выработать это содержание. Поэты с таким содержанием являются, быть может, раз в 500 лет.

М. Стало быть, Вы не против художественного творчества, не против деятельности и романиста с этической подкладкой. Я возражаю только, что в деятельности романиста нет ничего безразличного, как Вы давеча утверждали. Но Вы требуете какой-то новой поэзии. Ну, укажите во всемирной истории поэзии, кого же Вы считаете за достойных поэтов?

Т. (Морщась). Ах, Вы меня сводите на столь мною нелюбимую историческую почву. Какая это история поэзии? Разве возможна история искусства?.. Это так же невозможно, как вот... нынче выдумали еще новую науку — «историю религии». Тут аналогия полная. Ну, разве возможна история религии? Ведь чтобы написать какую-нибудь историю, нужен некоторый критерий. Я понимаю еще политическую историю — тут есть хоть нечто вроде мерил в политических идеалах историка... но в истории религии? Какой-нибудь католик еще, пожалуй, может написать ее, но ведь это все так выйдет узко... ограничено... Невозможна ни история религий, ни история искусства.

М. Но, однако же, чтобы нам понять Ваш идеал поэта, нужно же нам, чтобы Вы привели хоть одного из таких поэтов-художников, которые, как Вы говорите, предлагали бы содержание абсолютно ценное...

Полив. Таков, мне кажется, Софокл. Он все свое религиозно-нравственное воззрение вложил в своих «Эдипов».

Т. «Поэтов», «художников»... Все это простые слова. «Художественность», «художник», «поэт» — все это одни слова. Для меня, например, нет ничего прекраснее и художественнее Паскаля, Платона... «Нир» Платона, например, что это? драма? Художественное произведение другого рода? А Паскаль? Я не знаю — и знать не хочу. Но это такая красота. Для меня это *художественные произведения* своей правдой.

М. Значит, Вы устраняете только вопрос о форме?

Т. И странно, право, это желание какой-то выдуманной немцами «художественной формы». Художественно то, что нравится — будь то Платон, Паскаль... вот я люблю Сервантеса — он преселый рассказчик, люблю Мольера за их правду... Шекспир... впрочем Шекспира менее, Сервантеса и Мольера — более.

М. Ваше требование этической подкладки ведь убивает художественное творчество, которое не знает, что творит. Неужели нам придется увидеть вновь падение Гоголя «Переписки с друзьями»? Но ведь Гоголь был больной человек, а Вы — человек здоровый, полный сил.

Т. Вот бы уж не следовало приводить Гоголя. Пора бы этот взгляд на перемену, совершавшуюся в душе Гоголя, пущенный Белинским, оставить.

Полив. Евгений Львович, ведь этот взгляд на перемену Гоголя нынче многими уже оставлен, даже в литературе неоднократно высказано было, что подобное объяснение душевного процесса Гоголя слишком легкое.

Т. Именно — легкое. Нет, Гоголь почувствовал потребность собственного душевного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он не успел... но из этого не следует, что это было падение: это был шаг, который пресекла смерть...

М. И все же я не вижу, почему такой душевный процесс мешает писать. Разве не великое дело порою разъяснить нашей бестолковой публике, чего она не понимает, обогатить ее идеей. Что же? Неужели подобный образ, как например, Вы помните, Лев Николаевич, в «Войне и мире» солдатик Каратаев с его взглядом на жизнь — разве он не выяснил массу читателей дотоле неизвестную ей сторону в мировоззрении русского простолюдина.

Полив. Да, это так. Но ведь это одна черточка в сложном узоре целого романа. А возьмите ее, увеличьте и сделайте ее центром картины — как она будет принята?

Т. Я, Евгений Львович, следил за Вашей литературной деятельностью. Со многими из Ваших мыслей согласен, но со многим никогда не соглашусь. Ведь наши литературные дороги, можно сказать, переплетены друг с другом — именно «переплетены». Вы и сближались со мной и пересекли мою дорогу. Мы во многом не сойдемся, но вот Вы верно указали, говоря об «Отечественных Записках» и вообще о нашей либеральной прессе, что они о чем-то хлопочут, горячатся, стараются что-то высказать, а — высказать и нечего... Вот и Достоевский тоже. Вся его ошибка в том, что он хотел все поучать. Явится у него, например, чувство всего хорошего в народе — и он спешит восхвалить это; почувется ему что-то — и вот он одно бичует, другое возносит, а почему? — и сам не

знает. Почувствуется смутно, например, что наша православная церковь представляет что-то хорошее... мысль не дозрела, а он уже пустился проповедовать. По-моему, лучше всего разобрал Достоевского Михайловский⁶; он его совершенно раздернул — доказал, как $2 \times 2 = 4$, что ему совсем не было ясно, что такое «народ», «церковь»... (Слышен звонок к началу уроков). Однако же мы все задерживаем Льва Ивановича... Пора идти. Зайдите ко мне, Евгений Львович.

М. Не могу. Нужно ехать сегодня же в Петербург.

Т. Вы что же это, едете туда в комиссию? Уничтожать кабаки? Странное дело. Россия живет кабаками, а Вы хотите их уничтожить. Как же Вы это сделаете?

М. Ну, по крайней мере, хоть сколько-нибудь окажем содействие некоторому ограждению этого зла... По-моему, конечно, проще бы всего этот косвенный налог взять с народа прямым путем, а не на вине.

Т. Разумеется... Ну, так как же? По крайней мере, пройдемтесь вместе по улице... Прощайте.

Главный интерес этой беседы — в ее центральной теме, которая была поднята Е. А. Марковым, когда он прямо задал вопрос А. Толстому о справедливости слухов об отказе его от литературно-художественной деятельности, но начало беседы коснулось вопросов и педагогических. Эта часть ее нуждается в некотором освещении. — Художественная деятельность и нравственная проповедь А. Толстого заслонила интерес к его педагогическим воззрениям, но в свое время (1862–76) они были предметом оживленного обсуждения не только в педагогической литературе, но и на страницах «толстых» журналов (Рус. Вестн., Отеч. Зап., Вести. Евр., Соврем. и др.) В IV т. Сочинений А. Толстого (изд. 1886 г.) собраны его педагогические статьи, но для широкой публики, вероятно, неизвестны даже имена тех, кто выступал в защиту тех или иных традиций европейской школы, подвергнутых сокрушающей критике А. Толстым; к числу таких оппонентов его относится и Е. А. Марков, особенно горячо оспаривавший его положения: такова его статья «Теория и практика яснополянской школы» (Р. Вест. 1862 г. №5), на которую А. Толстой дал ответ в статье «Прогресс и определение образования». В их полемику вмешался, в «Отеч. Зап.», Н. К. Михайловский, резко выступивший против Е. Маркова в защиту основных взглядов А. Толстого (см. «Критич. опыты Н. К. Михайловского. I. Гр. А. Н. Толстой «Десница и шуйца гр. Льва Толстого» (1–134 стр.); еще резче его выступление против Е. Маркова было в 1874 г., после статьи Маркова «Последние могикане русской педагогики» (В. Евр. 1874. №5), которая была вызвана статьей А. Толстого (в Отеч. Зап.) «О народном образовании». При широкой основе во всех воззрениях А. Толстого и внутренней связности их во всех областях — и религиозной и исторической, и социальной, и, в данном случае, педагогической — и сам он и его критики неизбежно входили в оценку всех основ духовной жизни. Тем менее была возможность взаимного согласия между ними во всех частях сложного целого, но тем шире интерес этой полеми-

ки, которая переходит за предел узкой специальности даже в изданиях специальных: такова большая статья Л. И. Поливанова «О народном образовании гр. Л. Н. Толстого», вошедшая в капитальное педагогическое коллективное издание «Уч.-Воспитательная Библиотека» (Изд. Общ. распростр. технич. знаний. М. 1876), в отдел «Педагогики» (I т., I ч. 145–71 стр.), бывшей под редакцией известного педагога Стоюнина. В этой критической статье педагогические воззрения Л. Толстого подвергаются анализу нераздельно с его общим мирозерцанием, как оно раскрывалось в его художественных произведениях, особенно в «Войне и мире».

Я счел необходимым бегло коснуться этой области педагогической полемики для того, чтобы, не отходя далеко в сторону, все же как бы предупредить читателей, что в предлагаемой беседе принимают главное участие три лица, принимавшие ближайшее участие и в этой полемике: сам Л. Толстой, Е. Марков и Л. Поливанов. В этом отношении получают определенное значение слова Л. Толстого, обращенные к Е. Маркову: «Я, Евгений Львович, следил за Вашей литературной деятельностью. Со многими из Ваших мыслей согласен, но со многим никогда не соглашусь. Ведь наши литературные дороги, можно сказать, переплетены друг с другом — именно «переплетены». Вы и сближались со мной и пересекли мою дорогу». Впрочем, говоря так, Л. Толстой имеет в виду, может быть, и литературно-критические статьи Е. Маркова (как например, «Народные типы в нашей литературе» — Отеч. Зап. 1865, №№1 и 2 — о «Казаках» Л. Толстого); да и сами эти слова Л. Толстого сказаны им в главной части диалога, т. е. в беседе о деятельности его как художника слова, в области романа. Однако, чтобы понять всю приподнятость в настроении главных собеседников — Л. Толстого и Е. Маркова, — необходимо иметь в виду эту прошлую принципиальную полемику между ними в области вопросов педагогических, веденную в свое время горячо и на основаниях широких. Много значит здесь и ясно выразившийся задор Е. Маркова в самой форме его обращений к Л. Толстому, в вызывающем характере самых вопросов к нему; известна и горячность Л. Толстого, не терпевшего оспаривания его слов; конечно, сказалась и обостренная нервность его, о чем уже была речь, в связи с переездом в Москву. При таком настроении беседы, порою обострявшейся, Л. И. Поливанов, как хозяин, вступал в беседу иногда с целью направить ее на более спокойный путь, заметно содействуя в споре выяснению мыслей Л. Толстого и тем огораживая его от наскоков Е. Маркова; но в начале беседы, где были задеты слегка педагогические вопросы, он вовсе устранился от участия в ней. Надо иметь в виду, что он прежде всего был заинтересован самым посещением Л. Толстого и пользовался случаем быть не столько участником этой беседы, сколько ее внимательным слушателем и наблюдателем.

Что касается самого содержания беседы, то она, во всех своих частях, настолько ясна, что не требует каких-либо объяснений. Главный предмет ее — «отказ» Л. Толстого от художественного творчества, — хотя и не может представить что-либо действительно новое для современного читателя, но в каждом отдельном пункте беседы она, думается, и теперь воспринимается с интересом, захватывая живым впечатлением личности Л. Тол-

стого, с его речью, идущей неровно, взрывами, парадоксами, увлекающей образностью языка, яркими сравнениями. Интересны и отдельные суждения его: о Гоголе, Сервантесе, Мольере, Шекспире и Достоевском, в особенности о Шекспире, в виду его приговора Шекспиру в будущей оценке (1907 г.), и о Достоевском, о котором он высказывается так определенно и резко, горячо разделяя суждение о нем Н. К. Михайловского (в его статье, вызванной выходом отдельным изданием романа «Бесы», в 1873 г.). Из всех немногих отзывов Л. Толстого о Достоевском, которые встречаются в его письмах, наиболее близко к тому, что он высказал здесь, одно место в письме к Н. Н. Страхову (1883 г., ноябрь):

Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы, добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь — борьба.

Предполагал ли Л. Толстой, что пройдут какие-нибудь четыре года, — и его единомышленник в оценке Достоевского, Н. К. Михайловский, так же расправится и с ним, так же «раздернет» его учительство, и притом заодно с Гоголем и Достоевским? «Не как представитель известной доктрины, — пишет он, — родствен гр. Толстой Гоголю и Достоевскому, а как психологический тип — тип, сотканный из противоречий смирения и гордости, разговоров об огромном журавле в небе и спокойного обладания жалкой синицы в руках, теоретических объятий, раскрываемых всему человечеству, и практического резонерства в видах собственного самодовольства» (Критич. опыты, 1887, «Десять лет спустя», 154 стр. Из Сев. Вести, 1885 г.)

Так судил Достоевского и Толстого «представитель известной доктрины».

¹В 1868 г.

²Евг. Льв. Марков (1835–1903) — педагог, писатель, общественный деятель.

³Цитата, произнесенная Л. Толстым, не окончена. Полный текст ее должен был бы быть таким: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику: все другое есть шелуха, не исключая и моих семи или девяти томов». Очень вероятно, что Л. Толстой привел эти слова Карамзина в сокращенном виде. Ошибся ли Толстой или вкратились ошибки в запись, но эти строки письма обращены Карамзиным не к Муравьеву, а к А. И. Тургеневу, как это ясно из книги М. Погодина «Н. М. Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников», 1866 г. ч. II, 134-ая стр.

⁴Московская Городская Преображенская Больница для душевнобольных.

⁵Ср. в письме Л. Толстого к Н. Н. Страхову от 9 апреля 1879 г.: «...критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете».

⁶Михайловский, Никол. Конст. (1842–1904) — выдающийся публицист-социолог и критик.

⁷Е. Л. Марков был вызван гр. Игнатьевым в качестве «сведущего человека» по питейному и переселенческому делу и был одним из 6 лиц, избранных для защиты выработанных «сведущими людьми» проектов в заседании Государственного Совета.

12. М. С. УРУСОВА
Из воспоминаний о Толстом
(перевод с французского)

Едучи в Петербург из Дятькова, мы с мужем заехали к графу Льву Толстому, где провели несколько дней. Это было время, когда граф, признанный всем светом как самый замечательный писатель века, только что вполне преданся тому религиозно-философскому движению, которое овладело им на всю вторую половину его жизни, и увлек на ту же дорогу моего мужа, вице-губернатора Тульского. С некоторым жаром Толстой пытался приложить в жизни свое новое учение, которое после того времени еще подверглось большим изменениям, но направление которого оставалось то же — приложение Евангелия, *по толкованию Толстого*, к повседневной жизни. Один из догматов этой религии отрицает науку и потому образование детей, о котором так заботилась мать, в отце встречало ожесточенное сопротивление. Разлад в семье вследствие этого был сильный. Было это в 1882 г., за много лет до появления «Крейцеровой сонаты». В то время, наоборот, Толстой был сторонником больших семей и сам давал пример этому; потому что, хотя в то время у него было уже много детей и он был уже немолодой, все же после того у него прибавилось еще несколько¹.

Хотя он восставал против мяса и прислуги, все же стол у него был, как у всех, были и слуги. Его старшая дочь собиралась выезжать в свет; сам он уже облекся в блузу, которую он сделал как бы священнической одеждой. Никто никогда не мог приблизиться к нему без того, чтобы не подчиниться чарам его учения, не почувствовать пробуждение мысли.

Он был очарован моей малюткой², вся семья к ней отнеслась ласково, а граф слишком понимал музыку, чтобы не чувствовать истинного наслаждения, слушая ее. Впечатление, произведенное ею на него, было неизгладимо, в чем я имела возможность убедиться впоследствии. Не менее его поразила ее литературная память и ее суждение о поэзии знакомых ей языков, неоспоримо справедливое, хотя сам он высказывал некоторое пренебрежение к стихотворениям. По этому поводу во время нашего пребывания в Ясной бывали большие споры, Мери бросала громы и молнии, защищая своих любимцев.

[стр. 30] ...мой муж... привез свой перевод «В чем моя вера» (Ma religion) Толстого³...

[стр. 38] ...отправился с графом Толстым в Крым, где состояние его здоровья значительно ухудшилось, и письмо Толстого мне указало на невозможность осуществления наших⁴{...}

[стр. 40] В июле по желанию моего мужа мы (я и мои дочери) отправились на несколько дней к его другу, графу Толстому⁵. Я должна была просить его не приезжать в Дятьково, так как его присутствие и, в особенности, разговоры его могли вызвать сильное волнение больного. Мы

приехали в Ясную Поляну в 5 часов утра, когда все спали, и были проведены в кабинет графа, который еще не успели приготовить для нас. Привыкнув дома к чистоте мельчайшей, которую им привила их бонна-англичанка, мои дочери нашли необходимым вымыть пол, который был не так бел, как бы им хотелось. Граф был в восторге от этого, потому что он заключил, что они будут со временем его последовательницами во всем, так как они не остановились пред такой обыкновенной работой. Трудные обстоятельства, при которых они росли, приучили их самих выпутываться из всех бед, а Мери во время наших путешествий давно уже привыкла заботиться обо мне и об вещах. Она меня причесывала всегда, у нее было столько врожденного вкуса, что наша комната, где бы мы ни были, всегда принимала вид хорошо отделанного помещения.

Несколько дней, проведенных у Толстого, дали нам возможность познакомиться с ним ближе, и Мери заинтересовалась иначе, чем во время нашего первого посещения, три года тому назад, этим выдающимся человеком, особенность которого состоит в искренней вере, в разные периоды его жизни, в совершенно противоположное и отстаивать их во всю силу своего таланта. Несмотря на эти противоречия он остается все тот же в глубине души и его гениальная наблюдательность сквозит во всех его писаниях. Основание его творчества не изменилось: я вижу, как на первых страницах, писанных в молодости, так и до сих пор, что он читает в сердцах людей и заставляет людей размышлять. Было для нас большое наслаждение слушать его чтение, по рукописи, некоторых его удивительных маленьких народных рассказов. Между прочим он дал нам услышать новинку — «Два старика». Этот маленький шедевр нас глубоко тронул и невольно напомнил нам евангельские притчи, как своей простотой, так и сильной привлекательностью, которую они дают нравственной жизни. Дни были очень жаркие, мы проводили их на балконе; вечером гуляли в лесу и беседы с графом продолжались до глубокой ночи. Он показывал нам свою мастерскую, так как в то время в особенности сильно был захвачен убеждением, что всякий человек должен иметь труд ручной, настоящее ремесло, кроме его талантов, как бы они ни были велики. Он был земледельцем у себя дома, в Ясной; (в Крыму, во время его пребывания там вместе с моим мужем, он нанялся в работники в одном винограднике за рубль в день) в Москве, говорят, он пробовал даже очень тяжелую работу — перевозил ледяные кабаны. Теперь он был сапожником и носил обувь, изготовленную им самим, но я уверена, что он был своим единственным заказчиком. Он водил нас в маленькую хижинку в саду, где были собраны все его инструменты и где он ежедневно работал над своей задачей. Тетради и перья доказывали, что сапожник-любитель продолжал, слава Богу, свою работу более важную (и к тому же гораздо успешнее), чем та другая. Мери, несмотря на свою ребячью внешность, несмотря на свой юный возраст[...]

ЦГА.И. Фонд Срезневских, 436, оп. 1, ед. 2270

Урусова Мария Сергеевна, рожд. Мальцева — жена Л. Д. Урусова, близкого знакомого Толстых, тульского вице-губернатора. По мнению С. Л. Толстого, «Урусова можно назвать одним из первых толстовцев, хотя он был мало похож на последующих опростившихся толстовцев. Он сходилась с отцом преимущественно в вопросах веры и философии. Он был всегда безукоризненно одет, шепетильно учтив и прекрасно говорил по-французски. Он жил скромно, был добр со всеми и старался в пределах возможного смягчать свои административные функции» (Толстой С. Л. Очерки былого. Москва, 1956. С. 53).

С. А. Толстая вспоминала, что жена Урусова «была очень неприятная женщина, почти всегда жившая в Париже» (Толстая С. А. Моя жизнь. Архив ГМТ). По просьбе Урусовых сестра Толстого Мария Николаевна купила в Париже роскошную кожаную тетрадь-календарь, в которой содержится дневник Л. Н. за 1884 год.

Сохранившийся в архиве Н. Н. Гусева фрагмент — перевод нескольких страниц появившейся в Париже в 1904 г. книги: *P-se Ouroussow. Histoire d'une âme — Mary — Souvenirs recueillis par sa mère.*

¹18 июня 1884 г. родилась дочь Александра, 31 марта 1888 г. сын Иван. О ранней смерти последнего см. комментарий к №18.

²Урусова Мария Леонидовна (1867-1895), талантливая пианистка.

³Это был первый перевод и первое печатное издание книги «В чем моя вера?» (Париж, 1885, два издания). Перевод в рукописи был просмотрен и исправлен Толстым.

⁴Толстой сопровождал больного друга в Крым весной 1885 г. 23 сентября этого года Урусов скончался. Письма Толстого к М. С. Урусовой остаются неизвестными.

⁵После отъезда матери с дочерью Толстой написал в Дядьково Л. Д. Урусову: «Пишу вам, милый друг, хоть несколько слов под больше чем приятным впечатлением, которое оставляют нам ваши. Так радостно чувствовать, что сердцем любишь тех, которых хочется любить. Стасю [т.е. Анастасию] я разобрал меньше всех, но она по внешности очень мила; но больше всех мне полюбилась Мери. Она серьезный хороший человек будет, Бог даст. Очень мила и характерна Ира. С Княгиней мы много говорили и очень хорошо. Она так все хорошо понимает и нового для меня, сердечного, я нашел в ней много» (ПСС. Т. 63. С. 278-79).

13. Т. Г. АРНАУТОВА
Из личных встреч с Толстым
 (сообщил Н. Крашенинников)

В Июне 1883 г.

Наш дом помещался в Долго-Хамовническом пер., рядом с Девичьим Подем, стоя во дворе, далеко от мостовой. По переулку был палисадник, резной забор. Толстой сделал новую ограду.

Земли была почти десятина, там было много леса, столетняя липовая аллея. Дом был деревянный, старинный особняк, куплен у дивизионного врача Ячницкого, одноэтажный, с антресолями. Комнат внизу было десять и наверху антресоли на 2 половины по 3 комнаты. Передняя и кухня. В антресолях так низко, что рукой до потолка. (Одну комнату Толстой не переделал, там был рабочий кабинет и тут же сапожная мастерская — колодки, кожа). Комнаты внизу были высокие, аршин 6 и больше: зала, гостиная, диванная, столовая (не очень большая, квадрат), большие итальянские окна в зале и в диванной. Сад был большой, казавшийся еще больше от сада графа Олсуфьева. Кроме дома, во дворе стоял маленький флигель двухэтажный, 3 комнаты внизу и кухня, а наверху 3 комнаты побольше, чем внизу, 2 каретных сараев, конюшня на 4 стойла: держали мы одну лошадь. Пролетка, шарабан, сани.

Заложен в Тульском банке в СПб. Блаженный говорит: «Тут будет много народу, музыка, присутственные места».

Мой муж Ив. Александрович, потомственный дворянин: в доме мы жили 10 лет. Перед этим после свадьбы 4 года на квартире. Свадьба была в 70-м году. Там сад зимой и летом, против террасы была клумба с бенгальскими розанами, — липы такие, — посмотришь, — не видать макушек, — шла глаголем¹, и на повороте был курган. Курган в парке был старинный, может быть там был зарыт клад. Лес такой, что огонь вылетал, когда рубили. Кругом него (кургана) была дорожка, а наверху скамейка. Перед домом беседка, и походило на имение: фруктовый сад, были груши свои, сливы, яблоки, вишни, крыжовник, — не было только парников и грунтовых сараев. В саду чудесный колодец с родниковой водой.

В 1883 г. мы надумали продать дом. Он был заложен. Сделали публикацию в газете: дом продается или сдается под квартиру за 1500 руб.

Пришел Щепкин², хотел снять квартиру.

— Купить дорого и снять дорого, но я пришлю покупателя.

И вот в июне, часов около 9 вечера, — было почти темно, — явился человек. На вид из себя высокий, пожилой, лет 50, в поношенном пальто, в порыжелой шляпе, с большой бородой, начинающей седеть, с тросточкой, рыжие брови торчком, говорит грубым голосом. Позвонил у ворот, провела его горничная, он не сказал, кто.

Муж говорит:

— Теперь уж темно, что вы увидите?

— Мне дом не нужен, покажите мне сад.

Когда еще в первый раз пришел, жила родственница, Мария Николаевна. Стояло старое фортепиано, собирались танцевать, была баронесса Губерт — и вот пришел Толстой.

И не раздеваясь он пошел вперед через террасу в сад. Муж за ним пошел.

— Позвольте.

— Я деревья люблю. — и очень быстро идет.

Муж недоумевал, что за человек, — ничего не сказал.

— Позвольте узнать, с кем имею дело?

— Я граф Толстой, — ответил быстро и прошел дальше.

В доме прошел через залу и ушел.

— Завтра приеду с графиней.

На другой день приехали часа в 2-3. Графиня была пожилая, держала себя просто. Я пошла с ней по саду. Идем, разговариваем. Стоит на дорожке тачка с мусором.

— Ах, какой садовник, тачку не убрал!

— Ну, что такое, пройдем, не цари какие!

А граф пошел с мужем.

Толстой:

— Мне сказал Щепкин про ваш дом. Очень я скучаю в Москве, а здесь сад.

Начали осматривать дом внутри. Увидел комнатку в антресолях, в сад, на аллею, очень понравилась.

— Дом понравился, только мы привезем подрядчика осмотреть.

Дом был внутри оштукатурен, а снаружи обшит тесом и окрашен в темнокоричневую краску.

Через несколько дней приехали с архитектором и подрядчиком. Приехали и дядя графини и сестра ее с мужем. Начали осматривать, выступивали, отдирали тес. Тут же спросил о цене. Муж сказал — меньше 30 000 не отдаст. Эта цена была не дорога. Один сад... Торговались. Но у нас не было покупателей. Много портили соседи: пивной завод, было много нечистот. Ямы, где пропускается грязь, при дожде пускали пожарной кишкой по мостовой. Мужу стало 5 000, чтоб прекратить безобразие. (Керосиновые фонари горели).

Был генерал Черняев, покоритель Ташкента:

— Мне очень нравится, но завод...

И граф Мусин-Пушкин, но владельцы пивного завода все порочили, хотели воспользоваться сами. Мусин-Пушкин решил было за 35 000, но архитектор сказал: «Дом старый, должно быть гнилой; во флигеле в полу доски рассохлись и тряслись... Гнилое!»

Муж говорит:

— Позову плотника, посмотрим, есть ли гниль?

Ушел Мусин-Пушкин.

Тут же вскоре начали строить клинику, цена возвысилась, и не надо было бы продавать, но нужда.

Вместе с домом продавали и мебель. Была мебель красного дерева: 3 стола, 3 дивана, 6 кресел, 2 зеркала – поперечное и одно до потолка с подзеркальником.

Толстой сказал:

– Я люблю старину.

Долго осматривал с большой любовью, переворачивая стулья. Купил за 150 рублей. Он подбирал себе для гостиной.

Помню, когда еще торговались, приходил Толстой большей частью к вечеру и все, бывало, ходит и вымеривает все комнаты шагами и записывал.

Раз мы сидели в столовой, чай пили. Он вошел и давай мерить шагами. А у меня племянник, чиновник военно-окружного суда, и пил чай. Увидел Толстого, испуганно попятился.

Толстой:

– Что же, вы думаете, я на вас полезу? – И засмеялся.

Приходил опять, все мечтает и рассчитывает, и все надо было быть около него то мне, то мужу.

Он заметил:

– Вы пожалуйста со мной без церемонии, я один буду!

– Чаю?

– Нет, спасибо, я по делу, я скоро уйду.

Много раз присылал из Ясной Поляны камердинера спросить, не согласны ли за 25 000?

Еще заинтересовал его кучерской армяк кожаный. Разостлали его в гостиной, на сына примерили. Хотел купить растения.

Вся мебель стояла в сарае. Мы перенесли ее, как только решили продажу. Месяца два тянулось дело продажи. Выговорили себе право прожить два месяца во флигеле. Было много мебели, 2 каретных сарая, поэтому и нельзя было раньше переехать.

Начали строить верх во весь дом сейчас же по купчей (где у нас были антресоли и чердак). Наверху сделали парадные помещения, а из парадных наших устроили жилые.

Мы через два месяца оставили флигель и переселились рядом в Теплый переулок, и тогда я видела, как Толстой катался на лошади по Девичьему Полю вскачь – моцион. Очень хорошо катался. Часто встречала на Зубовском бульваре в полшубке, в валенках, в барашковой шапке. Всегда был любезен. Спросит всегда, как поживаете, как здоровье, и быстро, быстро отойдет.

Мебель купил он красного дерева, а остальную, орехового дерева – купили родные.

Когда они переехали совсем из Ясной Поляны, графиня встретила в церкви, сказала:

— Приходите посмотреть, как мы дом отделали.

Низ остался, как был, а верх новый — 3 громадных комнаты: зала красного дерева, гостиная и черного дерева парадный кабинет и тут же сохранилась комната его рабочая — сапожная осталась.

— Вот, можете себе представить: эту комнату не хотел переделать. А комната низкая, курит сигары, и кожей у него пахнет. И комнату все сам убирает и помой сам выносит.

Перед продажей дома Блаженный: «Тут будет много народу, музыка, присутственные места».

— Вот и осуществилось, — закончила свою безхитростную повесть рассказчица.

Сообщил Н. Крашенинников

3 дочери: Татьяна Львовна, Марья Львовна и Александра Львовна; 3 сыновей — Лев, Илья и Андрей. Когда они приходили в дом, Татьяне Львовне было лет 17. Мальчики учились у Поливанова.

Ни разу не пил чаю, не пил. Выходил на мостовую колоть лед, помогал дворнику.

Клумбу уничтожили и сделали площадку и потом каток.

Вообще угрюмый, ходил он быстро и всегда к дому приходил пешком.

Когда смотрел мебель:

— Мне потому ваш дом очень понравился, что напоминает деревню. Я люблю природу и очень был бы рад, если б меня сослали в Сибирь. А переехал из-за детей. Дети в Москве учатся — у Поливанова. А я бы уехал.

Старший сын и дочь ужасно на него похожи.

Дом строили очень скоро. Заведывал брат графини Берс. Кажется, в три месяца выстроили, осенью переехали.

Воспоминания Татьяны Григорьевны Арнаутовой, вдовы коллежского секретаря И. А. Арнаутова, были записаны в 1915 г. литератором Н. А. Крашенинниковым (1878-1941). Очевидно, что слог не слишком образованной владелицы Хамовнического дома при этом сохранен. Осталась и неточность: событие отнесено к 1883 г., хотя оно происходило в 1882 г.

Впервые Толстой появился у Арнаутовых в мае 1882 г. Дядя С. А. Толстой, К. А. Иславин, осматривавший дом и сад 22 июня этого года, в тот же день писал: «Я опять любовался садом. Роз больше, чем в садах Гафиза, клубники и крыжовника бездна, яблонь деревьев с десять, вишен будет штук 30, две сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода тут же, чуть ли не лучше мытищенской. А воздух, а тишина! И это среди столичного столпотворения!» (Летописи Гос. литературного музея, Кн. 12. Москва, 1948. С. 527). Последнюю неделю июня Толстой опять провел в Москве, чтобы подготовить перестройку дома.

14 июля 1882 г. старшим нотариусом Московского окружного суда была утверждена купчая крепость на приобретение за 27 тысяч рублей дома Н. А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке (ныне московский Дом-музей).

После переезда 28 сентября на зиму в Москву Толстой продолжал заниматься устройством купленного дома. 11 октября — в письме Н. Н. Страхову: «Нынешний год я все лето не переставая занимался и только осенью стал ничего не делать и заниматься устройством нового дома» (ПСС, Т. 63, С. 104).

¹В виде буквы Г.

²Общественный деятель М. П. Щепкин (1832–1908), владел типографией в Москве, разделял с Толстым заботы об издании книг для народного чтения.

14. В. П. ШНЕЙДЕР И СЕСТРА Свидание И. П. Минаева со Л. Н. Толстым

В октябре 83 года, дядя наш Иван Павлович Минаев, профессор Петербургского университета, первоклассный санскритолог и знаток пали, знакомый обществу по своему путешествию «Очерки Цейлона и Индии» (из путевых записок русского), а также по изданию «Индийских сказок», записанных им в Камаоне (Непал), должен был съездить в Тулу по личному делу, которое его очень тяготило и раздражало, так как приходилось временно прерывать научные работы, иметь дело с адвокатами, что ему было необычно и непривычно.

Приехав в Тулу, он обратился к одному там известному присяжному поверенному и, стоя на крыльце и позвонив, ждал, чтобы ему отворили входную дверь.

В это время к нему подходит старик, с виду, по одежде, при рассеянном взгляде, похожий, по его словам, на бывшего дворового, смотрит и спрашивает:

— Который час?

— У меня часы неверны, по петербургскому времени!

— Да вы кто такой? — спрашивает старик.

— Я такой-то, — отвечает Иван Павлович.

— Вы были в Индии, — продолжает допрашивать старик с седой бородой. — Как я рад вас видеть. Я граф Лев Толстой.

Зоркий глаз Толстого сразу увидел интересного человека — вопрос: «Который час», как он потом объяснил, был, конечно, только предлогом, чтобы узнать, кто этот приезжий.

Неудивительно, что Л. Толстой обратил внимание на И. П. и подошел к нему.

Наружность И. П. начала 80-х годов, действительно, могла остановить на себе внимание — болезнь (чахотка) еще не коснулась его всецело, а умственное и душевное развитие нашло свое выражение в тонких чертах лица: высокий лоб, строгий профиль, красивого разреза глаза, мягкая окладистая светлорусая борода, во всех движениях было разлито какое-то спокойствие человека, погруженного в свои думы.

В этот день встречи Л. Н. пешком пришел из Ясной Поляны и все остальное время дня — часов 5-ть, 6-ть провел в номере гостиницы, где остановился И. П., причем беседа шла о буддизме, о религиозных распрях индусов с мусульманами, о школах, как старых монастырских, которые были в Индии раньше, так и о тех, которые теперь вводятся англичанами. О влиянии на страну Британского империализма, и о земельном вопросе, почему в Индии бывают такие неурожаи, что вызывают голод по всей стране, и о современном тому времени движении Брахмаистов, вызванном К. Ч. Сенем и Д. Н. Тагором.

Толстой ставил И. П. целый ряд вопросов, на которые, чтобы ответить обстоятельно, и потребовалось так много времени, прошедшем совсем незаметно в оживленной беседе и обмене мнений.

Дядя наш, проживший два года в Индии, говоривший свободно с индийцами на местных наречиях, а с учеными пандитами на языке пали, мог на все вопросы Толстого отвечать исчерпывающим образом.

Судьбы Индии, не только в ее прошлом, но и в настоящем и будущем были близки сердцу Ив. П-ча, что не могло не заинтересовать такого мыслителя, как Толстой.

По возвращении из Тулы, И. П. нам с подъемом рассказывал об этой встрече и разговоре. Лев Николаевич обещал навестить И. П. в первый же свой приезд в Петербург, а мы твердили: «Как хочешь, а мы придем к тебе в кабинет слушать, что вы говорите». Но это свидание не состоялось. Толстой приехал в Петербург уже после кончины И. П. (июнь 1890), или же во время его отсутствия из Петербурга, во время заграничных или последнего (третьего по счету) путешествия в Индию и Бирму.

Живую между ними связь поддерживал за эти последовавшие годы Николай Николаевич Страхов, часто у нас бывавший и уже всегда приходивший после своих поездок в Ясную Поляну.

Страхов с огромнейшим энтузиазмом рассказывал всё о «Великом писателе Земли русской», находя отклик в душе Ив. Пав-ча.

(из письма И. П. к нам обоим, передано в б. Пушкинский Дом)

Шнейдер Варвара Петровна и Александра Петровна — племянницы профессора Петербургского университета Ивана Павловича Минаева (1840-1890). В описываемое время учились на Высших Бестужевских курсах в Петербурге. Книгу И. П. Минаева «Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 г.» прислал в Ясную Поляну еще в 1877 году Н. Н. Страхов. Толстой благодарил: «Там есть чудесные вещи. Прочли ли вы «Неверующий»? Первый вопрос и ответ — чудо» (ПСС, Т. 62, С. 318).

28 ноября 1883 г. в письме из Петербурга Страхов спрашивал Толстого: «А как Вы нашли И. П. Минаева? Он очень восхищен». В 1888 г., посылая новую книгу «нашего знаменитого санскритолога» — «Буддизм. Исследования и материалы» (1887), писал о Минаеве: «Он величайший Ваш почитатель и просил меня переслать Вам книгу» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870-1894». С.-Петербург, 1914. С. 310, 370).

15. Ю. Я. РАБИНОВИЧ Две встречи с Л. Н. Толстым

10 сентября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого художника слова и учителя жизни — Льва Николаевича Толстого. В настоящее время, когда каждое слово, каждая новая черточка о гениальном Толстом имеет свою ценность и заносится в сложную историю его необычайной жизни, мы считаем не безинтересным опубликовать небольшие воспоминания врача Юл. Як. Рабиновича¹ о двух его ранних встречах с великим писателем.

Заметим кстати, что данными воспоминаниями Ю. Я. поделился с нами на другой день смерти Л. Н-ча (8 или 9 ноября, ст. ст., 1910 г.), т. е. под свежим впечатлением такого разительного события, когда память человеческая реагирует наиболее остро. По долгу литературного летописца, эти воспоминания были тщательно записаны мной в литературный дневник и д-ром Рабиновичем проверены. Его рассказ, как мне казалось, характерен не только для Л. Н. Толстого, но в некоторой степени и для тех общественных настроений, с которыми вступала в жизнь свободолюбивая молодежь 90-х годов.

— Это было в 1884 году, — начал свой рассказ мой собеседник, — когда в Москве, на Арбате, существовала знаменитая впоследствии «студенческая библиотека» А. Н. Михиной. Вокруг этой библиотеки группировалась пылкая молодежь, преданная народническим идеям. Среди нас были тут, между прочим, и два друга школьной жизни, получившие потом большую политическую известность, но... по уже противоположным взглядам — знаменитый Сергей Зубатов, ставший мужем А. Н. Михиной, и эсеровский цекист — Михаил Гоц. Здесь же из студентов и гимназистов-выпускников составлялись «кружки для самообразования», которые вместе с тем горячо стремились распространить в народе дешевую, но хорошую, идейную литературу.

Лев Николаевич Толстой в это время был уже в большой славе, его сочинениями зачитывались, хотя они по цене и были мало доступны для широкой публики. Нужда в его книжках чувствовалась остро. Это особенно испытывала учащаяся молодежь, воспринимавшая веяние «нового духа» с беззаветной горячностью...

Все это привело нас, учащихся (я был «выпускным» гимназистом) к мысли — пойти к Л. Н. Толстому и просить разрешения на переиздание некоторых его сочинений для распространения их по себестоимости.

Кстати, в те поры обратила на себя всеобщее внимание его статья «О методах обучения грамоте» и «Азбука»². По случаю ли издания этой книги (статья написана была много раньше) или по другой какой причине —

не помню, но только мы решили просить у Льва Николаевича и эту книгу. И вот двое — я и товарищ мой С. И. Михин, близкий к библиотеке, — в один из осенних, но ясных дней отправились к Л. Н-чу. Жил он в Москве, в Хамовническом пер., в своем доме.

Идем переулком и весело щебечем. Все о Толстом: о личности, о его книгах, строим план распространения сочинений. Между разговором С. Михин подал мысль:

— А что если мы встретим Толстого на улице?

Этот вопрос нас несколько озадачил: собственно мы не были подготовлены к встрече писателя — и вдруг:

— Смотрите — Толстой идет! Борода — Толстого!

Действительно, в нескольких шагах навстречу нам шел Лев Николаевич. Хотя мы и знали его только по портретам, тем не менее были уверены, что перед нами именно Толстой, о чем свидетельствовала всем знакомая фигура писателя, с характерным лицом и типичной широкой бородой. Одет был Лев Н-вич в простое длинное «мещанское» пальто, на ногах ботфорты, на голове — широкополая шляпа и в руках палка. Мы окликнули:

— Лев Николаевич!

— Что нужно? — спокойно ответил он и остановился.

— А мы к Вам шли, по делу...

— По какому делу?

— По поводу издания ваших сочинений...

— Ах, это интересно! Ну, рассказывайте. Только я тороплюсь в город, тоже по делу... Пойдемте и рассказывайте...

И мы втроем вернулись из Хамовнического пер. к центру Москвы.

Дорогой, насколько было возможно, подробно изложили Л. Н-чу цель своего путешествия. Писатель выслушал нас внимательно и озабоченно произнес:

— Знаете, милые друзья, ничего сделать не могу: все дело по изданию лежит на Софье Андреевне...

Нас это обстоятельство несколько смутило: ответ был для нас неожиданный... Мы высказали свое сожаление. После небольшой паузы, разговор поддержал сам Лев Николаевич:

— А я вот теперь тоже учусь... Изучаю древнееврейский язык и пробы читать начало «Пятикнижия» — Закон Моисея³...

Дальше Л. Н-ч поведал нам, насколько интересно углубляться в священную историю и постигать древнее учение и заповеди. По-видимому, он заинтересовался «Пятикнижием» очень сильно, т. к. цитировал многие места наизусть, чему мы немало удивились.

Говорили о книгах и, пользуясь случаем, попросили Л. Н-ча дать нам «Азбуку» и последние его сочинения. Он охотно обещал и просил прийти к нему на другой день на дом.

Проводив Л. Н-ча почти до центра Москвы, мы расстались.

На следующий день к Л. Н-чу пришлось идти мне одному. Время было около 2 ч. дня. На звонок вышел лакей, а в прихожей, около большой

лестницы, встретил, если не ошибаюсь, сын писателя — Лев Львович, которому я кратко и изложил цель своего прихода.

— Знаете, папа обедает... А впрочем я ему скажу. — и скрылся.

Вскоре же вышел сам Лев Николаевич и, поздоровавшись за руку, несколько смущенно, как мне показалось, произнес:

— Извините... я обедаю... нельзя ли в другой раз?..

Я сказал Л. Н-чу, что хотелось бы получить книги сегодня, т. к. и времени свободного я не имею да и ходить очень далеко.

— Ах, так... Ну, тогда немного подождите. Я выйду...

В ожидании Толстого, я заметил, как несколько раз через соседнюю комнату проходил лакей с подносом, на котором были установлены кушанья. Обстановка мне казалась богатой по-графски. Даже и лакей был графский: в черном фраке и белых перчатках...

Обед кончился и вскоре ко мне вышел Л. Н-ч и пригласил в свой рабочий кабинет. Только тут я разглядел, как следует, его простое и доброе лицо, с глубоко сидящими глазами, над которыми нависли густые и длинные брови, отчего взгляд Л. Н-ча для непривычного наблюдателя в первое время казался немножко сердитым или — вернее — строгим. Одет был Лев Н-ч в простую черную рубаху-блузу. Брюки заправлены в сапоги.

Оживленно поговорили о книгах, о работе Л. Н-ча и о наших «кружковых» намерениях, которыми Л. Н-вич весьма интересовался, после чего он достал с полки несколько книжек своего сочинения и вручил мне, сделав на них предварительно свою подпись, что для меня было особенно дорого.

— А вот эти книжки почему-то не разрешают, — сказал Л. Н-ч и дал мне три гектографированных брошюры: «Исповедь», «О переписи в Москве» и последнюю работу — «В чем моя вера».

К сожалению, наша учащаяся братия на нет «зачитала» эти драгоценные брошюры. Пробовал потом искать — безнадежно. Канули, как в Лету...

На прощанье Л. Н-ч пожал мне руку и ласково проводил.

Уходил я от писателя с радостным настроением. Может быть, причиной этому был подарок и обаятельная личность Толстого. Но окружавшая обстановка говорила далеко не в пользу писателя...

Это последнее обстоятельство подтвердил тут же случай, омрачивший все-таки мое настроение. Когда я вышел из парадного, на дворе, около ворот, поджидала группа крестьян, таких по виду, какие рисуются Толстым в «Плодах просвещения» — армяжных, в лаптишках и с котомками за плечами.

Из расспросов выяснилось, что это пришли из Ясной Поляны мужички-погорельцы. Пришли за милостью к «батюшке-барину» и ждут здесь у ворот с 7-ми час. утра, а времени было уже 3–4 ч. дня. Мне это показалось странным. — «Что подумает вот этот армяжный народ о великом писателе, о котором говорит весь мир. — мелькнула злая мысль. — Где же его слово и дело?...»

И эта назойливая мысль не покидала меня очень долго. И только тогда, когда я прочитал необыкновенное сообщение, что Толстой ушел из семьи, покинув все свое достояние, я поверил, что прошлому виною была окружающая великого мыслителя обстановка, и понял, какую душевную драму должен был пережить Толстой...

На этом рассказ был окончен.

А. Белозеров

А. А. Белозеров

Н.-Новгород

16-я линия, д. 3, кв. 3.

Воспоминания врача Ю. Я. Рабиновича записал нижегородский поэт А. А. Белозеров (1883?–1954), происходивший из бедной крестьянской семьи, знакомый М. Горького, участник революционного движения.

¹В дореволюционное время неоднократно подвергался административным высылкам из Москвы. В данное время живет в Н.-Новгороде, как инвалид, пенсионер. (*Прим. авт.*)

²Педагогические статьи Толстого и рассказы для детского чтения из «Азбуки» («Русские книги для чтения») входили в тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», на издание которых еще в 1883 г. Толстой выдал доверенность жене.

³Толстой изучал древнееврейский язык (под руководством московского раввина С. А. Минора), чтобы читать в подлиннике Библию и другие Священные книги, — в связи со своими критическими работами: «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий».

16. В. Д. ПОЛЕНОВ

Толстой у Поленова

(В записи А. Н. Мошина рассказ художника)

В. Д. Поленов, показывая мне в своей мастерской начатые работы, вспомнил о своем первом знакомстве с гр. Л. Н. Толстым.

— В 1888 году я кончал мою картину «Христос и грешница». Много перестрадал я из-за этой картины: получил ужасные головные боли: расстроился нервами так, что Шарко запретил мне два года работать...

Эта картина долгое время поглощала все соки моих нервов: я отдавался ей весь... Ездил в Палестину, чтобы изучить колорит, местность... Много я работал над картиной, и всё-таки она не вполне удалась... Теперь мне ясны все ее недостатки...

Картина была почти закончена: я отделял кое-какие детали. В мастерской у меня сидел молодой художник Сергей Алексеевич Коровин: с ним я, за работой, беседовал. Вдруг, взглянув на дверь, я увидел Л. Н. Толстого, с которым до того не встречался ни разу. Я был поражен:

— Лев Николаевич! — воскликнул я, — чему обязан я таким счастьем, такой честью?

Граф не ответил на мое приветствие и спросил, как будто с раздражением:

— Да вы почему меня знаете?

— Кто же вас не знает!

Л. Н. молча подошел к моей картине и стал рассматривать... Я предложил ему отойти на достаточное расстояние, но он ответил, что плохо видит. Я предложил бинокль.

— Это что за штука? — спросил Л. Н.

— Это бинокль! — ответил я, не понимая, почему граф не хочет обнаружить свое знакомство с этим общеизвестным оптическим аппаратом. Л. Н. принял бинокль и начал смотреть не в маленькие стекла, а в большие. Я его поправил. Тогда он стал смотреть, не выдвинув винтом трубки с малыми стеклами, и сказал:

— Ничего не вижу.

Я показал, как нужно действовать винтом бинокля, но граф отказался от аппарата.

Долго смотрел Л. Н. на мою картину и, наконец, указывая на нее, сказал:

— Вот этого вы не любите!

— То есть, кого?

— Вот этого, который сидит посредине.

— То есть Христа?!

— Ну да, — вы его не любите!

И с этими словами Л. Н. ушел.

Я был до такой степени поражен, что несколько минут не мог вымолвить ни слова. А когда немножко пришел в себя, спросил Коровина:

— Что это значит? За что он меня так жестоко обидел?

— Ничего не понимаю, — пожал плечами в ответ молодой художник.

И до сих пор В. Д. Поленов не подыскивал объяснения загадки.

Москва, 6 мая 1901 г.

Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) — русский художник. С Толстым познакомился в 1887 г. у С. И. Мамонтова, известного промышленника и мецената; позднее несколько раз бывал в Хамовническом доме. В 1896 г., посетив Передвижную выставку, Толстой одобрительно отозвался о картине Поленова «Среди учителей».

Единственное письмо к Поленову относится к 1909 г. — благодарность за присланный в Ясную Поляну альбом «Из жизни Христа» (тип. А. И. Мамонтова, 1909, сохранился в Яснополянской библиотеке). Толстой написал тогда художнику: «По рассказам я имел очень неопределенное понятие о вашей выставке, но альбом ваш произвел на меня сильное впечатление. Воображаю, как подействовала бы на меня сама выставка, и очень, очень сожалею, что не мог видеть ее. Не говоря уже о красоте картин и о том, вполне сочувственном мне, отношении вашем к изображаемому предмету, самый этот огромный труд, положенный вами на это дело, вызывает глубокое уважение к художнику» (ИСС. Т. 79, С. 215–16). Специально для Толстого художник раскрасил альбом.

Записанный в 1901 г. рассказ Поленова был опубликован 28 августа 1908 г. в газ. «Биржевые ведомости». Здесь печатается по рукописи, сохранившейся в архиве Н. Н. Гусева.

17. Е. А. ПУШКИН

Мои воспоминания о гр. Л. Н. Толстом

1909 г. Августа 27. В прошлом году вся Россия, за исключением немногих фанатиков, праздновала юбилей Толстого и поэтому все журналы и газеты, а также отдельные издания, были наполнены подробностями о его жизни, так или иначе сделавшимися известными множеству лиц, которым они, по передаче от других, были известны. Толстой своими философскими сочинениями имел на меня очень сильное влияние; по прочтении (впрочем весьма немногого из того, что им было написано в этой форме), я положительно сделался лучше, вполне усвоив себе только две истины: 1) о неразумии сопротивления злу и 2) что каждый должен делать добро своему ближнему постольку, поскольку он может (могущие вместить да вместить).

Я не говорю уже о беллетристических произведениях Л. Н., которыми я всегда зачитывался и которые я перечитал несколько раз. Благодаря глубокому моему благоговению перед его литературным творчеством и изумительной талантливостью, я давно желал с ним, если не познакомиться, то хоть увидеть его, и это оказалось для меня не очень трудным. Кроме того, благодаря тоже случайности, мне сделались известными некоторые черты из его жизни, очень интимные, и может быть известные только немногим. Все это побуждало меня, по примеру других, взяться за перо и сообщить большой публике, через газету «Новое время» что ли, то, что мне было известно про Толстого, но, ввиду значительного интимного — и по отношению к Толстому, и по отношению ко мне самому, — характера моих сведений, я воздержался от приведения в исполнение моего намерения, и когда сообщил об этом моему товарищу А. М. Кузминскому, женатому на сестре жены гр. Толстого, то он совершенно согласился со мной. Вот почему, предполагая однако, что мои сведения могут быть интересны вообще и в будущем вряд ли найдутся препятствия для опубликования их вместе с моими дневником и записками, я решил записать свой рассказ о Толстом в эту книгу, оканчивающуюся дневником 1908 года, и хотел это исполнить в том же году летом, когда я жил в имении Протопоповых, селе Румянцеве; но желание подольше насладиться деревенской жизнью и вообще весь склад этой жизни помешали мне это сделать в то время. Теперь, когда, по возвращении из заграницы и до приступа к моим обычным сенатским занятиям, мне остается несколько свободных дней, я предположил хотя бы очень коротко изложить здесь, в приложении к означенному дневнику, то, что мне известно о Льве Николаевиче.

Первым моим браком я был женат на Н. А. Колокольцевой, брат которой, мой истинный друг — Николай Аполлонович, был женат на покойной ныне (застрелившейся в припадке сумасшествия) Марье Дмитриевне.

урожденной Дьяковой, дочери того Дмитрия Алексеевича Дьякова, о котором Т. А. Кузминская упоминает в своих воспоминаниях, напечатанных в «Новом времени», как об одном из очень близких к Толстому людей, связанном с ним многолетней дружбой. Ныне тоже покойный, Дмитрий Алексеевич был очень умный и серьезный человек, глубоко образованный, но помешанный на сельском хозяйстве и на любви к своей единственной дочери, за которой он всюду следовал после ее замужества, что вызывало подчас большое неудовольствие со стороны его зятя и влекло за собой большие осложнения в их жизни, о которых я поговорю когда-нибудь отдельно, когда буду говорить о семье и родных моей первой жены. У Марьи Дмитриевны был в Москве, в Скатертном переулке, свой собственный дом, приобретенный ею на деньги, вырученные от продажи имения в Рязанской губернии, купленном для нее ее отцом, вздумавшим там развить хмель, каковая попытка его окончилась полной неудачей, зять с тестем поссорились и имение было продано. Но Д. А., для которого разлука с его дочерью была большим горем, не замедлил опять пристроиться к ее семье и нанял для своего жительства отдельный флигель в доме своей дочери, а так как в этом флигеле было два этажа, то он в один из этих этажей пустил на жительство княгиню Оболенскую, дочь сестры графа Льва Николаевича, графини Марии Николаевны, бывшей замужем (тоже) за графом Толстым и в то время уже давно овдовевшей. Поселившаяся в доме моей *belle sœur*, вместе с матерью, княгиня Оболенская была вдова, муж которой незадолго до того времени скончался скоропостижно. Сама графиня Мария Николаевна впоследствии поступила в Оптиный монастырь и в настоящее время состоит там монахиней, изредка навещающей своего брата в его Ясной Поляне. Мой рассказ относится к 1888 или 1889 году, хорошенько теперь не упомню. Я в то время находился на службе в г. Твери в должности председателя Окружного Суда, но довольно часто приезжал в Москву, где постоянно останавливался у Колокольниковых в главном доме, ими самими занимаемом. Лев Николаевич в то время проживал также в Москве со своей семьей и очень часто бывал у Д. А. Дьякова и у своей сестры.

Я много раз просил Марию Дмитриевну устроить мне с ним знакомство, что было не трудно сделать, отправившись к Д. А. Дьякову в то время, когда Толстой к нему придет; но это все как-то не удавалось, потому что я каждый раз приезжал в Москву на два, на три дня, в которые так случалось, что Толстой не бывал у Дьякова. Но вот однажды, — это было на масленице, я получил в Твери приглашение на бал к Московскому генерал-губернатору кн. Долгорукову, канцелярия которого, по старой памяти, ежегодно посылала мне это приглашение. Приехав в день этого бала, так называемого *folle journée*, ибо он начинался с 12 час. дня блинами, после которых танцевали, я должен был поспешить надеть фрак и уже собиравшись ехать, как в комнату ко мне вошла Марья Дмитриевна и сказала, что приехал Толстой и что если я желаю его видеть, то чтобы шел скорее к ее отцу. Само собой разумеется, я позабыл про бал и побежал, как был во фраке и в белом галстуке, к Дмитрию Алексеевичу.

Я всегда был моложав и казался моложе своих лет, а тут, в бальном наряде, я уверен, что показался не всмотревшемуся в меня Толстому совсем молодым человеком, несмотря на то, что мне в то время было уже около 40 лет. Я застал Толстого в верхнем этаже, сидящим в своей блузе на кресле посреди комнаты; тут же был Д. А., графиня Марья Николаевна и ее дочь Оболенская. Меня представили графу, который не обратил на меня особого внимания и продолжал начатый разговор, темой которого были его обычные рассуждения о вреде мясной пищи. Я стал рядом с Л. П. и робко заметил ему, что вот я всегда ем мясо и тем не менее чувствую себя совершенно здоровым. Действительно, я всегда обладал хорошим здоровьем, а в то время начал уже полнеть. Толстой посмотрел на меня вбок и презрительно сказал: «Вы? — вы никуда не годитесь». Признаюсь, что несмотря на мое благоговение перед Гослтым, его тон мне не понравился, и когда впоследствии разговор прекратился, то я воспользовался паузой, чтобы спросить Толстого, что он думает не о любви к ближнему, статью о чем, напечатанную им незадолго перед тем в «Неделе», только что прочел, а о любви к женщинам.

В настоящее время я понимаю, как неуместен был мой вопрос, на который, помнится, графиня Мария Николаевна заметила: «Ну что вы его спрашиваете о любви: я думаю, он теперь забыл уже, как любят...», но в то время этот вопрос интересовал меня более чем что-либо на свете, потому что в то время я, несмотря на свой зрелый возраст, влюбился до безумия в одну женщину, был ею любим и очень счастлив, думая только о том, как бы мне не потерять это счастье, не находил никаких оснований к тому, чтобы надеяться на прочность этого счастья, поэтому разрешение моего вопроса, сделанного такому оракулу, как Толстой, представлялось мне необыкновенно важным и безотлагательно необходимым, — тем более, что я все-таки спешил попасть на бал к генерал-губернатору.

А для того, чтобы и Толстого убедить в важности и серьезности моего вопроса, я сам начал говорить о любви в возвышенном тоне, утверждая, что, по моему мнению, единственное счастье человека заключается в любви, т. е. в том, когда он любит и его любят. Помнится, я что-то очень долго, и как казалось мне, довольно красноречиво, говорил на эту тему, причем развивал ту мысль, что чем чаще выпадает человеку на долю любить, тем он счастливее. Толстой молча выслушал мои разглагольствования и затем, на вопрос мой: «Что вы скажете на это, Лев Николаевич?» — ответил мне следующее: «В то время, когда вы говорили, я вспоминал одного моего знакомого частного пристава; он очень любил, чтобы ему в бане терли спину и все приговаривал: еще, еще немного. Поверьте мне, что то же самое и в любви».

Я не нашелся, что ответить на эти странные слова, а Толстой встал, простился со всеми и спустился по лестнице вниз на половину Дьякова и вместе с ним, но с половины дороги вернулся и, подойдя ко мне, сказал: «Я сейчас узнал, что вы из Твери: у вас там Афины — Петрункевич, Засулич... кланяйтесь им пожалуйста от меня». Меня эти слова поразили еще более: Петрункевич (И. И.) почти не жил в Твери, приезжал туда только на земские собрания, а Засулич, но ведь это не Вера Засулич жила там, а

ее сестра, которая была за кем-то замужем и ровно ничем не отличалась, даже в той партии, к которой она принадлежала. Я ушел от Дьякова разочарованный и очень досадуя на себя — что про меня подумает граф Толстой? А он, вероятно, тотчас же по уходе и забыл вовсе о моем существовании. Д. А. Дьяков рассказывал, что на другой день он обедал у Толстых и за обедом все, кроме Льва Николаевича, ели всё и в том числе и «трупы»; очевидно, что его проповедь в этом отношении не убеждала правотой и самых близких к нему людей.

Несмотря на мою неудачу, эта встреча с Л. Н. была одною из самых интересных в моей жизни и я никогда не забуду того, что мне удалось видеть так близко и вести беседу с этим человеком, которого я так глубоко, всем своим сердцем и помышлением, люблю и уважаю, сочинениям которого я так много обязан для своего умственного и нравственного развития.

По моему мнению, он, как проповедник, не может много говорить и писать, как он это делает, но при этом еще вовсе не следует, чтобы он возлагал на человечество непремennую обязанность — следовать безусловно всему тому, чему он учит; достаточно будет, если его слова заронят хотя бы семена его великих стремлений в душу каждого человека; могущий вместить, да вместити. Никогда он не настаивал на том, чтобы все следовало во всем безусловно его учению; будет достаточно, если, предпринимая что-либо в жизни, человек будет памятовать его заветы и сообразовывать с ними, хотя бы отчасти, свои поступки и действия по отношению к другим людям, что совсем не так трудно и безусловно необходимо, потому что, я думаю, часто не сомневаешься в том, что, в своих основных принципах, Толстой несомненно прав. Отрицать его слова, как это делает наше духовенство, это значит отрицать основные принципы христианского учения, а поэтому, если Бог взыщет с кого-нибудь в будущей жизни, то никак уж не с Толстого, а с тех, которые недовольны его учением.

Д. А. Дьяков, который был очень дружен с Л. Н., передавал мне следующий случай из жизни графа, очень интимного свойства, но в истинности которого не может быть никаких сомнений, потому что Д. А. был человек совершенно порядочный и никогда не хваставший и не лгавший. Он много рассказывал мне о Толстом, но этот случай очень запечатлелся в моей памяти и, казалось бы, может служить некоторым объяснением происхождения «Крейцеровой сонаты», или, по крайней мере, первой мыслью в уме Толстого о написании этого рассказа.

«Однажды, — рассказывал Д. А., — мы были вместе с Толстым в уездном городе N. (Крапивне или Черни, я позабыл название этого города, но помнится мне, что он был в Тульской губернии), где у нас обоих были дела, которые должны были задержать нас там несколько дней; но вот, в первый же день приезда туда, когда уже наступили сумерки, Толстой всполошился отчего-то внезапно и стал упрашивать немедленно ехать в Ясную Поляну, причем, на мои вопросы, зачем ему понадобилось ехать туда сейчас же, он, крайне взволнованный, отвечал каким-то бормотаньем,

и когда я, уступая его настоятельному желанию, сел с ним в сани и мы тронулись в путь, то я снова начал его расспрашивать о том, что такое случилось, но Толстой отвечал лишь: так, ничего... и всю дорогу молчал, мрачно поглядывая вперед. Наконец наша тройка остановилась у крыльца дома Ясной Поляны, и Толстой, как был, в шубе и шапке, не вошел, а вбежал в дом и, минуя несколько комнат, с шумом растворил дверь в угловую комнату, где стояло несколько диванов, и, низко наклонившись, порывисто стал заглядывать, как будто ища кого-то, спрятавшегося под диван. Я следовал за ним и с изумлением наблюдал за его действиями. Наконец он сбросил с себя шапку и шубу, и весь в поту, красный от волнения, проговорил: «Митя, я сумасшедший», а затем рассказал ему, что заподозрил свою жену в том, что она, в его отсутствие и не сказав ему, пригласила некоего Нагорнова, который часто сопровождал ее на скрипке, когда она играла на фортепиано, что Н. увлек ее музыкой и что она теперь где-нибудь прячется от него. Все это имело вид совершенного бреда безумного человека, никакого Нагорнова в Ясной Поляне не было, и графиня Софья Андреевна, не ждавшая такого внезапного возвращения своего мужа ночью, спокойно спала в своей спальне. Что касается до Нагорнова, то таковой действительно бывал у Толстых, по возвращении своем из заграницы, где он почти постоянно жил, совершенствуясь в игре на скрипке, на которой он действительно играл как виртуоз и вместе с графиней исполнял Крейцерову Сонату Бетховена, всегда очень нравившуюся Л. Н. Он был очень красив, нравился женщинам и, кажется, умер в молодых годах. Старшая дочь гр. Марьи Николаевны Толстой впоследствии вышла замуж за его брата, которого я знавал в Москве, где он был, кажется, членом городской управы. По словам Дмитрия Алексеевича, Лев Николаевич потом никогда не вспоминал про этот припадок безумной ревности с его стороны, и по-видимому, в тот момент, когда он пришел в себя, сильно раскаивался в том, что позволил себе показать при постороннем человеке, — хотя и друге, — такое недоверие к своей жене, бывшей всю жизнь ему верной подругой.

Надеюсь, что теперь совершенно понятно, почему я не решился своевременно сообщить об этом случае в печати; пускай лучше прочтут его уже после того, как ни графа Толстого, не меня не будет больше на свете.

Пушкин Евгений Алексеевич (1845–1915) — председатель Тверского окружного суда, впоследствии сенатор по гражданскому департаменту Правительствующего Сената.

В архиве Н. Н. Гусева хранились как воспоминания неизвестного. Фамилию автора удалось установить по записи в дневнике Л. Н. Толстого 16 февраля 1889 г.: «Прошел к Дьякову. Пушкин судейский. Та же детская невежественность с уверенностью» (ПСС, Т. 50, С. 37). В примечаниях к записи сказано, что, вероятно, это Александр Львович, племянник А. С. Пушкина. Но А. Л. Пушкин не имел отношения к судейской деятельности. По справочнику «Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1909 год. СПб. 1909», в списке сенаторов по гражданскому департаменту Правительствующего Сената значится Пушкин Евгений Алексеевич. Он же был председателем Тверского окружного суда в 80-е годы. В 1907 г. напечатал воспоминания о своем гимназическом и университетском товарище А. И. Урусове, судебном ораторе, адвокате, которого знал и Л. Н. Толстой.

18. С. Т. КУЗИН

Мои воспоминания о Льве Н. Толстом

Ввиду кончины великого писателя и мыслителя земли русской, Льва Николаевича Толстого, я решил поделиться с его почитателями своими скромными воспоминаниями о моем первом знакомстве с ним и его последнем посещении нашей деревни Ивино.

I

Мое первое знакомство, если можно такovým назвать мое первое свидание со Львом Н. Толстым, было в мае 1889 года.

Задолго до этого времени я, начитавшись — преимущественно стихов — русских писателей А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова и [Н. А.] Некрасова, стал писать тоже стихи... и написал их целую книгу.

И вот я эти первые свои опыты на писательском поприще и решил показать Л. Н. Толстому.

Однажды весной, в мае (какого числа не помню) я прихожу в Хамовники (в Москве) и нахожу его дом; робко подхожу к парадному ходу и звоню. Меня встречает лакей и спрашивает: вам кого нужно?

— Льва Николаевича Толстого, — отвечаю я. Лакей говорит: он недавно ушел на прогулку, подожди его, он скоро вернется. Я так и сделал. Вернулся к воротам и стал его дожидаться.

Наконец я вижу — к воротам подходит просто одетый, с палкою в руках, пожилой, поклонился со мною и спрашивает: вы к кому?

— Ко Льву Николаевичу, — говорю я.

— За каким делом? — спрашивает он, останавливаясь у калитки.

Я тут только догадался, что это именно сам Лев Николаевич и есть. Показывая свою книгу, сказал: Лев Николаевич, вот я написал целую книгу стихов и пришел вам их показать...

Лев Николаевич взял у меня из рук мою книжку и ответил:

— Я сам стихов не пишу и потому в них мало понимаю, да и вам советую, коль писать, так пишите лучше прозою.

С этим словом он пошел через калитку на двор, пригласив меня следовать за собою. Я думал, что он поведет меня в дом, но он прошел мимо парадного крыльца, завернул за угол своего дома, где у них находилась выходящая в сад терраса.

Он подошел к ней, сел на верхнюю ступеньку, снял с головы свою серую пуховую шляпу, положил рядом с собою. Затем раскрыл мою книгу, прочел один или два стихотворения, сказал кратко: «Слабоваты». С этим словом положил мою книгу на верхнюю ступеньку террасы, стал меня спрашивать, откуда я родом, где я живу, чем занимаюсь, есть ли у меня в деревне дом, земля и хозяйство? Я ему тогда ответил, что я крестьянин Московской губ., Подольского уезда, живу пока в Москве, на мыльной (Чепелевецкого) фабрике, в деревне у нас дома нет, он сгорел; земля есть,

но никакого хозяйства мы на нем не ведем... Тогда, выслушав меня, он заметил: «Это нехорошо, что вы, крестьянин, бросаете землю, бежите из деревни в город, который вам никакой пользы не приносит, а только развращает!» В этот момент, увлекшись, он стал передо мною развивать свою мысль о труде, в особенности о свободном труде земледельца, который, по его словам, действительно в поте своего лица ест свой трудовой хлеб. «Следовательно, — продолжал он, — разумно поступают те крестьяне, которые не бросают земли и своими трудами ее обрабатывают. Нельзя ни с чем сравнить жизнь земледельца в деревне, на вольном воздухе, всегда находящегося в общении с природой, где на каждом шагу чувствуешь¹ ее. Здесь же, в сутолоке городской жизни, шуме машин, грохоте экипажей, среди праздных развлечений, люди ее в себе совсем не чувствуют и потому легко ее и забывают. А там (в деревне) он везде присутствует, в шелесте древесного листа, в пеньи жаворонка, шуме дождя, сверкании молнии и ударах грома...»

Я его слушал и вполне соглашался с ним, ибо и я в душе был крестьянин-земледелец, только благодаря несчастному случаю (пожару в деревне) на время стал фабричным рабочим. При этом Лев Николаевич спросил меня, читал ли я статью крестьянина Т. Бондарева «Торжество земледельца (трудолюбие или тунеядство)»²? Я отвечал, что нет; даже не знаю, где она напечатана.

— Жаль, советую прочесть, — заметил на это он. — Я лично сам во всем согласен с Бондаревым, — продолжал он, — и подтверждаю, что нет благороднее и возвышеннее труда, чем труд земледельца, помимо всего прочего он возвышает сердце и облагораживает душу, делает ее более восприимчивой к самоусовершенствованию, самоотречению... все для других, а для себя — ничто... Ведь вы наверное не знаете, что такое самоусовершенствование? — обратился он ко мне.

— Нет, — отвечаю я, — это выше моего понимания.

— Самоусовершенствование есть своего рода подвиг, — начал говорить он, — подвиг самоотречения, к которому должно стремиться все культурное человечество. Оно заключается в следующем: не делать людям того, чего себе не желаешь... т. е. зла; ударившему тебя по щеке подставь другую, взявшего у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку... но не поднимай руки на обидчика (не подливай масла в огонь) и тогда зло, побежденное добром, само собою должно исчезнуть... Поступая так, человек этим совершенствуется, делается незлобив, кроток сердцем...

— Но, позвольте, Лев Николаевич, — возразил я, — если так поступать, как вы говорите, тогда нас заколотят, оберут и оставят в чем мать роди-

— Да, на первых порах так и будет! — согласился он. — Но потом, позже, когда люди увидят и все поймут, что они делают зло, тогда они, само собой разумеется, друг друга не будут обижать. А до тех пор те единичные лица, которые воплотят в себе «это учение», должны стремиться делать одно добро, — не допуская зла, не только в своих поступках, но даже и в мыслях.

После этого он спросил меня, не пью ли я вина. Я ответил, что пью, но чувствую к нему сильное отвращение.

Лев Николаевич сказал: «Это нехорошо; вино пить вредно, как для здоровья, так и для души... Я для вашего блага советую вам бросить пить вино, а для поддержки запишитесь в наш союз трезвости». Я, разумеется, с охотой согласился на его предложение.

Тогда он, не уходя с террасы, попросил Татьяну Львовну принести журнал «Русское дело», где была напечатана статья Бондарева, какую-нибудь французскую книгу, книгу для записи новых членов, вступающих в союз трезвости, перо и чернил. А пока мы ждали и разговаривали, в это время подошел к нам известный писатель из народа С. Т. Семенов.

Лев Николаевич познакомил меня с ним и стал разговаривать.

Во время этого разговора Татьяна Львовна вынесла на террасу все, требуемое Львом Николаевичем. Л. Н. взял французскую книгу, оказавшуюся романом Эмиля Золя «Чрево Парижа» и стал (я сказал ему в начале беседы, что изучаю этот язык) меня экзаменовать в знании французского языка, которому я тогда немного учился; в знании его я оказался слаб. Затем предложил Л. Н. мне прочесть сочиненное им правило трезвости. Вот дословное содержание: «Мы, нижеподписавшиеся, порешили — во 1-х, самим ничего не пить пьяного: ни вина, ни водки, ни пива. Во-вторых: не угащивать ничем пьяным других людей. В-третьих: внушать другим людям, в особенности молодым и детям, о вреде пьянства, преимуществе трезвой жизни и привлекать их в наше согласие. Просим всех согласных с нами заводить себе такие же листки и вписывать в них новых членов. Просим тех, кои почему-либо изменили своему согласию, сообщать нам об этом».

Но прочтении этих правил я расписался.

Затем Лев Николаевич дал мне журнал «Русское дело», в котором была напечатана статья Т. Бондарева «Торжество земледельца», и советовал прочесть ее, а журнал вернуть обратно, т. к. его лично эта статья интересовала... После этого я простился с ним и ушел, а С. Т. Семенов остался.

II

Другой раз я был у него в 1894 (?) году, зимою, т. е. в год смерти его младшего сына, Ивана, и по несчастью, как раз после его похорон³. Если бы я в то время жил в Москве, то, конечно, ни под каким видом не позволил бы себе его беспокоить. Но я уже жил в деревне и приехал ненадолго... А мне так хотелось повидаться с ним и посоветоваться насчет своих литературных работ, и разрешить некоторые интересовавшие меня вопросы, вытекающие из его учения о непротивлении злу. Первый раз я пришел к нему вечером, но меня к нему не допустили, сказали, что по случаю семейного несчастья он (Л. Н.) никого не принимает, и просили меня прийти в другой раз. Я, разумеется, так и сделал. Пришел к нему на следующий день в 8 ч. вечера. Меня тотчас провели в его приемную комнату. Наконец, чрез минут десять ко мне вошел сам Лев Николаевич и подал мне руку. Я взглянул на него и понял, что он не в себе, расстроен.

Тогда (в 1889 г.) он обошелся со мною ласково, обо всем меня расспрашивал, не спешил уходить. Напротив, в этот памятный для меня вечер он обошелся со мной необычно резко. Осведомился о моем звании, имени, отчестве и фамилии. Я на все ему ответил и кстати заметил, что я раньше был у него, когда жил в Москве, а теперь вот уже четвертый год как я живу в деревне.

— Это хорошо, — заметил он и спросил: — Что вам от меня нужно?

— Я пришел к вам сообщить, что я раньше писал стихи, которые раньше вам показывал, а теперь стал писать рассказы и один из них под названием «Сгубили» я принес показать вам: если хорош, то посоветоваться с вами, где его напечатать, — отвечал я.

— Давай его сюда, я посмотрю, — сказал он.

С этим словом он взял у меня из рук мою рукопись, присел к столу и стал ее читать. Затем, прочитав несколько страниц, он сказал:

— Начало у вас хорошо, но в середине и конце он оказывается у вас плох...

От этих его слов я сразу опустил крылья... и затем, оправившись, сказал:

— Лев Николаевич, у меня есть написан еще другой рассказ под названием «Встреча Праздника»...

— Где же он? Давай я его посмотрю.

— Он в редакции журнала «Русская мысль»...

— Сходите туда и попросите редактора Гольцева от моего имени, чтоб он вернул вам рукопись, и покажете тогда мне.

Тут я простился со Львом Николаевичем.

Кузин Сергей Тимофеевич (1864—после 1936) — крестьянин деревни Ивино Подольского уезда Московской губ., писатель-самоучка. В 1889 г., когда он впервые виделся с Толстым, Кузину было 25 лет. 27 апреля 1889 г. в дневнике Толстого отмечено: «Дома крестьянин, наивный и слабый стихотворец. Говорил с ним по душе» (ПСС, Т. 50, С. 74–75). В 1892 г. появились в печати рассказы Кузина из крестьянской жизни: «Перст Божий», «Полночь в лесу». Второй раз посетил Хамовнический дом в марте 1895 г., после похорон младшего сына Толстого Ванечки (1888–1895). Сохранилась фотография, сделанная В. Г. Чертковым 18 июня 1910 г. в деревне Ивино: Толстой беседует с Кузиным. См. далее воспоминания Ф. Миловидова.

¹Тут было в 1910 году у Сергея Тимофеевича в черновике записано: «присутствие самого Бога», но Сергей Тимофеевич сам просил опустить это место, сказав: «это не современно».

²«Торжество земледелия, или Трудолюбие и туеядство» Т. М. Бондарева появилось (в сокращенном виде) 19 марта 1888 г. в московском еженедельнике «Русское дело». За эту публикацию газете было объявлено, по распоряжению министра внутренних дел, второе предостережение.

³И. Л. Толстой умер 23 февраля 1895 г.

19. С. А. НЕКРАСОВ

Встреча Льва Толстого с Сеченовым

Мне пришлось быть свидетелем встречи Льва Толстого с Сеченовым. Это было 11 января 1894 г., в Колонном зале нынешнего Дома Союзов (тогда это было Дворянское собрание), на 3-ем и последнем пленуме IX съезда русских естествоиспытателей и врачей, а я был тогда студентом 3-его курса естественного отделения физико-математического факультета и работал на съезде в качестве студента-распорядителя.

В этом общем собрании на повестку дня было поставлено четыре доклада: 1) Академика Н. Н. Бекетова «Химическая энергия в природе»; 2) проф. В. Я. Цингер «Недоразумения во взглядах на основания геометрии»; 3) проф. М. А. Мензбир «Современные направления в биологии» и 4) проф. А. И. Чупров «Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением».

Как я узнал впоследствии, Л. Н. Толстой заинтересовался докладом В. Я. Цингера¹. Этот доклад был посвящен новой геометрии Лобачевского. Когда заседание началось и приток публики прекратился, то я вместе с другими студентами направился к круглому залу, чтобы через него пройти к эстраде и слушать доклады. В это время я увидел входящего Л. Н. Толстого. Находившийся среди нас студент-юрист В. А. Маклаков, впоследствии известный московский адвокат и член Государственной думы, увидел Толстого. Он был лично знаком с ним и поздоровался с ним. Студенты-распорядители не знали, куда посадить Толстого. Одни полагали, что его нужно посадить в первом ряду кресел, а другие, что лучше на эстраде. Последнее мнение взяло верх, и студенты провели Л. Н. на эстраду. Председатель съезда К. А. Тимирязев, услышав шум шагов, обернулся и, увидав Толстого, направился к нему навстречу, протягивая ему обе руки, и сейчас же посадил его за стол президиума между собой и академиком А. Н. Бекетовым. Все это увидела публика, переполнявшая зал, и, узнав Л. Н., разразилась по его адресу бурными аплодисментами и не желала прекратить их, а докладчик (Н. Н. Бекетов) не мог продолжать чтение доклада. Толстой не знал, что ему делать, но потом встал и ответил на приветствие тремя поклонами: прямо, направо и налево. Рукоплескания прекратились, и докладчик мог продолжать чтение своего доклада.

После двух докладов был сделан перерыв. Тимирязев очень заботливо провел Толстого в круглый зал и усадил его на диван. Желая предоставить Толстому наиболее интересного собеседника, Тимирязев остановил свой выбор на Сеченове и поручил распорядителям разыскать его в зале, а затем посадил Сеченова на том же диване рядом с Толстым. После этого Тимирязев распорядился, чтобы Толстому дали не чаю, а кипятку с сахаром и лимоном. «Лев Николаевич чаю не пьет», — сказал он. И вот два великих старца повели между собою оживленную беседу. Это произ-

вело на нас, студентов, очень сильное впечатление. Ведь на съезде было очень много выдающихся ученых, съехавшихся со всех концов России, но наиболее интересным собеседником для Толстого оказался Сеченов². Их беседа продолжалась в течение всего перерыва, а затем пошли в Колонный зал слушать остальные доклады.

Некрасов Сергей Александрович – в 1894 г. студент-распорядитель на съезде русских естествоиспытателей и врачей.

¹Толстой познакомился с математиком, профессором Московского университета В. Я. Цингером (1836–1907) в 1877 г., когда подыскивал учителей для своих сыновей. Сын математика, А. В. Цингер (1870–1934), также хорошо знакомый с семьей Толстых (одно время Татьяна Львовна была им увлечена), в 1909 г. напечатал в «Международном Толстовском альманахе» воспоминания, где речь идет и о посещении Толстым 11 января 1894 г. съезда естествоиспытателей и врачей.

²Физиолог Иван Михайлович Сеченов (1829–1905), автор знаменитой книги «Рефлексы головного мозга» (1866), упоминается в рукописях Эпилога «Войны и мира». В г. VII части I романа «Анна Каренина» среди посетителей Николая Левина назван «известный профессор философии, приехавший из Харькова собственно затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу... Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?» Сеченов в 1870–1875 гг. был профессором Новороссийского университета.

20. В. В. МАРКОВНИКОВ

Воспоминания

С 4 до 11 января был съезд естествоиспытателей и врачей. Против ожидания, я все время чувствовал себя настолько бодрым и сравнительно здоровым, что 12 января повез даже некоторых приезжих химиков в Стрельну. Вероятно, этому содействовало то некоторое нравственное удовлетворение, которое я не мог не испытывать, видя к себе общее сочувствие со стороны всех химиков. Исключение составляли Меншуткин и Зелинский; но последний совершенно ступшевался. Меншуткин по обыкновению держал себя бестактно, с каким-то генеральским пошибом, что ему ни с какой стороны не пристало.

Съезд был, как предыдущий, с трескучими публичными речами о «материях важных». Речей почти никто не мог хорошенько расслышать, а тем не менее им усердно хлопали. Хлопали Данилевскому, проповедовавшему в своей речи «Чувство и жизнь» крайний материализм; но так же усердно хлопали и Цингеру, доказывающему, что те выводы, которые физиологи считают результатом своих опытных исследований, опыту вовсе не принадлежат. Наконец хлопали уже совсем ни с чем несообразной ерунде, которую проповедовал Колин. Самым отрядным явлением, случайно связавшимся с съездом, была необычайная демонстрация, которую устроила публика графу Л. Толстому. Он пришел послушать речь Цингера и сел в задних рядах на эстраде. Студенты узнали об этом и в антракте подняли крик перед гостиной, куда ушли все с эстрады, вызывая его к себе. Едва удалось удержать толпу, чтобы она не вломилась в гостиную. Пришлось скорее, чтобы успокоить вызовы, возобновить заседание, и Толстого просили сесть в первом ряду, подле председателя. С появлением его поднялся такой гром рукоплесканий и возгласов, какого мне не приходилось еще слышать. Аплодисменты долго не смолкали, хотя Толстой с виду относился к ним не сочувственно и только один раз раскланялся с публикой. Я далеко не толстовец; но все-таки отрядно видеть со стороны лиц, чрезвычайно различных направлений и взглядов, такое отношение к человеку, которого можно критиковать, но которому нельзя отказать в искренности его пропаганды и всей его частной деятельности. В наше время отсутствия всяких принципов, а следовательно и отсутствия уважения к ним, повторяю, такой взрыв энтузиазма хотя на мгновение действует как-то освежающе и заставляет невольно многое извинять и со многими примириться.

Марковников Владимир Васильевич (1837-1904) — химик, профессор Московского университета. В 1880-е годы у него учился старший сын Толстого Сергей Львович. Однажды, когда Сергей Львович, делая опыты, испортил колбу и строгий профессор рассердился, Толстой написал сыну: «Очень жалко, что Марковников тебя обидел. Мне

казалось, что ты дружелюбно бил посуду, и вдруг оказывается, что этого генерал не одобряет» (ПСС, Т. 63, С. 187).

Воспоминания Марковникова о девятом съезде естествоиспытателей и врачей, проходившем в Москве в январе 1894 г. под председательством К. А. Тимирязева, сохранились в архиве Н. Н. Гусева в виде оттиска из журнала «Русский Архив» (Москва, Синодальная типография, С. 43–44). Толстой так отметил свое посещение съезда в дневнике 24 января 1894 г.: «Глупое положение на съезде натуралистов, которое было мне очень неприятно» (ПСС, Т. 52, С. 108).

21. В. В. РОМАНОВ
Из прошлого. Отрывки из воспоминаний
старого журналиста о Л. Н. Толстом
(1882–1910 гг.)

Из гимназических воспоминаний

С произведениями Л. Н. «Анна Каренина», «Война и мир» я познакомился очень рано, еще будучи в первых классах гимназии, хотя оба эти романа были под строжайшим запретом нашего бдительного начальства. Литературных кружков в нашей Вяземской земской гимназии не было, но среди старших гимназистов была группа самообразования, которая, добывая себе классиков и литературные новинки, не забывала и нас — малышей, интересовавшихся хорошей книгой. Полученная книга тайно пронеслась домой и читалась втихомолку, обыкновенно после латинской и греческой зубрежки, когда в квартире водворялся ночной покой. Рядом на всякий случай клалась раскрытая греческая грамматика, служившая, благодаря большому формату, отличным щитом для запретной книги в случае неожиданного появления начальства, — классного наставника или инспектора, которые в те времена частенько заглядывали к нам на квартиры для наблюдения за занятиями своих юных питомцев. Порядки в то время были строгие, особенно после убийства Александра II и воцарения Александра III, введен был военный строй, маршировка и т. п. Но, несмотря на все строгости, наш класс, кроме примерного первого ученика и двух, трех деэтяев, перечитал все, что можно было достать из сочинений Л. Н. Толстого, Тургенева, Иисемского, «Что делать?» Чернышевского, «Обрыв» Гончарова, Помяловского и некоторые литературные новинки.

Первая встреча

Первая встреча с Л. Н. произошла у меня, когда я еще не был с ним лично знаком, при не совсем обычной обстановке. В 1894 году я жил с семьей на даче около ст. Кунцева, Моск.-Брестской ж. д. и обычно ездил в редакцию в Москву на велосипеде по Можайскому шоссе через Дорогомилово. В одну из таких поездок, часов около 11 утра, когда я спускался с Поклонной горы, навстречу мне в гору, медленно, но уверенно и ровным ходом ехал старик с большой бородой в рабочей блузе, подпоясанный простым пояском, на стареньком велосипеде. Когда я, сдерживая велосипед, почти поровнялся с ним, я в велосипедисте узнал Л. Н., фигуру которого я хорошо знал, так как, еще будучи студентом, я жил в меблированных комнатах Захарьина, на Кузнецком мосту, и по пути в университет не раз встречал Л. Н., который заходил в книжные и эстампные магазины. У него что-то не ладилось в машине и ему неловко было ехать в крутую Поклонную гору. У меня был с собой инструмент, и, остановившись, я предложил ему посмотреть, в чем дело. Л. Н. сначала как будто стеснял-

ся, но затем слез с велосипеда и согласился, так как ему, очевидно, предстояло и обратный путь совершить на той же машине. Я подвернул ослабшую гайку у колка шатуна, и Л. Н., любезно меня поблагодарив, поехал дальше, свернул на Фили, и я потерял его из виду.

Знакомство с Л. Н.

Насколько я помню, в этом же году я лично познакомился с Л. Н. Как-то раз в довольно жаркий день Л. Н. зашел в редакцию, и я, узнав об этом, предупредил В. М. Соболевского о его визите. Я держал порядочную кипу только что полученных статей и писем, которые после беглого просмотра передавал с комментариями ему. Аудиенция моя была еще далеко не кончена, когда отворилась массивная редакционная дверь и в кабинет вошел Л. Н. Одет он был в неизменную блузу темного цвета с простым пояском. Ускорив несколько шаг, он направился к В. М., а последний, прекратив прием у меня рукописей, поднялся к нему навстречу, приятельски поздоровался с ним и предложил ему кресло у стола, и, представив меня Л. Н., взял у меня только несколько срочных рукописей. Забрав оставшуюся несданной кипу, я оставил их вдвоем, чтобы не мешать их беседе.

Отношение Л. Н. к «Русским Ведомостям» и «Русских Вед.» к Л. Н.

Визиты Л. Н. в редакцию, когда он жил в Москве, бывали довольно часты, особенно во времена общественного оживления. Всегда он заходил, когда было какое-нибудь дело, и в такое время, когда рассчитывал наверное застать в редакции всех, кто ему нужен. В редакции, насколько я помню, он очень редко оставался подолгу и, сделав что нужно, уходил, прекрасно понимая, что нельзя отнимать дорогое время при спешной и нервной газетной работе, где все срочно.

Известие о приходе Л. Н. в редакцию с быстротой электрического тока пробегало по обширным помещениям редакции, конторы, типографии и т. д. В течение нескольких минут все уже знали, что он в редакции. Как только Л. Н. переступал порог швейцарской, Леонтий, много лет служивший швейцаром и великолепно знавший в лицо и по имени и отчеству всех известных писателей, литераторов и известных общественных деятелей и, я думаю, пожалуй мог бы сделать характеристику любого из таких посетителей, сейчас же, через дежурного мальчика, извещал меня, а я осведомлял редактора о приходе дорогого гостя. Если В. М. находился в это время в каком-нибудь из кабинетов редакции, он сейчас же возвращался к себе в кабинет, чтобы не заставлять себя ждать. И сотрудники газеты, и служащие других отделов газеты старались не упустить случая и увидеть знаменитого писателя в нашей рабочей обстановке. Иногда для этого даже пускались на хитрости, выискивая особо срочные дела, благодаря которым можно было бы проникнуть в кабинет редактора, когда там был Л. Н.

Редакция вообще всегда очень любезно принимала своих товарищей по перу, но все-таки Льву Николаевичу здесь по праву принадлежало первое место. Он в свою очередь платил тем же и, видимо, ценил и дорожил

«Русск. Вед.» за их правдивость, честность, стойкость и строго выдерживаемое направление при всех режимах и при всяких житейских бурях и непогодах, дававшееся рукой опытного рулевого, который, лавируя среди опасностей, не давал газете уклоняться от принятого курса ни вправо, ни влево. Когда в бурные моменты жизни, как, например, в конце 1905 года, многие газеты круто брали влево, «Р. В.» все также устойчиво и ровно шли по прежнему, хорошо изученному на основании многолетнего опыта, фарватеру. Во время своих визитов в редакцию Л. Н. был необычайно любезен и внимателен к словам и мнениям сотрудников, которым иногда в его присутствии приходилось обращаться к В. М. по поводу срочной передовицы или иной статьи. Посылая одновременно свои статьи или письма в разные редакции, Л. Н. обычно первые их экземпляры передавал «Р. В.», обуславливая однако их печатание определенным днем.

К сожалению, его просьба не всеми газетами исполнялась, и бывали не раз случаи, когда газеты, получив такое ценное письмо, в погоне за популярностью и сенсацией, печатали его, не выжидая срока, указанного Л. Н., и тем причиняли ему немало неприятностей, а еще более своим товарищам по оружию, не посягавшим на нарушение вполне законного и понятного желания автора, не желавшего никого обидеть или выделит.

Посещая редакцию, Л. Н. довольно редко приносил что-нибудь свое, а чаще являлся ходатаем перед редакцией за какого-нибудь молодого или начинающего писателя, обратившего на себя его внимание. В таких случаях он был великолепным адвокатом, и я не помню случая, чтобы редактор отказал в его просьбе. Так было, например, с известным потом писателем крестьянином Сергеем Терентьевичем Семеновым, трагически погибшим в прошлом году от руки его же однодеревенцев. Л. Н. предварительно в разговоре с В. М. упомянул о появившемся молодом писателе из крестьян, по его, Л. Н., мнению, обладающем несомненным талантом. Несколько позднее этот крестьянин в простом армяке из сукна домашнего тканья явился в редакцию «Р. В.», снабженный письмом, написанным заботливой рукой Л. Н., который, конечно, отлично знал силу своей рекомендации. Насколько помню, такое же рекомендательное письмо сопровождало рукопись того же Семенова «Отрезанный ломоть», в которой очень живо и ярко был изображен выслужившийся фельдфебель, вздумавший после многих лет службы вернуться в деревню, где он оказался совершенно чужим и отвыкшим от деревенского уклада жизни и работ, и должен был опять возвратиться на военную службу. Там он чувствовал себя более на месте, чем в родной деревне. Рассказ настолько ярко написан в бытовом отношении, что он и сейчас ясно встает у меня в памяти, несмотря на прошедшие с тех пор десятки лет.

Привычка давать редакции чужие рукописи стала у Л. Н. так обычна, что В. М., встречая его и усаживая в кресло в своем кабинете, с юмористической и добродушной улыбкой, никогда почти его не покидавшей, заметил однажды Л. Н., что он надеется, что на этот раз он даст что-нибудь свое. Но, увы! Следовало горькое разочарование: Л. Н. ходатайствовал о предоставлении какой-нибудь работы или занятий приехавшему из про-

винции пролетарию-журналисту, очутившемуся в совершенно незнакомой ему Москве в очень тяжелом положении, без гроша в кармане.

Как я уже упоминал, Л. Н. редко долго оставался в редакции, но иногда все же бывали исключения. Это бывало, когда ему случалось зайти к редактору в такое время, когда там был кто-нибудь из старых друзей — литераторов или общественных деятелей, бывавших проездом на короткое время в Москве и не забывавших, хоть на минутку, забежать в редакцию. Тут бывали: Г. И. Успенский, Н. А. Белоголовый, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, А. И. Чупров, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, П. И. Вейнберг, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович и многие другие ученые, литераторы, художники, общественные деятели — многолетние и испытанные сотрудники, неизменно помогавшие редакции своими статьями и знаниями в острые моменты жизни.

В такие дни кабинет редактора преображался в уютную, светлую комнату, где шла сердечная и оживленная беседа. Часто она продолжалась затем, по окончании редакционного времени, на квартире В. М. за обедом, а иногда заканчивалась даже в «Праге» или «Эрмитаже». Последнее, впрочем, бывало в исключительных случаях: в юбилейные дни редакции или в дни чествования кого-либо из старых сотрудников. Если Л. Н. удавалось застать в редакторском кабинете кого-либо из его старых друзей, а иногда и нескольких вместе, он, после сердечных приветствий присутствующих, усаживался в кресло, и, немного помолчав, как бы улавливая мысль и настроение собравшихся, вступал в общую беседу, всегда живую, но и серьезную, затрагивавшую какую-нибудь из последних злоб дня. Порой, впрочем, кто-нибудь из гостей не выдерживал строгого тона, рассказывал какой-нибудь комический эпизод, и кабинет оглашался искренним смехом, а затем опять все стихало и деловой разговор продолжался, как раньше. Л. Н. во время таких бесед преображался: строгие черты лица его сглаживались, его характерные брови точно делались меньше и не придавали уже ему прежней серьезности, на лице появлялась улыбка, глаза оживлялись и весь он как-то подбадривался, как бы молодел, так живительно действовала на него встреча со старыми друзьями. Возможность откровенно и задушевно поговорить на животрепещущие и волнующие всех темы с своими единомышленниками, а также поделиться и своими впечатлениями, радость встречи отражалась во всей фигуре Л. Н., несмотря на его годы, всем интересовавшегося и сохранившего всю живость и гибкость мысли. В таких случаях Л. Н. поддавался общему настроению и, случалось, засиживался дольше обыкновенного и, вспомнив, что время, уделенное им на посещение редакции, давно прошло, он начинал торопиться, сердечно прощался и уходил. Быстро спустившись с лестницы, он проворно надевал пальто, и, поблагодарив швейцара, направлялся в Хамовнический переулок.

Сотрудничество Л. Н. в «Русских Ведомостях»

Первые статьи Льва Николаевича появились на страницах «Русских Ведомостей» в конце 80-х годов, и затем сотрудничество его с перерывами продолжалось до последних лет его жизни. От отзывался почти на все

крупные явления общественной жизни. Его веское слово будило мысль, ярко освещало событие, вызывало споры, так как он смело затрагивал самые живые темы, самые слабые места нашего управления. Отречение его от авторских прав в 1891 году, статья «Праздник просвещения», трактовавшая вопрос о праздновании Татьянина дня (12 янв. 1889 г.), его фельетон в голодный 1891-й год «Страшный вопрос» о том, хватит ли у нас хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая, находя живой и сочувственный отклик в массе публики, вызывали бурю в правой печати.

Последний фельетон, написанный в Данковском уезде, где Л. Н. воочию убедился в размерах бедствия, также как и отчеты о «сиротском призрении», обратили на себя особое внимание и печати, и общества, и администрации. В результате «Русские Ведомости» получили второе предостережение, мотивированное «предосудительным поведением издания». Однако дело было сделано: с 5-го ноября 1891 г. по 18-е апреля 1893 г. для помощи голодающим Л. Н. было получено свыше 110 000 рублей, на которые было открыто до 350 столовых в Рязанской и Тульской губерниях.

В 1897 и 98 гг. неурожаем повторился, и Л. Н. снова вернулся к помощи пострадавшим от неурожая и в петербургской газете «Русь» («Русские Ведомости» были в это время приостановлены на 2 месяца) появилась его статья «Голод или не голод?». Газета тотчас же понесла должную кару, а остальным периодическим изданиям было срочно разослано распоряжение «не перепечатывать ни в целом, ни в извлечениях эту статью».

Острые моменты жизни, как война, голод, введение военных судов за политические преступления, студенческие волнения и т. п. очень оживляли сношения Л. Н. с газетой, а сыпавшиеся в такое время на газету, как из рога изобилия, кары, притом почти всегда в высшем размере, допустимом усиленной или чрезвычайной охраной, огорчали Л. Н. не меньше, чем редакцию и ее сотрудников, причем особенно близко он принимал это к сердцу, когда штрафы или предостережения вызывались данной им статьей или письмом, как это было, например, при помещении в выдержках всем памятного письма «Не могу молчать» или характерных для Л. Н. отчетов о помощи голодающим, где меткими штрихами знаменитый писатель набрасывал яркие, выхваченные прямо из жизни картины переживаемых населением страданий. Эти отчеты постоянно вызывали усиленный приток пожертвований, но, вместе с тем, еще больше после их помещения обострялись отношения у редакции газеты с администрацией.

Свои рукописи, как я уже упоминал, Л. Н. давал не часто, но когда они поступали в редакцию, то к ним, начиная от редактора и до наборщика, все относились с особым вниманием. После набора, исправки и просмотра в гранках кем-либо из сотрудников, оттиски посылались автору, который обыкновенно испещрял их поправками, сделанными его характерным почерком. Он тщательно читал и корректировал все: была ли это большая статья, письмо или краткий отчет о концерте или вечере в пользу голодающих. Иногда Л. Н. правил две или три корректуры. Попавшие случайно в номер опечатки или ошибки вызывали его неудоволь-

стве, но это бывало редко, так как корректура его статей была в редакции очень тщательна.

Л. Н., печать и общество в голодные годы

Интересы вообще нуждающихся, а особенно крестьян в годы неурожая, были всегда близки редакции. Еще большее участие к последним проявлял близко их знавший Л. Н. В годы народных бедствий отношения его к редакции как-то само собой становились еще ближе, интимнее. Он заходил к редактору, делился своими впечатлениями, высказывал свои предположения относительно организации помощи бедствующему меньшему брату. В. М. Соболевский охотно поддерживал все мероприятия, клонившиеся к облегчению тяжелого положения голодающих и особенно беспомощной деревенской детворы. Общность интересов в данном случае еще больше сближала постоянного ходатая за крестьянина Л. Н. и редактора «Р. В.» — Соболевского, отзывчивое сердце которого всегда было чутко ко всякой нужде, был ли то студент, писатель, рабочий, крестьянин, причем последнему, вследствие его темноты и полнейшей беспомощности при всяком несчастье, уделялось сугубое внимание. Дело, конечно, было не в одной мягкости, деликатности и готовности помочь, но в твердом и неуклонном служении народу и государству. Поэтому, помимо глубокого уважения, которое покойный В. М. питал к Л. Н., здесь играло роль полное тождество в осуществлении самых заветных идей, которыми жили и тот, и другой.

Л. Н. ехал на голод, на месте убеждался в размерах бедствия, открывал столовые, питательные пункты, снабжал раздетых одеждой, топливом, семенами на посев и давал отчеты в газеты о своей работе. «Русск. Вед.» и некоторые другие газеты и журналы, шаг за шагом следя за работой Л. Н., подробно сообщали о ней, открывали сбор пожертвований, которые, благодаря популярности организатора помощи и из желания помочь бедствующей деревне, текли рекой и, чем больше корреспонденции с мест обрисовывали действительно бывавшее ужасным положение голодающих, тем щедрее была рука жертвователей. Л. Н., редакции и лучшая часть русского общества сливались в одно целое и помощь получалась колоссальная и действительная, так как все жертвуемое быстро и верно доходило до бедствующего населения и шло на удовлетворение самых вопиющих нужд.

Кары на «Русские Ведомости» и печать за статьи Л. Н. Толстого и о нем

Не только во время голода, но и во все моменты общественного пробуждения происходило объединение всех на общности интересов. Так было после смерти Александра III при воцарении Николая II, во время Русско-Японской войны 1904–05 гг., при организации партий перед выборами в Государственную Думу, во время вооруженного восстания в декабре 1905 года, весной 1906 г. перед октябрем, 1-ой Государственной Думы и во время ее непродолжительного существования и т. п.

Если такие моменты поднимали общество, объединяли и выявляли все живое и лучшее в нем, воскрешали поблекшие в годы безвременья и ре-

акции идеалы и надежды на возможность лучшего будущего, здоровой государственной жизни, то в еще большей степени усиливался нажим сверху, начиналось настоящее бесновение так называемой правой печати, во главе с «Московскими Ведомостями» и «Гражданином», охранки, Союза русского народа и всяких мастей черносотенцев. Все это, под непосредственным покровительством свыше, обрушивалось на головы виновников общественного пробуждения, а вместе с тем и на всю прогрессивную печать, упорно не сдававшуюся и, несмотря на все запреты и циркуляры, в самых невозможных условиях, как капля долбила камень и всеми доступными ей средствами укрепляла в обществе идею правового государства и конституционного строя, будила веру в малодушных и сблизжала разрозненные элементы сочувствующих. Борьба была жестокая и неравная. Там была грубая сила и невежество, здесь — служение идее и сила моральная. Сила убеждения, стремление к правде и справедливости делали все же свое дело и у врагов выпадало из рук казавшееся великолепно отточенным оружие. Чем больше была смута, по выражению местной власти, тем последняя становилась изобретательней в изыскании новых и новых скорпионов для удушения ускользящей у нее из рук печати. К прежним циркулярам цензуры и петербургской, и местной, запретам министра внутренних дел, генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников прибавились с 1906 г. штрафы, настолько значительные, что, казалось, прогрессивная печать должна исчезнуть. Действительно, слабо поставленные в материальном отношении издания, особенно вновь нарождавшиеся, гибли иногда на первом году существования, но старые, уже окрепшие и поддерживаемые обществом, продолжали свое дело.

Параллельно с печатью шло гонение и на лиц, своею деятельностью и статьями причинявших большое беспокойство власть имущим, так как за ними шло студенчество, почти вся интеллигенция и сознательная и более развитая часть прочего населения. И открытые выступления в печати с письмами и статьями, резко и метко бившими в самые чувствительные места административного аппарата, не давали спокойно спать вершителям судеб России. Я уже не говорю о таких статьях, как «Не могу молчать» Л. Н. Толстого и передовые статьи или статьи под заглавиями в «Русских Ведомостях», которые правую печать приводили в совершенное неистовство и ее органы не находили слов, чтобы излить всю накопившуюся желчь на головы виновных в сеянии смуты в умы мирного населения, столетиями покорно сползшего гнет сверху.

Доносы, измышление новых кар и порою прямо ругательства не сходили со столбцов их газет, а с 1906 г. даже анонимные угрозы смертью сотрудникам прогрессивных газет. Одновременно начинал усиленно работать и административный аппарат. Кары, в виде закрытия, приостановок с подчинением карательной цензуре, длившейся годами, конфискации, запрещения печатать объявления, розничной продажи и позднее — огромные денежные штрафы, все это сыпалось, как из рога изобилия, на многострадальную прогрессивную печать.

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что редкая статья, письмо или даже отчет о пожертвованиях, принадлежавшие перу Льва Николаевича,

не вызывала тотчас же соответствующего воздействия на газету со стороны власти. Л. Н. это очень беспокоило и, я помню, как он сокрушался, когда в 1898 году за сбор пожертвований в пользу духоборов и сообщение об этом в «Р. В.» им было объявлено 3-е предостережение с приостановкой выхода на 2 месяца и с последующим подчинением карательной цензуре, длившейся три года¹; штраф в 3 000 рублей за помещение в выдержках в №154 в 1908 году его письма «Не могу молчать» по поводу вынесенного 12-ти крестьянам смертного приговора; конфискация №293 и привлечение «Р. В.» к суду за статью Белоконовского «Гр. Л. Н. Толстой и крестьянин Бондарев», напечатанную в 1910 г. Во втором случае была применена система денежного штрафа, как наиболее чувствительная газете кара, введенная после вооруженного восстания 1905 г. Позднее все чаще и чаще, кроме этих кар, стали привлекать еще к суду. Правда, эти дела почти всегда кончались оправданием, но, однако, и эту последнюю меру пресечения преступления уже незадолго до смерти пришлось испытать покойному В. М. Соболевскому: по приговору Московской судебной палаты он отбыл однодневное заключение в московской губернской тюрьме 19-го июня 1912 г. за напечатание еще в 1909 году незначительного сообщения без разрешения цензуры.

Кары, о которых я говорил, это, так сказать, открытые меры воздействия, о которых объявлялось в письменной форме и печаталось в газетах, но был еще целый арсенал скрытых мер воздействия для предупреждения появления в печати нежелательных сведений. Здесь охраняли государственную безопасность все, начиная с министра внутренних дел до градоначальника и председателей цензурных комитетов на местах включительно. Обычно эти распоряжения сообщались устно, для чего редакторы во всякое время, даже ночью, вызывались к председателю цензурного комитета, который конфиденциально и сообщал им новые циркуляры. Позднее, когда их стало очень много и ночью не успевали разослать, то стали просто передавать их по телефону выпускающему номер для немедленного исполнения.

Эти секретные распоряжения сопровождали, а иногда даже предупреждали почти все статьи покойного Л. Н., касались ли они крупных общественных явлений или его личной жизни, причем некоторые цензоры до того усердствовали, что предписывали вообще не упоминать в газетах имени Л. Н.

Из числа распоряжений по делам печати, неизвестных широкой публике и только иногда о них догадывавшейся по временному отсутствию в газетах статей о Л. Н., я приведу некоторые²: прекратить всякую полемику по поводу «Крейцеровой сонаты» гр. Л. Н. Толстого; не перепечатывать из «Daily Telegraph» и №22 «Московских Ведомостей» письма гр. Л. Н. Толстого³; не перепечатывать, полностью или в извлечениях, из иностранных газет никаких сведений о гр. Л. Н. Толстом, его сочинениях и частной жизни; не помещать статей и известий о предстоящем юбилее гр. Л. Н. Толстого, 1898 г.

Особенно богата была циркулярная литература в 90-х годах: так, предписывалось в общей форме «прекратить полемику о Толстом» или «не

писать о его жизни и сочинениях»; не обсуждать определения Св. Синода об отлучении Л. Н. от церкви; не перепечатывать ответ Л. Н. Синоду; не сообщать о переезде Л. Н. на юг и о приветствиях со стороны его читателей; не перепечатывать известия об отъезде в Крым. В январе 1902 года последовал циркуляр, который, ввиду его характерности, привожу целиком:

В виду возможности в ближайшем времени кончины Л. Н. Толстого, и, не встречая препятствий к помещению тогда статей, посвященных его жизнеописанию и литературной деятельности, министр внутренних дел признал необходимым, чтобы распоряжение [поминается старый циркуляр об отлучении от церкви] оставалось в силе и чтобы во всех известиях и статьях о гр. Л. Н. Толстом была соблюдаема необходимая объективность и осторожность.

В мае 1898 г. запрещено писать о предстоящем юбилее (70 лет Л. Н.). Когда подошел юбилей (август того же года), печать как бы забыла о всех запретах и юбилею в день его рождения было посвящено много теплых и сильных статей почти во всех газетах и журналах. Последовали новые гонения и преследования, посыпались штрафы.

Такие же строгости проявлялись и по отношению выходивших сочинений Л. Н. Даже после 1905 г., когда была объявлена свобода печати, его сочинения задерживались до выхода в свет, уже вышедшие из типографии не допускались к продаже, а иногда и уничтожались. Не менее строго каралась печать и за статьи о Л. Н.

Это постоянное и жестокое гонение на печать и приносимые ею жертвы за его статьи тяжело отражались в чуткой душе писателя, но он не мог, конечно, оставлять без внимания и проходить мимо таких мероприятий правительства и приемов администрации, которые приносили порой непоправимый вред уже не одной, немногочисленной сравнительно «свинцовой армии», а всему населению и государству в целом. Он много терпел и стойко сносил все издевательства власти, когда это касалось его лично, но не выносил, когда из-за него страдали другие, подвергались высылкам, заключению, штрафам и т. п., и возмущался до глубины души во время разгула реакции, когда введенный в мирное время военный суд, применявшийся сначала к отдельным лицам, стал захватывать целые группы и, с санкции местной высшей власти, в 1908 г. был вынесен смертный приговор сразу 12-ти крестьянам, — он написал всем памятное письмо «Не могу молчать», обошедшее всю русскую и значительную часть иностранной печати. Никакие кары не могли заставить прогрессивную печать забыть Л. Н. или прекратить печатание статей и заметок о нем. То одна, то другая газета, даже при карательной цензуре, когда каждое такое сообщение грозило ей смертью, все-таки нарушала распоряжения цензуры и администрации и доводила до сведения читателя какой-нибудь интересный факт из жизни и деятельности великого писателя. Мало того, цензурные взыскания, о которых печаталось в газетах, достигали совершенно обратных результатов и вместо унижения и наказания караемых, способствовали еще большей популярности газеты и автора, и иногда, именно благодаря каре, запретные статьи читались и перечитывались

даже теми, кто не обратил бы на них особого внимания, не будь они отмечены цензурным штампом.

Болезнь Л. Н. в Москве в 1901 году

Однажды В. М. Соболевский, будучи в концерте или в театре, в антракте случайно услышал разговоры о новой болезни Л. Н. и так близко принял это к сердцу, что, не досидев до конца, приехал в 11-м часу в редакцию и решил сейчас же узнать подробности о Л. Н. Он обратился ко мне с просьбой оставить его одного для работы по выпуску очередного номера «Р. В.» и съездить в Хамовнический пер., узнать о состоянии здоровья Л. Н. и дать об этом заметку в готовящийся к выходу номер. Я охотно взялся за исполнение поручения. Едва я позвонил и вошел в переднюю, как был встречен Софьей Андреевной, которая, очевидно, оберегая покой больного, находилась где-то поблизости и сейчас же выходила при каждом звонке. Она очень любезно усадила меня в соседней комнате и сообщила все нужные мне сведения. На другой день москвичи, а на следующий и провинциальные читатели газеты, вместо смутных слухов, имели точные и довольно подробные сведения о недуге, постигшем чтимого всеми писателя. После этого первого визита я уже, не спрашивая редактора, ежедневно, то днем, то вечером навещался в особняк в Хамовниках и из первоисточника получал точные сведения о ходе болезни. Сообщения эти превратились в ежедневный бюллетень, прекратившийся лишь с выздоровлением больного. К Л. Н. во время своих визитов я не пытался проникнуть, так как я знал, что такие посещения в необычное время и заботы о нем всегда его волновали и могли неблагоприятно отразиться на ходе болезни. Он, как будто, бывал даже недоволен, что ему уделяется столько внимания и он своей болезнью причиняет беспокойство. Между тем, газетному работнику проехаться в Хамовнический пер., получить всегда с готовностью сообщаемые ему сведения, которыми, несомненно, интересовалась вся мыслящая Россия, доставляло нравственное удовлетворение, сознание добросовестно исполненного долга по отношению к чтимому всеми писателю и другу-читателю.

Уход, последняя болезнь и кончина Л. Н.

В конце октября 1910-го года по Москве разнеслись слухи о том, что Л. Н. покинул Ясную Поляну, что он ушел пешком, ничего не взяв с собою, и направился к своей сестре Марии Николаевне, жившей в Шамордине, близ Оптиной пустыни в Калужской губернии. Когда редакцией были наведены справки, слухи эти подтвердились. Л. Н., действительно, ушел из своего родного гнезда, где он провел большую часть жизни и лучшие годы ее и где им была написана «Анна Каренина» и многие другие вещи.

Чем был вызван этот уход — представлялось неясным и делались всевозможные предположения и догадки. Правда, было многим известно, что Л. Н. в последнее время тяготился своим образом жизни, барской обстановкой, обилием прислуги и т. п. Но, несомненно, что не только это, но что-то более серьезное, какой-то резкий перелом произошел в его душе,

вызвавший такой решительный шаг и заставивший его на склоне лет пуститься в дальний путь в поисках чего-то нового. Вопрос так и остался тогда неразрешенным. Далее появились сведения, что Л. Н. в пути простудился, заболел и, доехав до станции Астапово Ряз.-Уральской ж. д., должен был остановиться. Начальник станции, узнав о болезни Л. Н., любезно предложил ему комнату в своей квартире, которой было суждено стать последним приютом славного старца-писателя. Вскоре в Астапово прибыли родные, врачи, корреспонденты столичных, а затем и крупных провинциальных газет, а также и некоторых иностранных. «Русскими Ведомостями» также был командирован один из старых газетных работников, ныне покойный Н. Е. Эфрос, который стал ежедневно, а потом несколько раз в день телеграфировать о ходе болезни и о всем, заслуживающем внимания с общественной точки зрения, что происходило в доме начальника станции. Позднее для корреспондентов было отведено отдельное помещение и образовалось настоящее бюро печати. Болезнь затянулась и протекала в тяжелой форме. Жадно читались в газетах ежедневно печатавшиеся телеграммы и бюллетени. Больному между тем становилось хуже и съехавшиеся врачи на консилиуме должны были признать, что едва ли больной в его преклонном возрасте будет в силах справиться с болезнью, тем более, что начало сдавать сердце, несмотря на применение всевозможных средств для его возбуждения. Весь мир знал уже о тяжелом состоянии любимого писателя. Телеграммы день ото дня становились тревожнее, и каждый час можно было ждать рокового конца. Сильный организм Л. Н. однако долго боролся со смертью и только слабевшее сердце указывало, что больному уже не справиться. В 6 ч. 5 м. утра 7-го ноября Л. Н. скончался, окруженный родными, врачами и знакомыми.

Пишущему эти строки с Н. М. Иорданским пришлось дежурить ночи по выпуску номеров «Русских Ведомостей» в последние дни жизни и в ночь кончины Льва Николаевича. Дежурства длились дольше обычного: последний из нас уходил домой уже в шестом часу утра. Тревожные телеграммы из Астапова приходили каждый час и то давали некоторую надежду, то сообщали о новом упадке деятельности сердца. Все читатели интересовались последними телеграммами и приходилось постоянно отрываться от работы, чтобы удовлетворить спрашивавшихся; многие заходили лично, иногда даже ночью. В виду интереса, который все проявляли к дорогому всем умирающему писателю, я стал собирать оригиналы всех телеграмм из Астапова, которые, по приведении их в хронологический порядок, редакция передала после кончины Л. Н. в возникавший музей его имени. В ночь кончины Л. Н. мы закончили дежурство около шести часов утра и ушли домой. Я жил тут же в доме редакции, а мой товарищ по дежурству, Н. М. Иорданский — в соседнем доме. Было 7 ч. утра, я собирался лечь, как раздался звонок. Дежурный мальчик принес краткую телеграмму, извещавшую о кончине Л. Н. Я пошел сейчас же в редакцию и послал известить Н. М. Мы остановили отливку нужной нам полосы и начатое уже печатание номера, вынув из него последний бюллетень и передовую статью, заменили их последней телеграммой в траурной рамке и заготовленной в последние дни, когда уже не оставалось надежды на

благополучный исход болезни, передовой, посвященной памяти только что скончавшегося великого мыслителя и нашего славного сотрудника⁴. Посмотрев полосу с внесенными в нее изменениями, сдали ее в стереотипную и велели печатать памятный номер 8-го ноября. Номер несколько опоздал в провинцию, и то немного, а московские читатели узнали скорбную весть утром, почти в обычное время получив газету. Помещение этой телеграммы и передовой в утреннем выпуске газеты нам долго не могли простить другие московские газеты, считавшие себя более осведомленными, чем «Русские Ведомости». В 8 часов утра мы, дежурившие, были дома и могли после многих бессонных ночей спокойно заснуть с сознанием добросовестно выполненного долга газетного работника по отношению к десяткам тысяч наших читателей.

Экстренное собрание в Литературно-Художественном Кружке

К 11 ч. утра 8-го ноября почти вся читающая Москва уже знала о кончине Л. Н., а в 12 ч. дня в помещении Литературно-Художественного кружка, в особняке на Дмитровке, было назначено экстренное собрание представителей общественных организаций для обсуждения вопроса о похоронах и увековечении памяти Л. Н.

Мы с Н. М. Иорданским, назначенные редакцией делегатами на похороны, несколько опоздали и когда вошли, обширная гостиная во втором этаже дома Вострякова была полна. Кроме членов Л.-Х. кружка там были некоторые из членов Государственной Думы, представители города, земства и различных московских учреждений и организаций.

Среди собравшихся шла оживленная беседа, входивших представителей печати закидывали вопросами, желая узнать подробности, о которых не успели еще осведомить вышедшие газеты и прибавления. Быстро была намечена программа собрания: участие в похоронах, выборы делегатов, венки, формирование специального делегатского поезда, вечер, посвященный памяти Л. Н., и способы увековечения его памяти. Ввиду многочисленности желающих принять участие в похоронах, решено было выбрать только по два делегата в депутацию от каждой группы или учреждения и всем с венками собраться на вокзале. Явились желающие взять на себя хлопоты о поезде и о венках, об организации похорон, предполагавшихся на 10-е ноября, а представители печати обещали своевременно оповещать о всем, касающемся похорон. Тут же была избрана комиссия для устройства первого вечера, посвященного памяти Л. Н., в которую вошли Б. И. Салтыков, г-жа Курчъ и я.

В 11-м часу вечера мы приехали на Курский вокзал, который уже был полон народа. Было много студентов, курсисток, участников депутатий, рабочих и другой публики. Стоял шум, шли толки о том, когда пойдут поезда, пойдут ли оно во-время и поспеют ли ко времени похорон в Козлову-Засеку. Многие волновались, ввиду того, что пошли слухи, что, хотя управление дороги и заготовило несколько составов поездов, причем один даже из вагонов 1-го класса с более дешевой платой, администрация, с которой ведутся переговоры, опасаясь слишком большого наплыва публики в Засеку и Ясной Поляне во время похорон, еще не дала разре-

шения на отправку всех сформированных поездов. Определенно выяснилось лишь, что разрешено пустить делегатский поезд и с ним же отправить доставленные в большом количестве венки. Скоро депутатам выдали билеты и около 12 ч. ночи наш поезд благополучно отошел, переполненный представителями московских учреждений. В пути мы узнали, что разрешения на остальные поезда еще не последовало, а когда прибыли в Козлову-Засеку, стало известно, что все они задержаны и ни один больше не придет.

Было еще темно, валил хлопьями снег, станционные фонари слабо освещали толпу приехавших и собравшихся на платформе и не знавших куда идти и что делать. Скоро однако появились распорядители и дело упорядочилось. Узнали, что траурный поезд из Астапова придет утром, и все успокоились, выгрузили и разобрали венки, а состав поезда перевели на запасный путь. Нас скоро разыскал наш тульский корреспондент Рутзит и увел в снятую им на время болезни Л. Н. около станции комнату, где мы немного отдохнули, узнали кое-что о похоронах, а затем вместе с ним пошли на платформу, где повстречали многих знакомых, приехавших днем раньше, и некоторых, прибывших из Тулы на лошадях.

Светало. Снег перестал падать, а покрывавший платформу быстро таял, и к приходу поезда было почти сухо. Мужчины почти все были в черном, дамы тоже, у некоторых на рукавах траур. Шли негромкие разговоры о последних днях жизни и кончине писателя. Раздался звонок, извещавший о выходе траурного поезда с последней станции. Все стихло и взоры всех обратились в сторону, откуда ждали поезда.

Погода разгулялась. Часть публики перешла на маленькую платформу, за путями на противоположной стороне, так как поезд должен подойти туда, переправили и венки. Вот, наконец, в утренней тишине тулко раздался по лесу продолжительный свисток паровоза. Многие сняли шляпы. Скоро поезд с траурным вагоном, почти следом за паровозом, тихо подошел к маленькой платформе и из вагона раньше всех вышли несколько жандармов, очевидно, сопровождавших его до Засеки.

Затем показались родные и приехавшие с тем же поездом близкие и знакомые. Толпа сгрудилась, открыли вагон. Пока шли приготовления к выносу гроба с телом Л. Н., из учащих, успевших раньше пробраться в Засеку, организовался большой хор. Когда гроб был вынесен, произошла заминка с венками. Их не разрешали нести депутатам впереди гроба, а предложили сложить на подводы. Скоро все уладилось, и процессия длинной вереницей стала спускаться в долину, а затем подниматься в гору. Картина похорон, несмотря на принятые властями меры для уменьшения их значения, получилась грандиозная и торжественная. Было тихо, разговоры смолкли, в утренней тишине громко и торжественно звучали молодые голоса могучего хора, провожавшего чтимого всеми писателя в его последнем пути. Это была прощальная песнь тому, кому интересы молодежи были всегда так близки при жизни, и вождю, к голосу которого в тяжелые моменты жизни так чутко прислушивалась вся мыслящая Россия.

Величественная и мирная картина похорон была однако омрачена тою же попечительной властью, по распоряжению которой по всему пути от Засеки до Ясной Поляны были расставлены вооруженные стражники и урядники из опасения каких-то инцидентов и беспорядков во время похорон. Даже в такой момент, когда Л. Н. бездыханный, в гробу, прибыл в свое родное гнездо, тульский губернатор не мог отнестись к покойному по-человечески.

В парке Ясной Поляны ко времени прибытия процессии уже была приготовлена могила, в которую после последнего прощанья был опущен гроб. Возложенные венки совершенно скрыли свежий холм. Провожавшие долго не расходились, а некоторые из близких зашли с могилы в осиротевший дом, где все так живо напоминало об ушедшем навеки его великом владельце.

Глубокое незабываемое впечатление произвели эти похороны на всех, кому посчастливилось на них присутствовать.

И только власть, преследовавшая всю жизнь покойного великого старца, осталась верна себе до конца, и после смерти, в лице своих представителей, добросовестно проводила его до самой могилы и лишь тогда, когда по крышке гроба застучала застывшая земля, она успокоилась, будучи уверена, что больше уже не услышит его обличающего голоса.

Так страшна была власть имущим сила Толстовского слова!

Романов Владимир Викторович (1867-?) — сотрудник «Русских ведомостей», либерально-демократической московской ежедневной газеты. Выходила с 1863 по март 1918 г. В 1880-е годы редактор-издатель В. М. Соболевский (1846-1913) значительно расширил состав авторов за счет демократических писателей и эмигрантов-народников. Воспоминания В. В. Романова написаны в 1923 г. (упоминается С. Т. Семенов, «трагически погибший в прошлом году от руки его же однодеревенцев» — это случилось в 1922 г.).

¹Надо заметить, что 1-е предостережение было объявлено в 1878 году, а 2-е — в 1891 году.

²Подробные сведения напечатаны в ст. В. А. Розенберга «Л. Н. Толстой и «Русские Ведомости», помещенной в юбилейном сборнике «Русск. Вед.» 1913 г.

³Событие относится к 1892 г. 14/26 января газета «Daily Telegraph» поместила в переводе Э. Диллона отрывки из статьи Толстого «О голоде» (запрещенной в России) под заглавием «Почему голодают русские крестьяне?» Консервативные «Московские ведомости» 22 января напечатали выдержки, в обратном переводе с английского, с таким редакционным примечанием: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

⁴Быть может, читателю покажется странным, что редакцией заранее была заготовлена статья на смерть своего же сотрудника. Но пусть он не удивляется. Дело в том, что настоящий газетный работник ставит выше всего интересы газеты и ее читателей, а все остальное, даже личные интересы, отходит на второй план. Поэтому, глубоко скорбя о кончине своего славного сотрудника, она, не сообщив во-время об этом крупном событии, считала бы себя не выполнившей своего долга служителя печати перед покойным и перед своими читателями.

22. В. Ф. ЛЕБЕДЕВ У Л. Н. Толстого (Воспоминания)

1895 год.

Большой шум вокруг новой книги Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас».

Восторги толстовцев, споры и возмущение противников.

Мне и моим товарищам по Московскому университету — студентам историко-филологического факультета с большим трудом удалось достать эту книгу в заграничном издании. — если не ошибаюсь, в берлинском. В России книга была запрещена.

Записалась большая очередь. Моей группе дали на две ночи. Вечером приносили, утром отбирали.

Книга глубоко волновала.

Мы жадно глотали страницы, где ярко были развернуты противоречия русской жизни, возмутительные преступления царской политики. Искренность автора, простота изложения, могучее обаяние своеобразной логики, перечень самых фактов печальной действительности неослабно держали внимание, но основное ядро взрывало книгу, убивал предлагаемый автором выход из положения — непротivление злу насилем.

Как известно, в эти годы неистовствовала охранка, выхватывая развитых передовых студентов, активных сажая в тюрьмы, высылая.

Был поход на «землячества», в которых создавались оппозиционные кружки.

Провокаторы облепили студенчество, как пауки, заманивая в свои сети. В студенческих районах — в Бронных улицах — в знаменитых Гиршах и Чебышах¹, разбитых на бесчисленные клетушки в маленьких квартирах для бедного студенческого люда, в одной из келий непременно сидел паучок из III-го отделения, расправляя свои щупальца по коридору и вылавливая свои жертвы. Организованный в домах штат дворников был поставлен на строго полицейскую службу и помогал жандармскому корпусу, шныряя из квартиры в квартиру. В самом университете, идя на лекцию любимого профессора, вы должны быть нечеку: в проходах, на лестницах, на самых партах теснились специальные кучки, бесцеремонно втискиваясь в самую гущу, схватывали летучие слова, лихорадочно записывая в записные книжки и заглядывая в физиономии. Выходя с лекций, вы наталкивались около вешалок в темном углу на застывшую фигуру педея, который выходил из засады перед самым вашим носом и бежал донести о беседах, а швейцар у двери провожал вас победоносной улыбкой: «Попались дескать с полничным». Студент был оцеплен колючей проволокой, в которой задыхался, втягивался с первых же шагов в политическую борьбу, готовый каждую минуту огрызнуться, броситься в бой.

Понятно, что непротивление казалось диким, невысказанным средством в такой атмосфере.

Мы с удивлением читали:

«Христианин ни против кого не употребляет насилия; напротив, сам беспрекословно переносит насилие, но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти»².

Мы невольно прерывали чтение, вопросительно смотрели друг на друга: хотелось крикнуть: «Неправда», и в ту же минуту опускались крылья. Страшила мысль: «против кого ты поднимаешь руку? Великий мировой любимый писатель, перед кем ты благоговел всю жизнь!» Рождалась несбыточная мечта: услышать на свой протест возражение из уст самого автора, говорить, говорить с ним.

Неожиданно представился случай. На нашем втором курсе читал психологию профессор Грот Николай Яковлевич, сын известного ученого Якова Грота, прославившегося книгой «Русское правописание» с анекдотическим требованием по всем правилам лингвистики слово «ветчина» писать — «вядчина».

Молодой наш профессор был общительный, приветливый, создавший с аудиторией простоту отношений.

Я рассказал ему о своем мучительном раздвоении от книги Толстого, о своем недоумении, как мог великий писатель построить такую отвлеченную теорию, практически невозможную.

И вдруг услышал:

— Хотите, устрою вам свидание с Толстым? Я хорошо с ним знаком.

— Буду счастлив.

Мне не верилось, что это так просто. Но на следующей лекции Грот объявил: «Завтра в 5 часов Толстой примет вас у себя в Хамовниках».

От радости занялся дух, но с этой же минуты тревога как бы остановила мою обыденную жизнь.

Предстоящая встреча заполонила все. Я избегал товарищей, замыкаясь в себе, ходил по Хамовникам, с волнением смотрел на мрачный дом. Как я переступлю порог этого замка?!

На мой звонок дверь открыл высокий, представительный, бритый человек во фраке с крахмальной грудью — очевидно, лакей, державшийся с достоинством.

— Лев Николаевич назначил мне прийти в этот час.

— Ваша фамилия?

(Называю).

— Пожалуйста. Граф вас ждет.

От слова «ждет» екнуло сердце. И слово «граф» прозвучало внушительно.

В голове поднялся вихрь. С этой минуты вступаю в сказку. Меня начинает бить лихорадка. Сознание, как в тумане.

Отрезвляясь, вижу в передней на подзеркальнике экземпляр нового рассказа Толстого: «Хозяин и работник». За дверью справа шум, голоса, детский смех. Мне кажется, что это говорят небожители. Музыка их

речи льется, как будто я в Кельнском соборе. Все меня подымает в высь. Я не на земле.

Пробуждает меня голос проводника:

— Сюда пожалуйста.

Он указывает на левую дверь, и ведет меня — тут начинается фантастическое — ведет через спальни, семейные комнаты, — их много: мне кажется, что я иду долго, иду, как загнипнотизированный. Властно врывается сознание, стыдит, изгоняет лихорадку и назойливо твердит: «ты у Толстого, Толстого!.. Смотри: кругом толстовский быт!» Но вторая волна сознания стыдит любопытство, стыдит легкомыслие: «сейчас не до быта... сейчас ты увидишь самого... готовься...» И тащит меня от вещей... Я отворачиваю голову.

Как ни заманчиво, я миную все, не глядя.

Что-то красочное, восточное, полосатое метнулось на секунду мне в глаза — то ль занавеска, то ль одеяло... Нет... мимо, мимо. Я уже не иду, а бегу.

Спутник меня пробуждает:

— Вот здесь поднимитесь по лестнице в кабинет графа и там ложитесь.

Я в кабинет Толстого! Мог ли я ожидать такого чуда?! Небольшая комната. Простая обстановка. Обыкновенный письменный стол. Только все необходимое. Здесь работает великий человек. На этом столе пишутся строки, которые потрясают мир. Собираюсь о мыслями. Пытаюсь успокоиться.

Вдруг шаги... Скрипит лестница...

Бодрые шаги... Дыхание мое прерывается. Вошел... Среднего роста. Пожилой, но не старый. Энергичный в движениях. Густые брови. Устремленный взгляд. Блуза. Ремешок. Как на картине Репина.

И сразу происходит необычайное. Он идет быстро прямо на меня. Приближаясь, как мне кажется, он растет. Ближе, ближе. Сейчас мы должны столкнуться. Что же это значит? Надвинулся горой. Я не успел отскочить. Он подошел вплотную. Приблизил лицо к моему лицу. Чувствую его дыхание. Заглянул в упор в мои глаза и откачнулся. Я растерялся. Впоследствии мне объяснили. Секретарь Толстого Н. Н. Гусев: «Это от близорукости. А очков Лев Николаевич никогда не носил». Писатель Сергеевко П. А. (друг Л. Н.): «Такова была манера — взять отпечаток нового лица, снять, как фотографическим аппаратом, а объективом служили его глаза».

Глаза поразили. За всю жизнь не видел таких. Взгляд острый, как режущим скальпелем.

К. С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» пишет: «Разве можно передать на бумаге или холсте глаза Л. Н. Толстого, которые пронизывали душу и точно зондировали ее? Это были глаза то колючие, то мягкие, солнечные»³.

«Я чувствовал себя простреленным от его взгляда»⁴.

Мое физическое ощущение еще сильнее: две стрелы вонзились, ударили в сердце и обнажили сокровенное. Как будто я прошел через какое-то

чистилище. Мгновенно всколыхнулось впечатление детства, когда отец водил меня на исповедь, но тогда было томительно вытягивать из себя грехи, а сейчас было жутко-радостно. Толстой уже знает мои прегрешения, ему все известно. Захотелось самому раскрыть себя всего, ничего не утаивая. И на сердце стало легко.

Мы стояли друг против друга.

— Вы по какому делу? — спросил он, зорко вглядываясь.

(Преодолеваю волнение).

— Я прочитал «Царство Божие внутри вас»... и я хотел... мне хотелось...

(Мой голос осекся. Молчание).

— И что же?

— Я пришел сказать...

(В голове хаос. Я не могу сосредоточиться. Но мысль настойчиво сверлит: «Ты должен, должен... Сейчас или никогда, что бы там ни было»).

— Я пришел сказать...

(и вдруг выпаливаю решительно, твердо отчеканивая)

— Я пришел сказать, что я не согласен с вами!

Толстой громко расхохотался, закинув голову.

— Представьте (говорит сквозь смех). Вы не один. У вас есть единомышленники. Не только в России, но и за границей. Мне многие говорят и пишут о своем несогласии.

Смех меня обескуражил. Чувствую, что я испортил все, опрокинут в пропасть, из которой мне не выкарабкаться.

— Почему же не согласны?

Продолжая так же пристально вглядываться своими режущими глазами, Толстой сразу вернул деловой тон разговора.

Взгляд мягче, тон ласковой.

— Расскажите (он приготовился слушать).

Во мне снова натянулась струна. Со всей горячностью, спеша, сбиваясь, я перечисляю все, что приготовил, что накипело и что в сущности всем давно известно.

— Непротивление не естественно. Оно противно разуму, инстинкту. Когда нападут на меня, на моих близких, я брошусь защищать и защищаться. Брошусь, очертя голову, даже не соразмеряясь с силами. Это бессознательно. Закон самосохранения.

Мне было обидно, что он не хочет признавать таких простых вещей. Мне не верилось, что он отвергает это. И я все больше распалялся. Мне показалось, что в его глазах засветилась еще бóльшая мягкость, и это придало еще смелости, я уже наглед с каждой секундой.

— Мне кажется, Лев Николаевич, вы сами броситесь, не удержитесь.

Я уже не сдерживаемый, не допуская возражений.

— Броситесь, броситесь. Бывают минуты, когда никто не может удержаться и даже...

(Я совсем потерял голову. Мне захотелось усилить удар и кольнуть).

— Даже не имеет нравственного права уклоняться от борьбы.

(Я спохватился, не перешел ли границы, но смиряться не хотел и с разбегу готов был броситься в новую атаку).

Но что-то меня остановило...

Жесткий взгляд, сменивший мягкость. Твердые стрелы, колющие, немолчимые стали на пути, уходя в глубь. И как бы пригвождая меня, Лев Николаевич произнес:

— В вас сидит Михайловский.

Я опешил, не ожидал, что эта фамилия будет фигурировать в нашем разговоре.

— Да, я читал его.

— Вижу.

Молчание, долгое молчание.

А испытующие глаза так же упрямо стоят во мне. И тут совершается опять необычайное.

Толстой начинает говорить, но как?

Станным тоном. Меня поразил голос, сразу понизившийся, тихий настолько, что я иногда должен был напрягать слух. И весь он стал странный, новый, резко изменившийся.

Теперь он смотрит не на меня, а в сторону, говорит как бы про себя, в раздумьи, соображая, останавливаясь.

К сожалению, я не помню всей речи. Мешала слушать, вбирать в себя эта внезапная перемена. Помню основную линию, помню обрывки, из которых удалось некоторые записать, но разрозненно, — получились клочки.

Поразило начало.

— Обычно мне говорят: — тихо произносит Толстой — Придут индейцы, изнасилуют мою жену, дочерей...

И вдруг Толстой делает странное заключение:

— Но вот я живу 67-й год, и эти индейцы не приходят.

Я не знал, как понять эту странную мысль.

Когда я стал воспроизводить в памяти и записывать, меня мучило: может быть, я упустил связующие звенья и исказил мысль Толстого.

Нет, помню четко, как меня ударила эта фраза. Я обратился к Н. Н. Гусеву. К счастью, он подтвердил мою запись: «Да, именно в таких выражениях Толстой неоднократно высказывал эту мысль».

Возражая на мое нападение, повторяя мой прием, Толстой все так же, не повышая голоса, произносит с горечью:

— Итак, будем драться? Вы будете стараться убить меня, я — вас, тог третьего, четвертого... и так до бесконечности? Убивать, убивать, убивать...

Подождав и все не поворачивая ко мне головы, спрашивает:

— И вы думаете, это остановит, убедит? Кровь, кровь и кровь...

После новой паузы решительно, но все тем же раздумчивым тоном, загишая голос:

— Нет, это бессмысленно и преступно, преступно...

И еще более уходя вглубь себя, все более волнуясь, он еще более ображается: говорит не мне, а в пространство: глаза так же недвижно устремлены в одну точку.

Вдруг я замечаю, что его губы вздрагивают. Он охвачен сильным возбуждением. Так может говорить только одержимый. Я понял, что им движет вера, завладевшая всем его существом, как страсть. Его волнение передается мне. В этом хлынувшем потоке проносятся мысли, которые я не успеваю фиксировать, к сожалению — остаются одни обрывки, обрывки...

— Непротивление обезоружит нападающего. Первый, второй из подвергшихся нападению, может быть, будут убиты. Но если нападающий видит, что никто не только не мстит, но даже не защищается, не причиняет никакого вреда, — за что же убивать? Убийство отпадает само собой. Надо только скорее начинать непротивление, не дожидаться других, не откладывая ни минуты, сдвинуться с этой мертвой установившейся точки, как пчелиному рою взлететь с ветки вслед за первой поднимающейся пчелой, каждому надо почувствовать себя этой первой пчелой, поднимающейся самостоятельно, и мучительный вопрос решен, решен... и наступает освобождение.

Меня все более поражала эта затихающая по звуку речь. Когда человек воодушевлен, когда он в подъеме, — всегда естественно повышается голос... Здесь было обратное, голос был тише и тише и тем неотразимее создавалось впечатление. Так было насыщено, так горячо согрето каждое слово, идущее от сердца из этих вздрагивающих губ.

Изменившееся лицо во время этой речи напоминает своим выражением один своеобразный портрет, написанный Репиным — единственный из всей массы репинских работ: на фоне ветвей лицо, озаренное энтузиазмом — умиления, со взглядом ввысь, со слезящимися глазами⁵. Как охарактеризовать эту речь? Какая она? Мне трудно ее описать.

В первой половине нашей встречи речь Толстого была энергичная, твердая по тону, резкая по звуку, — теперь она звучала мягко, главное — певуче, лирически, но с громадной внутренней силой.

Во мне борьба. Логика непротивления я не мог принять. Христианское смирение возмущало.

Я не верил, что нападающий прекратит избиение и порабощение. Но отвергая всю эту теорию, я почувствовал глубокое сближение с Толстым, как с человеком. Передо мной стоял (он не посадил меня, и мы все время говорили, стоя) стоял творец «Войны и мира», «Анны Карениной» и раскрывал свой символ веры — кому? — неизвестному студенту-второкурснику, которого видит в первый раз. Так мог говорить только отец, отец не сокрушитель из Домостроя, а отец-друг, горячо любящий сына, которому он поверял, как равному, свои заветные мысли, свою тайну. Моя душа инстинктивно потянулась к нему. Мне захотелось броситься, обнять его, но в эту минуту я вспоминаю об индейцах, вспоминаю о христианском смирении, от которого пахнет церковным ладаном, и снова вскипаю негодованием. Как не приходят индейцы? А кто убил Пушкина и Лермонтова? А что такое вся николаевщина и теперешняя Россия, продажная, черносотенная, давящая крестьян и рабочих, возносящая молебствие о здравии государя императора и всего царского дома, как не индейцы? Вы сами ее клеймили и разоблачали!

Охваченный экстазом толстовской речи, я ничего этого не сказал. Я был пленен доверием, откровением, с которым он меня вводил в свое святое святых, но я промолчал и на призыв к непротивлению. Я стоял ошеломленный этой двойной борьбой, которая происходила во мне, и я отошел от одного лика Толстого, потянулся к другому, новому для меня. А в голове пронеслось «Десница и шуйца» Толстого — мысли из известной статьи Михайловского⁶.

В этом борении, в этой взволнованности я не слышу, что он говорит, не могу следить за цепью логики. Я потерял нить. Конец речи совсем выпал из памяти. Я не помню, в какой связи состоялся переход к моей характеристике.

Тихий, но страстный тон кончился. Как бы закрылась завеса, за которой совершалось таинство. Толстой вернулся из горнего мира на землю. Теперь он говорит обычным голосом. И я, успокоившись, отдаю себе отчет в том, что он говорит.

— Хорошо, что вы пришли ко мне, что вас волнуют эти вопросы, что вы спорите, отстаиваете свое.

Подождал и опять сверлящий взгляд, как бы прошупывает меня.

— Вы в оппозиции правительству?

— Да.

— Настроены революционно?

— Да.

— И на демонстрацию пойдете?

— Непременно.

Я отвечаю отрывисто, закусивши удила.

— Хорошо, что вы верите в свое дело, но я не хотел бы... — Толстой остановился и вдруг заговорил с тревогой: — но я не хотел бы в следующую нашу встречу увидеть вас другим.

— Каким? — удивился я.

— Вы на историко-филологическом факультете слушаете лекции Н. Я. Грота?

— Да.

— Значит, будете учителем. (Остановился. Переждал, думая). Кончите вы курс, поступите на место.

Выждав новую паузу, Толстой неожиданно начинает рисовать мое будущее. Печальным тоном, волнующим меня, протяжно, останавливаясь на каждой фразе, развертывает он грустную картину, от которой защемило сердце.

— Поступите на место, — повторил он. Выразительно подчеркивает:

— Женитесь.

Пауза.

— Пойдут дети.

Меняет интонацию. Осуждающим тоном:

— Улягутся у вас все вопросы, которыми горели. Ус-по-ко-и-тесь (иронически произнес он).

— И будет одна забота — не потерять место. Будете тянуть ляжку от 20-го до 20-го каждого месяца.

(Опять уставился пронизывающий взгляд, теперь особенно мучающий меня).

— Будете (с новым нажимом выделяя слова) ревностной службой поддерживать то самое правительство, которое в душе ненавидите. Вот вы сейчас бунтуете, собираетесь на демонстрацию, а тогда бунтарей-гимназистов будете сажать в карцер, исключать, выбрасывать вон.

На мое движение протеста он замахал рукой, не допуская возражений и повторяя с напором:

— Будете, будете. Будете чиновником благонравным, тихим чинушей.

И как бы заколачивая крышку гроба, протянул отходную, печально качая головой в такт каждому слову:

— И за-бу-де-те, что когда-то вы были у Толстого и спорили с ним!

У меня захолонула душа, с болью о невозвратно потерянном представилось моему воображению, как во мне гибнет все светлое, честное, о чем мечтал. Толстой бил меня по самому больному месту. В то время быть арестованным в России, сидеть в тюрьме, быть высланным — было долгом каждого честного человека, для молодежи — истинным подвигом.

Тогда это было своего рода общей повинностью, — вроде воинской, а карьера благополучного прозябания, предсказанная Толстым, была омерзительна, охватывала ужасом. В голове пронесся позорный стих из Некрасовской «Колыбельной» песни, каленым железом прожигая меня:

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь умом.

— Никогда! — закричал я вне себя, еле сдерживая слезы: — никогда этого не будет, дорогой Лев Николаевич!

— Буду рад, если не будет, — закончил Толстой, крепко пожимая мне на прощанье руку. И проникновенно-сердечно произнес, нагибаясь ко мне:

— Горите, как сейчас. Не угашайте духа — в этом смысл жизни.

Я ушел горячо благодарный, благоговейно восторженный, воспаленный, унося в душе эту своего рода «путевку в жизнь».

Я счастлив, что хотя на мгновенье прикоснулся к великому писателю. Пятьдесят лет отделяет тот момент от настоящего, но до сих пор слышу голос, интонацию, с какой были сказаны эти дорогие, жгучие слова, волнующие меня и сейчас.

Лебедев Владимир Федорович (1870–1952) — в 1895 г., когда он был у Толстого, студент Московского университета, впоследствии артист.

¹ Дома Гирша и Чебышева.

²Л. Н. Толстой, «Царство Божие внутри вас».

³«Моя жизнь в искусстве», 2-ое издание, 1933 г., С. 245.

⁴Там же, С. 246.

⁵Картина И. Е. Репина «Толстой на молитве»; написана в 1901 г. по эскизу, сделанному летом 1891 г. в Ясной Поляне. Хранится в Петербурге в Гос. Русском музее.

⁶Цикл статей Николая Константиновича Михайловского «Записки профана», с подзаголовком «Десница и шуйца Льва Толстого», появился в 1875 г. в журнале «Отечественные записки». По поводу опубликованной в сентябрьской книжке за 1874 год этого журнала статьи Толстого «О народном образовании», Михайловский стремился дать общую характеристику Толстого-мыслителя (опираясь и на педагогические статьи 1859–1863 гг.), противоречивости его взглядов. В старом русском языке «десница» — правая рука; «шуйца» — левая.

23. А. Л. ВОЛЫНСКИЙ

Ясная Поляна

(Из письма)

...Я постараюсь восстановить все сколько-нибудь интересное из моей пятичасовой беседы с Толстым. Должен сознаться, что уже в Туле, сидя на извозчике и только что выехав на длинную белую дорогу, ведущую в Ясную Поляну, я почувствовал, что в душе моей собираются новые, прежде незнакомые настроения. Я ехал к Толстому в третий раз, но в первый раз в совершенном одиночестве. Не могу передать Вам с точностью, что возбудило меня на этот раз, почти взволновало каким-то предчувствием. Преду мною на козлах сидел старик-извозчик, который с самого начала быстро погнал свою здоровую лошадь и в десять минут вывез меня на длинную дорогу, с широким и тихим горизонтом. Было около двух часов, день стоял прекрасный, солнце пекло. Вдруг мне показалось, что толстая, загоревшая шея извозчика, с старческими морщинами и вихрами седых волос, выбивающихся из-под шапки, чем-то напоминает старческую шею Толстого. Что-то дрогнуло в моей душе, и странные мысли зашевелились, запрыгали в вихре и перепутались. Извозчик продолжал покручивать, добродушно и ленисто, своим кнутом, а здоровая вороная лошадка неумоимо бежала по белой дороге.

Подъехав к двум каменным столбам, представляющим въезд в усадьбу, я остановил извозчика и медленно, с трусливыми запинками, побрел по знакомой березовой аллее к дому Толстого. Обогнув лицевой фасад, я, никем пока еще не замеченный, вошел на крыльцо и на пороге передней встретил незнакомого человека, одетого по-мужицки, но с выразительным интеллигентным лицом. В усадьбе было тихо, и этот незнакомый человек тихо и осторожно направился ко мне. Я сказал ему какое-то незначительное приветственное слово, на которое он ответил мне с ласкою в голосе:

— Вы ко Льву Николаевичу? Вы не видели его на лаун-теннисе? Он должен сейчас прийти.

С этими словами он направил меня к скамье, которая стояла тут же на крыльце. Я сказал ему, что знаю Толстого, что моя фамилия Волынский. Старик оживился, в глазах его сверкнули огоньки.

— Вы ругали Толстого? — сказал он мне с игривой интонацией. — Вот теперь вы поговорите с ним. Какой он молодец! Вчера спор был о материализме и об идеализме, об искусстве. Химик тут есть такой один, молодой человек. Говорит хорошо, но я ничего не понимаю. А заговорит Толстой — ясно и просто. Слушаю и понимаю. Он всех переспорил.

Я поспешил заверить собеседника, что никогда не ругал Толстого и что, насколько я могу понимать собственные статьи, они клонились скорее к его прославлению.

— *Во-лын-ский!* — стал он растягивать по буквам мою фамилию. — Ах, да, это Ясинский ругал Толстого. *Ясинский!*

Я снова поспешил уверить добродушного старика, что, насколько мне известно, Ясинский тоже никогда не ругал Толстого.

Старик захлопотал и, на одну минуту глубоко задумавшись, сказал:

— Это Михайловский ругал Толстого, а вы ругали Михайловского. Толстой рассказывал. Я теперь все помню. Конечно, конечно!

Мы разговорились. Оказалось, что Толстой спит, и наша беседа стала разворачиваться в разных направлениях. Этот старик, Александр Петрович¹ — давнишний друг Толстого, нищий пешеход, совершающий путешествия в несколько тысяч верст без копейки в кармане, но всегда, неизбежно, фатально, через каждые несколько лет, попадающий в Ясную Поляну. Он любит Толстого. Двадцать лет тянется их дружба, и благоговение его растет с годами. Когда я уронил в какой-то реплике слово «апостол», Александр Петрович затрепетал от радости. Когда я в другой раз упомянул, что *Лесков* называл Толстого океаном, он стал предлагать мне рассказать об этом Толстому. Беседа переносилась с предмета на предмет. Этот полубразованный старик, пешеход, нищий, постоянная жертва деревенской полиции, переписчик многих произведений Толстого, незаметно для себя набрасывал великолепные характеристики и Тургенева, и Толстого, и Достоевского. Он на память прочел мне целую сцену из романа Достоевского. Мои замечания, видимо, возбуждали Александра Петровича, и в течение часа между нами пробежало что-то приятное и дружественное. Передавая горячие рассуждения Толстого об искусстве и уловив какие-то тени на моем лице, он с тревогою стал выражать сожаление, что меня при этих рассуждениях не было. Его разнообразные сообщения перебивались повествованиями анекдотического характера, которые я выслушивал с жадностью. Александр Петрович знал Толстого еще тогда, когда в этом океане бурлили страсти, когда Толстой доходил до высокого увлечения картами, когда споры его с людьми разрешались гневными вспышками. Теперь он не такой, но в нем не умер еще молодец.

— Вы увидите, как он бодр! — прибавил он.

Беседа моя с Александром Петровичем затягивалась. Я не замечал времени и даже радовался, что Толстого еще нет. Я говорил бы с этим человеком до следующего утра, с полным наслаждением, потому что в словах его слышались временами настоящая житейская мудрость и большой безнадежно-печальный опыт.

Во время нашего разговора с веранды дважды выходил человек средних лет с проседью в черной бороде, которому Александр Петрович представил меня. Это был англичанин, гостивший у Толстого². С холодной вежливостью он тоже стал передавать мне смысл вчерашней беседы Толстого об искусстве. Он был согласен с Толстым, что поэзия, непонятная толпе, — вредное фокусничество. Мои возражения он принимал неохотно. Было уже 5 часов, и слуга, накрывая стол на веранде, подошел к колоколу и прозвонил к чаю.

Вдруг на крыльце появился Толстой. На этот раз, как и четыре года тому назад, меня поразили его сильные, быстрые движения. Одну секунду мне казалось, что он весь — движение: непередаваемое ощущение могучей и страстной жизненности, которая боится застоя, покоя и смерти.

Он весь седой, с поредевшими волосами, с косматыми, низко нависшими бровями. Нижняя челюсть, с нерасчесанною широкою бородою, старчески выдвигается вперед. Когда я близко подошел к нему, меня поразили его *глаза*: в них уже не было прежнего стального блеска, они смотрят сквозь чуть заметный мутный налет. Толстой не сразу узнал меня, заговорил по-английски, но вдруг смутился, рассмеялся и, назвав меня по имени и отчеству, увлек меня за руку на веранду к графине Софье Андреевне. Прошло несколько минут, все домашние уселись за столом. Графиня разливала чай, перебрасываясь словами с англичанином, с химиком, со мною и другими. Толстой сидел против меня, но беседа не складывалась, несмотря на то, что он понемногу стал задавать мне какие-то вопросы. Тоскливые ощущения, которые овладели мною еще на извозчике, с новою силою стали разливаться в моей душе. Мне все стало безразлично. Кто-то, перебив наступившую тишину, произнес фразу о цензорах, о петербургских журналах, о Соловьеве — начальнике главного управления по делам печати. Я вспомнил случайно прочитанное мною в вагоне объявление о новом издании сочинений Толстого и по этому поводу что-то заметил графине. Она, с привычною, выдержанною любезностью, сейчас же сообщила какие-то подробности: она ездила в Петербург, имея какие-то опасения относительно Соловьева, но Горемыкин приехал к ней на дом, с уверением, что никаких задержек не будет. Новое 14-томное издание ничем не отличается от предыдущего.

На одну секунду я забыл и графиню, и Толстого, и себя самого — весь этот сон на яву, под очаровательным названием «Ясная Поляна», — все забылось, уплыло вдаль, и перед глазами стало маленькое существо, с заплаканными глазами, худенькое, тоненькое, которому я купил старое издание сочинений Толстого, не зная еще о новом. Как струна в тумане, его голос прозвучал ко мне издалека. И не было мгновения во всей моей жизни, когда бы люди казались мне столь чужими, как тогда. Что-то горело в моей душе слабым светом, как правдивое откровение — не яркое, тесное и, в тесноте своей, избавительное и спасительное. Я видел перед собою Толстого, и мне казалось, что между мною и им пробегает что-то злое, стихийное. Я думал, что этот человек мог бы меня взять только ослепительною мудростью, мечтами, а не рассуждениями, сумасшедшим бредом, а не филантропическим застенком, в котором вольная мысль насильственно пригибается к земле. Помню, что я смотрел ему в глаза спокойно и твердо, а по телу пробегал холод непонятной вражды. Почему-то вспомнилась Саломэ, болезненный Ницше, с его сумасшедшими демоническими излияниями. Что-то глубже сознания билось во мне и требовало выражения. Океан казался мне мертвым, а прекрасная белая дорога, ведущая к океану, между широкими полями, — тропинкою к раскольному скиту, с его чересчур предметным *экстазом* и неспособностью к отвлеченным грезам и грустным мечтаниям, похожим на беспричинные слезы. Толстой уже не казался мне сам океаном — это был умирающий кит, плывущий в тихих водах широкого русского океана. Если бы Толстой прямо заглянул мне в душу, то, вероятно, он увидел бы то же, что мертвенно отпечаталось на моем лице. Я чувствовал, что вот придет ми-

нута, — и бездна глубокого разногласия между мною и Толстым раскроется.

Она, в самом деле, раскрылась. Толстого заинтересовали мои занятия Ренессансом. Помню, я сказал ему несколько слов о *Леонардо да Винчи*. Толстой явно для всех хмурился и, наконец, встал со стула, прошелся по веранде, приблизился к самовару и затем сказал отрывочно:

— Да, я понимаю. Это все квази-философские, квази-эстетические мысли. Какое-то идолопоклонство. Безумный мистицизм. Вы говорите — Джиоконда. Глупо намазанная баба. Обыкновенный портрет. Репин лучше пишет.

Я сказал Толстому, что в произведениях Леонардо да Винчи мировая история достигла необычайной высоты, что Винчи — титан...

Толстой сел, сурово нахмурил брови, опять поднялся и решительно заговорил:

— Неверно, совсем неверно. У Винчи не было никакого мировоззрения. Я что-то слышал. Он был инженер, строил машины. Путаный человек — астрологией занимался, с венчиками писал своих Мадонн и Христа...

Я быстро оборвал Толстого, решив откровенно исправить его ошибки: у Винчи нет ни одной картины с венчиками, кроме лондонской «Мадонны в скалах», ложно ему приписываемой, у Винчи в его сочинениях рассыпаны перлы такого точного знания и понимания, которое невозможно без философского мировоззрения, а против астрологии и разных средневековых предрассудков он вел острую полемику на почве науки.

Я чувствовал, что мои возражения, по форме и по содержанию, вышли не только резкими, но, может быть, не совсем уместными в разговоре с великим человеком. Русскому океану прощительно не знать таинственной кометы, взшедшей на итальянском небе несколько столетий тому назад, потому что между великими людьми, что бы ни разделяло их, убеждения ли различных эпох, или народные предрассудки в известный исторический момент, — существует таинственная связь, не разрушимая ничем на свете. Один океан братственно шумит к другому, через бесконечные пространства, побеждая время. Толстой презирает *Ницше*, смеется над Леонардо да Винчи, смешивает второстепенного скрипача-виртуоза с *Бетховеном*. — но все это теряет свое значение, когда подумаешь, что в словах Толстого слышится иногда музыка Бетховена. А этот демонический проповедник Ницше, с его болезненными снами, похожими на действительность, и печальной действительностью, похожей на кошмар, знал о Толстом и произвольно, мечтой о возрожденном человечестве, приветственно шумел к величавому течению русского океана. Океан шумит к океану. Возражая Толстому с безумною дерзостью, я в нем любил бессмысленную правду его предназначенных кем-то заблуждений, падений и великих подъемов.

С внутренним дрожанием, которое мне удалось скрыть, я сказал в заключение, что великий человек XV века не виноват, что до Ясной Поляны не дошли его манускрипты, из которых многие уже обнародованы. Затем, продолжая беседу на более общую тему, я не мог не сказать, что теоретическое рассуждение об отвлеченном предмете, как Бог, душа, бессмер-

тие, я ценю так же высоко, как простой, живой человеческий подвиг на практическом поприще. Моралистические же рассуждения кажутся мне похожими на рассуждения о гимнастических ощущениях: самих ощущений нет.

Толстой ответил, что «надо жить» и что всякая философия, вследствие этого, должна быть практической, что интересно только то, что тянется между рождением и смертью, — остальное бесплодный мистицизм. Разговор шел обрывками и при большом возбуждении. Иногда только он разрешался огненными вспышками.

— Если земная жизнь, — сказал я Толстому, — проходит между рождением и смертью, то понимание жизни охватывает и рождение, и смерть, — две тайны, превращающие практическую философию в теоретическую.

На этом разговор осекся. Толстой нервным, быстрым шагом ушел с веранды.

Англичанин — единственный свидетель этой части нашего разговора — с изысканной вежливостью, в которой мне послышалась какая-то теплота, воспользовался отсутствием Толстого, чтобы сказать мне несколько слов:

— Какой удивительный талант у Льва Николаевича, — произнес он протяжно, — не ожесточать своих оппонентов в самом горячем споре.

Мне казалось, однако, что надо встать, извиниться и уехать. Но, через несколько секунд, вернулся Толстой, и с новой, слегка видоизмененной интонацией, предложил мне принять участие в общей прогулке:

— Пойдемте с нами. Погуляем.

Англичанин очень близко подошел ко мне, заговорил со мною о Макиавелли и как-то неощутимо придал беседе и возможности совершить прогулку в прекрасном обществе новый, свежий оттенок. Он пошел со мною, а Толстой — здоровою, свежую, молодцеватую походкою побежал догонять графиню с химиком и какими-то дамами. Мне подумалось, что Толстой не возобновит со мною никакого разговора и что наше свидание закончится разными условными вежливостями невинно-примирительного, бессодержательного характера. Он шел впереди, то отставая от графини и посылая нам какие-нибудь незначительные слова и замечания, то обгоняя графиню. Мы шли садом, перелезли через забор, перепрыгивали через рвы, причем Толстой в этих случаях всегда оказывался первым. В коломянковой блузе, подпоясанной ремнем, и круглой суконной шляпе, немного набекрень, Толстой был мне теперь дорог, как видение всей русской жизни в одном человеке. В нечищенных сапогах, с откровенными дырками, сквозь которые просвечивали голые ноги, он был чудесен. Иногда мне казалось, что между ним и графиней еще движется стихия живой страсти. Он протягивал ей руку с природным джентельменством, чтобы через несколько секунд ту же руку молодцевато и как-то по-иному подать химику, или англичанину, или мне, когда приходилось переступать через какие-нибудь рытвины. Вот он Толстой! К этому человеку пешком, полуголодный, путешествует Александр Петрович — только для того, чтобы поговорить с ним и восхититься его красотой. В Ясную Поляну можно приехать именно с целью найти радостное восхищение для души, очароваться, забыться и лицом к лицу стать с человеком, который идет не туда, куда он хочет.

а куда, куда хочет Бог. Англичанин продолжал говорить со мною о Макиавелли, причем сообщил мне о публичной лекции, которую Джон Морлей недавно прочел о нем в Оксфорде. Я как-то не обратил внимания, что Толстой уже шел рядом, прислушиваясь к моим словам, которые невольно направлялись в прежнюю сторону. Случилось мне провести параллель между Макиавелли и Ницше; это была справка в пояснение того, почему меня интересует Ренессанс. Ницше грезил Ренессансом, и его отличие от Макиавелли заключается только в том, что он был не свободен в своих излияниях, что его демонизм был искренним выражением больного духа, тогда как Макиавелли был внутренне здоров и, следовательно, свободен. Один есть предтеча другого, но, при величии обоих талантов, Ницше довел до последнего выражения бессильную борьбу человека с собственной *внутренней правдой* — освобождения, смирения и спасения.

Я не следил за Толстым и был внезапно потрясен фразой, которую он сказал в знак сочувствия моей мысли. Что-то новое встрепенулось во мне, и я стал быстро, боясь потерять мгновение, дополнять и развивать пришедшие на помощь новые соображения и доводы. Толстой не переставал возбуждать мою энергию. От него веяло *ласкою*, которая делала каждое его сочувственное слово целым событием для моего духа. Я не понимал, откуда шло это сочувствие, и мне не хотелось понимать его. Оно лилось на меня, как благодатный дождь. Не помню в точности, что я говорил, потому что на этот раз я говорил не умом, а чувством. Может быть, в моих словах, не очень логичных, было маленькое присутствие доступной мне искренности, которая большому океану показалась человечною. Толстой лил и лил на меня выражения сочувствия и солидарности. Иногда он приходил мне на помощь новыми соображениями — в моем же духе, и тогда я слушал, не споря, или спорил против таких мелочей, которые устранялись легко и просто. Я не замечал настроений англичанина, который, как оказалось, торжествовал и радовался. Он тут же откровенно выразил свое недоумение по поводу нашего спора за чайным столом, но Толстой уже высоко парил над частностями и задавал мне бесчисленные вопросы о Саломэ, о Ницше, переспрашивал названия различных сочинений Ницше, удивлялся, что о нем иногда говорят в статьях совместно с Ницше. Это уже была не беседа, а что-то другое, чему я не хочу подыскать никакого названия. Разговор обрывался, возобновлялся, Толстой несколько раз уходил к отставшим дамам, однажды нагнал англичанина и быстрым шагом стал приближаться к станции Козловка-Засека. На обратном пути было холодно, и Толстой вдруг пустился быстрой рысью бежать по склону насыпи. Все побежали за ним, но Толстой бежал неотомимым, ровным, военным бегом, не нагибая головы, как очарованный гений Ясной Поляны. Он и англичанин через несколько минут оказались опять впереди всех. Я нагнал их только через некоторое время.

Было уже около 9 часов. Над Ясной Поляной стояла полная, бледная луна. Нигде никогда я не видал такого упонительного вечера. Веяло тишиной. От быстрого бега Толстому было тепло, и он говорил о своей новой книге, написанной на тему об искусстве. Он произносил слова, которые встречаются только в его романах. Совершалось какое-то чудо на

моих глазах: ничтожные слова делались предметами, а предметы двигались с легкостью идей. Он оспаривал старых эстетиков и, чего-то не видя, может быть, чего-то не зная, он могуче, но бессознательно обнимал и заключал в тесные слова безграничные горизонты. Можно было спорить, но спорить не хотелось. А Толстому хотелось возражений. Он требовал, добивался их. Он опасался за будущие мои статьи, в которых я, пожалуй, не приму в расчет того, что, ему кажется — уже доказано в его книгах. Главное — надо понять, что эта хваленая троица: красота, добро и правда — составлена из понятий, не имеющих между собою ничего общего. Что такое красота? Красота — это то, что мне нравится. Что такое истина? Истина — значит простая точность словесного изображения верной или неверной мысли, скверного или прекрасного предмета. Обе — условны. А добро? Добро — это самопожертвование, действительный подвиг, который нравится всем одинаково, который определяет отношения человека к Богу. Эстетики, от Баумгартена до наших дней, перепутали разные вещи, между которыми нет ничего общего.

— Нет, возразите мне, скажите мне ваше мнение, — настаивал Толстой.

Но возражать решительно не хотелось. Отовсюду веяло тишиной, прохладой, и я живо чувствовал настроение Толстого. Оно было величественно.

Мы уже приближались к усадьбе, когда мимо нас прошел бык, который не то жалобно, не то угрожающе мычал. Толстой встрепнулся и побежал оказывать услуги дамам. Графиня пожелала взять его руку, и Толстой повел красивого товарища своей жизни здоровою, бодркою, кавалерскою, я бы сказал — гвардейскою походкою.

Когда мы пришли в усадьбу, на веранде все было готово для ужина. Ужин продолжался около получаса, графиня была любезна, угощала общество, сказала несколько слов о Владимире Соловьеве как-то очень кстати, а сам Толстой был оживлен и весел. После ужина я сказал, что еду сейчас же в Тулу, но Толстой любезно запротестовал, сказав, что еще очень рано, что я могу отпустить извозчика и что можно поехать на его лошадях не в Тулу, а в Козловку совместно с англичанином, который с тем же поездом отправляется в Москву. Я объяснил, что дал обещание Александру Петровичу довести его до Тулы. Но Толстой опять весело запротестовал, сказав, что все уладит. И, действительно, через некоторое время он объявил мне, что извинился за меня и что Александр Петрович уже ушел пешком в Тулу. Я был смущен таким оборотом, в особенности потому, что мне хотелось доехать до Тулы именно с Александром Петровичем, далеко не по одним только соображениям человеколюбия, но и из интереса к нему. Толстой был бодр, весел, шутлив, и мы все вместе, кроме графини, поднялись во второй этаж в большую залу, увешанную старинными фамильными портретами. Татьяна Львовна перелистывала иллюстрированный английский журнал, подыскивая картины, подходящие для народного издания. Толстой добродушно смеялся над изображениями нагих женщин, называя их купающимися бабами, англичанин рассказывал о том, что в последнем английском переводе Нового Завета исправлена ошибка старых переводов в том стихе, где говорится, что Христос изго-

нял купцов из синагоги веревкою. В греческом тексте сказано, что он изгонял веревкою только скот. Но разговора общего, серьезного не было.

В это время Татьяна Львовна развернула первые листы переписанной на ремингтоне книги Толстого об искусстве, и, забыв обо всем прочем, я стал читать готовую, уже обработанную первую главу. В ней осмеивается дешевое искусство оперных представлений. Главных идей книги еще не видно, но отдельные слова все-таки возбудили мою тревогу. Кончив главу, я пересел к столу, где Толстой разливал чай, и при первом случае сказал ему:

— Мне кажется, что *искусство* либо самое великое дело в мире, либо самое глупое. Боюсь, что Вы пришли в своей книге к такому заключению, что оно самое глупое дело.

— Нет, — заговорил Толстой, — я не говорю этого в моей книге. Потребность *искусства* неискоренима в человеке. Я доказываю только, что современное искусство не удовлетворяет этой потребности.

Я боялся хоть чем-нибудь затянуть разговор. Было уже поздно, около 11 часов, когда мы с англичанином встали и начали прощаться. Прежних туманов в душе моей не было. Уже перед самым отъездом Толстой вышел на двор, подошел к экипажу и сказал мне, что хотел бы напечатать некоторые части книги, доступные для русского журнала, в «Северном Вестнике», но что есть какие-то тяжелые обстоятельства, которые мешают ему распорядиться этим делом с полною свободой³. Тут подошел англичанин, — мы сели в экипаж. Извозчик тоскливо погнав отдохнувшую лошадь по белой дороге от Ясной Поляны к Козловке-Засеке. В вагоне II класса мы доехали с англичанином до Москвы, лежа на верхних мягких скамейках. В Москве мы очень дружески простились...

С.-Петербург.

1897 года, 1 августа.

Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863-1926) — литературный критик, редактор, вместе с Л. Я. Гуревич, журнала «Северный вестник», идеолог раннего русского символизма. Его визит в Ясную Поляну отмечен в дневнике С. А. Толстой 29 июля 1897 г.: «Были весь день англичанин Моод, потом редактор «Северного вестника»... Ходили все гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас, женщин, и разговоров их я не слышала. Да и ничего нового или интересного и не услышишь. Надоело это умствование, ломка всего, отрицание и искание не истин — это было бы хорошо, а искание того, чего еще не было сказано человечеству, нового чего-то, удивительного, необыкновенного, — и это скучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, это всегда почтенно и красиво, а для удивления других — это не надо. Всякий сам для себя ее ищи» (Толстая С. А. Дневники в двух томах. Т. 1. Москва, 1978. С. 275-76).

¹А. П. Иванов (1836-1912).

²Эльмер Моод (Aylmer Maude, 1858-1938) – переводчик, издатель сочинений Толстого, его корреспондент (с 1897 г.) и биограф. С 1874 г. жил в России, познакомился с Толстым в 1888 г. В конце сентября 1897 г. Мооды уехали из Москвы в Англию и поселились близ Лондона. Переводя трактат «Что такое искусство?», Моод в письмах задавал Толстому множество вопросов.

³С. А. Толстая ревниво относилась к публикациям в «Северном вестнике» (из-за Л. Я. Гуревич).

24. П. К. ЭНГЕЛЬМЕЙЕР

Воспоминание из эпохи начала авиации в Москве

(Выписка из этих воспоминаний о Толстом)

Я рассказываю об этих курьезах потому, что они дают мне случай рассказать, как Толстой отнесся к этим курьезам. Но прежде надо сказать несколько слов о внешности Толстого. Я не знаю истинной меры роста его, но он производил впечатление человека ростом ниже среднего. Но, быть может, причиной такого впечатления была отчасти его обувь: он был тогда обут в городские сапоги, т. е. такие, которые носились с брюками на выпуск, а потому, чтобы не пачкать брюк, голенища сапог не чистились ваксой. Но на Толстом брюки были заправлены в голенища. Его шагов по полу совсем не было слышно: отсюда я заключаю, что подошвы сапог были тонкие и мягкие, а каблуки, если и были, то самые низкие. Одет Толстой был в суконную «толстовку» (которая тогда так еще не называлась), а сверху на плечи были накинут «охобень» из крестьянского сукна, так как в комнате было, полагаю, не больше 10-ти градусов по Реомюру. Редкие волосы с сильной проседью и неподстриженная борода обрамляли лицо, поражавшее с первого взгляда широким носом и маленькими глазами, но очень выступающими своим блеском. Толстой видимо не вглядывался в вас, а между тем пронизывал вас своим взглядом как бы совершенно помимо своей воли. Я иначе не могу определить свое впечатление. Всё лицо его выражало полнейшее спокойствие, но именно спокойствие, которое вы и ожидаете встретить у человека, стоящего на верхней ступени человеческой лестницы.

В начале разговора лицо Толстого выражало радушие к собеседнику и сочувствие неудачникам-изобретателям. Потом, когда он жестоко указал на пивоваренный завод, по лицу его пробежало что-то, чего я не успел определить. А когда речь зашла о красавицах с лиловыми лицами и о прочих курьезах, Толстой стал так добродушно и мило смеяться, как смеется старый добрый дядя без желания уколоть, обидеть, унижить. В эти минуты его рот, обычно очень серьезный, принимал мягкие линии, но вот настроение Толстого, видимо, изменилось, лицо его сделалось серьезным, и он задал мне такой вопрос: «Ну, а что в данную минуту в вашей технике особенно интересно?»

На этот вопрос я не сразу нашелся. Начал говорить о Герце, о Рентгене, о «серийной фотографии» Маррея, из которой фирма Люмьера вырабатывала тогда то, что теперь называется кинематограф. Но я замечал, что это все Толстого не интересовало. Наконец, я подумал, что напал на интересную для Толстого тему и сказал: «Быть может, любопытнее всего то, что в настоящее время вырабатывается в Германии новое направление научной мысли, которое там называется «философией техники». Как только прозвучали последние два слова, лицо Толстого сделалось очень серьезным. Он отвел от меня глаза, склонился на руку и начал негромко

и с расстановкой говорить как бы про себя: «Философия техники» — что же это может быть? О чем можно философствовать в технике?» Тут он замолчал, и я не стал прерывать молчания. Через минуту Толстой заговорил: «О чем может учить философия техники? Разве только о том: во что техника обратилась бы, если бы человечество, с самого начала, пошло по нравственному пути развития?» Высказав эту фразу, Толстой вновь впал в задумчивость.

Я тоже ответил не сразу. Я никогда не закрывал глаза на отрицательные стороны технической культуры, а с другой стороны не мог согласиться с тем, будто только отказавшись от технической культуры можно жить нравственно, «не притесняя других», как то выходило из писаний Толстого 80-х годов.

Не получая ответа, Толстой вновь взглянул на меня, но в его глазах я уже не видел прежней доброты, в них бегал огонек иронии ожидания, что вот сейчас он услышит стереотипные восхваления техники, — и тут я почувствовал, что в нашей беседе наступила та точка, дальше которой собеседники перестанут понимать друг друга; а потому я только заметил: «Философия техники занялась другими вопросами», — и встал. Толстой встал тоже. И мой единственный разговор с Толстым отошел в область прошлого.

Энгельмейер Петр Климентьевич (1855-?) — инженер-механик и педагог. В дневнике 24 апреля 1884 г. Толстой отметил получение от него письма — «очень хорошего». В марте 1897 г. Энгельмейер прислал рукопись своей книги «Руководство для изобретателей» и просил о предисловии. Толстой ответил: «Никак не могу исполнить вашего желанья. Не имею для этого досуга». Но желал книге «наибольшего распространения» (ПСС, Т. 70, С. 53). «Руководство» вышло в том же году с письмом Толстого в качестве вступления. Тогда же состоялось и знакомство.

Публикуемый текст — относящийся к Толстому отрывок из воспоминаний, датированных автором: «январь-май 1941 г. Москва».

25. НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Воспоминания о встрече с Л. Н. Толстым в 1899 г.

Это было в 1899 году, ранней весной, за две недели до Пасхи. Отец мой в это время только что возвратился на Украину из 12-тилетней ссылки в Сибирь за религиозные убеждения. Семья у нас была большая — 7 душ: из 5-ти детей я был самый старший, и мне шел 11-й год. Материально мы сильно нуждались, так как не имели ничего своего. И поэтому с особенным интересом прислушивались к ходившим уже тогда в народных массах слухам о Толстом, о том, что якобы у Толстого есть свой пароход, на котором будто бы переселились в Канаду духоборы, история которых, участие в их судьбе Л. Н. были хорошо известны среди народа, и этой историей особенно интересовались сектанты, которых было вокруг нас много. Говорили и о личности самого Толстого с большим интересом, с радостью, что в России, темной и неподвижной, появился такой необыкновенный человек, так горячо боровшийся за правду и своим ответом Синоду, подобно сказочному Титану, всколыхнувший огромное море российской неподвижности. Я уже сказал, что нас, нашу семью, как не имеющую пристанища, особенно интересовал вопрос о переселении в Канаду, к духоборам, и связанные с этим слухи об оказываемой будто бы Толстым помощи в таких случаях. В семье нашей часто шли разговоры о Толстом, которые так наэлектризовали меня, что у меня как-то разом созрело непреодолимое желание во что бы то ни стало увидеть этого сказочного, окруженного целыми легендами народной молвы, доброго дедушку. О том, как это сделать и какие могли встретиться на моем пути трудности, я вовсе не думал. На Украине уже начиналась весна, вершины верб под теплыми душистыми весенними дождями начали зеленеть, и я решил, что мне время лететь к Толстому. Адрес у меня был — в Ясную Поляну, так как об этой Ясной Поляне знали все. И вот, в одну прекрасную ночь, я, подождавши, пока у нас в доме уснули, потихоньку оделся в легкую одежку, взял у отца из кармана броек единственный серебряный рубль и, не сказавши никому ни слова, вышел ночью из дому и отправился в далекий путь. Это было в селе Ольшанице, Киевской губ. От Ольшаницы по железной дороге надо было проехать верст 80 до г. Киева, а оттуда уже ехать до Москвы. Таков был у меня маршрут, но стоимость проезда далеко не соответствовала моим средствам, а поэтому мне с первых же шагов пришлось изыскивать способы бесплатного проезда по железной дороге.

Явившись на станцию, я подождал поезда, и тут на мое счастье случился сердобольный кондуктор, который, выслушав сочиненную мною историю о том, что я еду к отцу, в Киев, и что у меня нет средств на дорогу, разрешил мне ехать под лавкой. Впрочем, мне было все равно, где ехать, лишь бы ехать. И вот утром я очутился в Киеве. Большой город, толкотня публики на вокзале произвели на меня впечатление, но

страха перед дальнейшим и сожаления о том, что мои родители, проснувшись утром, и не подозревают о том, где я уже нахожусь в данную минуту, не было.

Дождавшись на Киевском вокзале ночи, которую не без основания считал наиболее подходящим временем для своей поездки, я пробрался в вагон поезда, отправлявшегося на Москву, и спрятался там под лавку. Рубль свой к тому времени я разменял и истратил из него что-то около 30 коп., так что на переезд от Киева до Москвы у меня оставалось всего 70 коп. Однако и этого капитала я вскоре лишился. Дело в том, что как раз на той лавке, под которой я сидел, поместилась компания каких-то подвыпивших приятелей, которые, догадавшись, что под их скамейкой находится нелегальный пассажир, решили попользоваться на мой счет. И вот один из них стал теребить меня и требовать денег, обещая за то не выдавать меня до самой Москвы кондуктору, которого я сильно боялся. Перспектива была заманчивая, и я отдал моим спасителям все деньги до копейки...

Каков же был мой ужас, когда, очнувшись от забытья, навеянного на меня качкой вагона и стуком колес, я заметил, что чья-то грубая сильная рука тянет меня из-под лавки за полу моей одежды. Выбравшись на свет Божий, я заметил, что моих спасителей не было и следа, лавка, на которой они сидели, была пуста, а передо мною стоял грозный кондуктор и требовал билет. Конечно, билета у меня не было, и дело кончилось тем, что кондуктор, после многих обещаний отвести меня жандарму, о котором у меня тоже были самые хорошие представления, высадил меня на ближайшей станции, в темную холодную ночь, без всяких средств к дальнейшему передвижению. Станция эта была небольшая, такая тихая и пустая, в буфете при слабо мерцающей лампе сидела какая-то злая старуха и, увидев меня, принялась что-то ворчать. Не помню хорошо, как провел я эту ночь. Воспоминания у меня на этот счет остались смутные. Я помню только отдельные наиболее яркие этапы этого долгого и трудного пути. Вероятно, что в ту же ночь я, дождавшись следующего поезда, пробрался в вагон и благополучно доехал до Курска, так как помню этот город, движение толпы и какой-то большой железный мост. Следующий за тем этап, сохранившийся в моей памяти, это какая-то небольшая станция и находящийся при ней поселок. Очутился я на ней не знаю как. Рано утром, кругом стояла предрассветная тишина. Поезд, на котором я ехал, ушел, а надо сказать, что ехал я на этот раз не совсем обыкновенным способом: где-то, на какой-то станции, не помню, не найдя возможным пробраться в вагон, я залез под ближайший к паровозу вагон и, пользуясь пространством между валом осей и полом вагона, поместился там, уцепившись руками за разные снасти, вероятно, рычаги тормоза, и ехал так всю ночь. Холодный ветер обдувал меня со всех сторон, искры из-под паровоза сыпались по шпалам, а я ехал и ехал все вперед, туда, в Ясную Поляну. Но к рассвету ехать так стало неудобно, меня могли заметить, кроме того, я сильно продрог, так как с приближением к Москве становилось все холоднее и местами попадался снег, да и голод сильно мучил меня.

И вот я на самом рассвете очутился на станции, о которой говорил. Вылезши из-под вагона, я заметил при свете начинавшегося дня, что похож стал по крайней мере на трубочиста, если не на кого-нибудь пострашнее: руки мои и лицо были все в саже и нефти, одежда вся изорвана и висела на мне клочьями. Что было делать? Пробовал я было отмыть руки холодной водой из водокачки, но это оказался напрасный труд, а потому, оставив всякие заботы о приведении себя в мало-мальски человеческий вид, я решил заняться вопросом о пропитании.

Передо мною были простые русские избы, покрытые тесом. Кругом была тишина, и только в одном из сараев я слышал, как кто-то доит корову. Недолго думая, я направился туда, и на мой голос оттуда вышла женщина, в руках у нее был подойник. Здесь я в первый раз в жизни попросил хлеба, и мне не отказали. Женщина пошла в избу и вынесла оттуда мне кусок черного хлеба, печеного на капустных листьях. В жизни моей я не ел такого вкусного хлеба!

Что было дальше, не помню. Помню только, что я опять очутился на какой-то другой глухой станции рано утром. Здесь было уже холодно и лежал снег. На станции с обратной стороны стояла лошадь, запряженная в сани, и какой-то бородатый человек носил какие-то вещи со станции и складывал в сани. Он попросил меня подержать его лошадь. Я взял ее под уздцы, лошадь дернула головой и содрала мне кожу с пальца. За мою услугу человек дал мне 3 коп. и уехал. Вскоре я заметил недалеко от станции трактир и направился туда. Голод мучил меня. Войдя в трактир, я увидел много русских мужиков, пьющих чай и разговаривающих. Стоял пар и было грязно кругом. На меня тотчас же обратили внимание и начались расспросы, кто я, откуда и куда еду. Надо сказать, нигде за всю дорогу я никому не говорил об истинной цели моего путешествия, рассказывая вымышленную мной историю, что якобы я еду к отцу, в Москву, от своих родственников. Так пришлось поступить и здесь. Сердобольные мужички приняли во мне горячее участие, стали угощать меня чаем, бубликами, и между прочим сообщили мне, что мое положение плохо еще и тем, что я еду без «пашпорта». Раньше я об этом не думал, а теперь у меня прибавилось страху, так как меня могли отправить этаном обратно.

Вечером поздно, пользуясь темнотой, я, дождавшись поезда, пробрался в вагон, залез под лавку и измученный долгой бессонницей и усталостью крепко уснул. Проснулся я утром и тут заметил, что от толчков и сотрясения пола я выкатился на середину прохода и спал на виду у всех. К счастью, в вагоне почти никого не было. Прошел молодой кондуктор, спросил меня, куда я еду, и сказал, что поезд подходит к Москве. Кондуктор этот оказался мне очень добрым. Поезд остановился: вот и Москва! Теперь я знал, что мне уже недалеко и до Ясной. Надо было только пройти с Киевского вокзала на Курский, откуда идут поезда до Тулы.

Помню, что это путешествие от одного вокзала к другому по бесконечной Москве показалось мне необычайно длинным. Приходилось спрашивать дорогу у гороховых, а их я страшно боялся. Наконец я пришел. Это было накануне праздника Пасхи. Вокзал был запружен ехавшими по

домам фабричными рабочими, нехватало поездов и кроме того кондукторский надзор был настолько строгий, что мне долгое время не удавалось попасть в вагон. Помню такую сцену: публика осаждает поезд. В одно раскрытое окно несколько рабочих тащат своего товарища, кто за руки, кто за голову в вагон, а с наружной стороны за ноги рабочего схватил жандарм и тянет к себе. Вагон весь трясся и трещал от этой борьбы, но все-таки рабочие победили, и жандарму пришлось выпустить ноги своей добычи.

Кое-как, с большим трудом, удалось мне пробраться в вагон, спрятавшись за большой узел какого-то рабочего, чтобы проскользнуть мимо проверявшего в дверях билеты кондуктора.

И вот через некоторое время я в Туле. Отсюда надо было пешком идти в Ясную Поляну. Но по полям лежал глубокий снег, начинавший уже таять, и я вяз в глубоких проталинах на дороге. Не доходя версты до Ясной, мне встретился показавшийся мне небольшого роста и сутуловатый человек. Я спросил его, это ли Ясная Поляна и здесь ли сейчас Толстой. Оказалось, что это был сын Л. Н. — Л. Л. Он дал мне рубль денег и сказал, что Толстой сейчас живет в Москве и что он только на лето переезжает в Ясную. Л. Л. посоветовал мне все-таки пройти туда поест, обогреться и уже потом ехать обратно в Москву.

Я так и сделал. Кем я был принят в Ясной, я этого не знаю и лиц не помню. Знаю только, что пообедавши там и отдохнувши немного, я в тот же день к вечеру отправился на Засеку, чтобы ехать обратно в Москву. Здесь долго пришлось ожидать поезда, а станция, или, вернее, полустанок был такой маленький и в нем находился жандарм.

Пришлось мне снова прятаться от этого блюстителя порядка по каким-то грязным полуразвалившимся баракам, и только с наступлением темноты я устроился в поезде, шедшем в Тулу. На мою беду я попал в сменившуюся поездную бригаду, с этой бригадой ехал машинист с паровоза. Он с самого начала стал так сильно приставать ко мне, кто я такой и куда еду, и запугивать, что мне пришлось сознаться. Поднялась целая буря негодования, машинист называл Толстого «антихристом» и всю дорогу до Тулы уговаривал меня не ехать к нему, а остаться у него, у машиниста, причем обещал в награду за такой подвиг много сала, колбас и т. п. приятностей. Я благоразумно молчал, не желая своим отказом еще более рассердить своего благодетеля и вовсе не думая соглашаться на его предложение. По прибытии в Тулу я благополучно ускользнул от этой компании, но денег на билет до Москвы нехватало. Билет стоил 1 р. 80 коп., а у меня был только рубль, данный мне Л. Л. Пришлось опять ехать бесплатно, что я и выполнил с большим успехом, так что утром на другой день был снова в Москве.

Был первый день Пасхи. По улицам и площадям толпилось несметное множество народа. На широкой площади кормили голубей, и целые стаи их носились в воздухе, напоенном колокольным звоном. Голуби садились на головы и плечи торговков и клевали зерна из лотков. Публика была разодета по-праздничному, так что мой не особенно презентабельный вид грязного оборванца производил некоторый контраст и, признаться, не-

сколько смущал меня. Недалеко от колокольни Ивана Великого, показавшейся мне необычайно высокой, со мной разговорился мальчик моих лет и взялся проводить меня на Хамовники. Я, конечно, был рад своему спутнику, и мы с ним скоро дошли до того места, где жил Толстой, предварительно посмотревши Царь-Колокол и Царь-Пушку, которые, впрочем, не особенно заинтересовали меня.

Расставшись с мальчиком, я поворотил за угол Хамовнического переулка и, пройдя несколько шагов по тротуару, встретил высокого седого старика в теплом пальто и суконной шапке на голове. Лицо у этого старика было доброе, так что я почти сразу догадался, что передо мной Толстой, тем более что лицо его было мне раньше известно по фотографиям. Однако, чтобы лучше убедиться, я спросил доброго старика, где дом Толстого и можно ли видеть его самого. Остановившись на минуту, старичок ответил мне, что он и есть самый Толстой, но что он сейчас идет на прогулку, а поэтому, указавши мне свой дом, сказал, чтобы я шел туда, пока он вернется. Итак я достиг цели моего путешествия! Не понимаю, как мог я, не смущаясь ничуть своим необыкновенным видом, явиться в дом Толстых, где меня приняли ласково и первым делом дали умыться, потом, накормивши меня обедом в каком-то доме особняке, повели по лестнице и поместили в маленькой чистенькой комнатке с мягкой мебелью. Как раз напротив, в растворенные двери, я видел другую большую комнату. Там стоял большой заваленный книгами и бумагами стол, кожаные стулья, а у стен комнаты были наполненные книгами огромные шкафы. Я тогда плохо еще соображал, но думаю, что это был рабочий кабинет Л. Н. Комнатка же, в которой я был помещен, может быть была отведена специально для посетителей, а может и для кого другого. Впрочем, это для меня было совершенно безразлично, так как чувствовал я себя здесь после стольких мытарств довольно хорошо.

Скоро наступил вечер. В комнату ко мне в мягких уже наступавших сумерках вошел Л. Н. Он ласково спросил меня, присевши рядом со мной на кожаном диване, зачем и откуда я явился к нему. Точных подробностей этого разговора я не помню. Знаю только, что у меня осталось от посещения Л. Н. впечатление чего-то в высшей степени мягкого и светлого.

Выслушав мой рассказ о цели моего путешествия к нему, Л. Н. ласковым, но твердым тоном сказал мне, чтобы я передал своему отцу, что он не советует ему никуда выезжать, а тем более в Канаду, причем добавил, что своего парохода для перевозки эмигрантов в Америку у него не имеется. Лев Ник. говорил со мною с полчаса, а может быть и более, и при прощании снова повторил свой совет никуда не ездить, а жить там, где мы живем. (Этот взгляд на переселение и искание всяких общин Л. Н. высказывал не раз в своих сочинениях). Я повторяю, что решительно ничего другого не могу вспомнить из нашего разговора с Л. Н., так как я еще мал был возрастом для запоминания слов, но у меня неизгладимо остался в памяти смутный, но все же ясный, добрый образ Л. Н., светящийся необыкновенной лаской и мягкостью обращения. Впечатление осталось такое, как будто кто необыкновенно добрый, светлый, но мало осязаемый,

вошел ко мне в комнату, побыл со мною немного и снова ушел. Вот и все, что я могу вспомнить от этого свидания.

После, уже на другой день утром, ко мне зашли несколько лиц, из которых в памяти моей остался Ник. Ник. Ге и Иван Иванович¹. Кто был этот Иван Иванович, я не знаю, но знаю только, что в тот же день часов в 10 утра, нагруженный книгами и вполне довольный своею судьбой, я с этим Иваном Ивановичем отправился на вокзал железной дороги в обратный путь и что при проезде через большие ворота, где висела икона и стояли часовые, Иван Иванович не снял шляпу, тогда как все другие непременно снимали². Мне это показалось чрезвычайно смелым, и я, глядя на Ивана Ивановича, тоже не снял свою шляпу.

Обратный путь мой был скорый и легкий. Меня препоручили какому-то человеку, ехавшему до Киева, был взят на меня детский билет, и вся эта обратная поездка домой показалась мне сплошным триумфом, тем более, что друзья Л. Н. вручили мне некоторую денежную сумму для поддержания нашей крайне нуждающейся семьи.

Родители встретили меня с радостью, так как считали меня без вести пропавшим, и с удовольствием слушали мои рассказы о необычайных подвигах.

Не удается установить ни имя автора воспоминаний, ни точную дату его встречи с Толстым: сам мемуарист относит ее к весне 1899 г., и это возможно, если судить по упоминанию о переселившихся в Канаду духоборах — 20 апреля этого года из Батума отплыл четвертый (последний) пароход, в сопровождении В. Д. Бонч-Бруевича. Однако несколькими строками ниже говорится о толстовском «ответе Синоду», что, как известно, имело место весной 1901 г.

¹И. Н. Горбунов-Посадов (1864–1940), писатель, в 1897–1925 гг. руководитель «Посредника», последователь и горячий проповедник толстовства. В дневнике Толстого есть такие строки о Горбунове-Посадове: «Очень умен и даровит. И чист. Легко полкubitъ его» (ПСС, Т. 50, С. 38).

²Перед иконой Божьей матери на Иверской часовне Кремля полагалось снимать шапку.

26. А. П. ПАКАНИЦЕ Воспоминания

Мы поселились в самом центре московского разврата — в Колосовском переулке. Вышло это случайно. Только в последний момент, когда комната уже была снята и подвода с вещами уже была в пути, мы разглядели, что наша хваленая большая и дешевая комната была со всех сторон окружена публичными домами и сдавалась от хозяина — тоже содержателя «заведения». В таком щекотливом положении на улице остановились мы обсуждать, как быть, и наконец было решено: поселиться, присмотреться, понаблюдать. Но не прошло недели, как пришлось горько раскапываться, — со мной произошел случай, благодаря которому я порядочно пострадал. Вся эта история молодого донкихотства (мне было 20 лет) была бы мало интересна, если бы не участие в ней Льва Николаевича. Л. Н. проявился как-то особенным образом: под влиянием живого возмущения он отозвался на нее душой и в своей горячности не нашел нужным долго думать над тем, так ли ему, Толстому, нужно поступить. Может быть, это могли бы ему поставить в укор фанатики — его последователи или его недоброжелатели, но люди, которым близка его личность, увидят здесь в этой маленькой его «нелогичности», как он был подвержен порывам и что не всегда психика его строилась по голосу рассудка и его понимания вещей. Но тем ближе она нам и тем больше роднились с ним все те, кто любил в нем прежде всего человека. Но расскажу мою историю по порядку.

Нечего говорить, что уличная жизнь нашего переулка и соседнего Страстного бульвара была полна скандалов, драк и пьяных криков. Мы не столько «наблюдали», сколько, стоя в стороне, содрогались от отвращения и расстраивали себе нервы. В конце концов нервы не выдержали.

Однажды, возвращаясь домой по Страстному бульвару часов в 11 ночи, мы натолкнулись на какую-то драку. Подбежав на раздражающие уши крики, мы разглядели, что городской нещадно бьет кулаками женщину, валяющуюся на мостовой. Нас было четверо (трое — Колосовской коммуны) и нам скоро удалось прекратить избивение, но городской не отпустил своей жертвы и поволок ее в участок. Скоро опять послышались крики. Я побежал на крик и вижу опять ту же картину. Во мне все перевернулось, из головы выскочило всякое соображение. Я тоже стал нестучленно кричать на городского, энергично приказывая ему следовать за мной в участок. Городской отпустил женщину, сдал ее одному из подбежавших на свистки дворников, а сам, ничего не отвечая и ныхтя, цепко ухватил меня за руку, за другую руку подхватил другой дворник и меня потащили. Я отбивался, но скоро почувствовал и физически и психически, что ничего не сделаешь.

Когда вошли во двор части (кажется, Страстной), меня стали бить и так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело. Удивлялся, откуда эти

искры. Били с «чувством». Я принял это сначала было спокойно: «не меня первого, не меня последнего». Но в конце концов нашло и на меня, я вырвался и так ударил городовой кулаком в голову, что он оторопел, запутался в своей шапке и чуть не упал в снег. Справившись, он опять ухватил меня за рукав, лишь проговорив: «А-а, так ты вот как»... Потянули в канцелярию. За столом полусонный дежурный. Лениво потянулся за бумагой и, изредка лишь вскидывая глазами, не поднимая головы, стал писать. После моих взволнованных протестов с требованием составить протокол, стал докладывать городовой. Вдруг и у него откуда-то появился безучастно ленивый и спокойный тон:

— Скандалил, ваше благородие, пьяный...

Дежурный стал спрашивать имя, фамилию, лета, звание. Я сказал. Он поднял голову и с любопытством уставился на меня, что-то соображая.

— Где живете?

— На Колосовском переулке.

— Где ему больше и жить, — вставил как бы про себя городовой.

— Отведите к фельдшеру, — приказал наконец дежурный.

— А там увидим, какой вы князь, — пустил он мне вдогонку, когда меня стали выводить.

По дороге к фельдшеру еще били. Городовой все норовил коленом продавить мне грудь. К фельдшеру ввалились уже в полном беспорядке. Фельдшер оказался более человечным, узнав от меня, в чем дело, стал просить отпустить меня. Но городовой заявил:

— Никак невозможно, — буянил на всю часть.

Разрешил мне умыть лицо, дал полотенце, а на бумаге, оказывается, все-таки удостоверил, что я пьян.

После фельдшера меня опять повели через двор, опять били и наконец за шиворот втолкнули в «камеру для протрезвления пьяных мужчин и женщин». Я не удержался на ослабевших ногах и полетел на грязный пол темной комнаты. Тяжелая дверь с шумом захлопнулась за мной.

Ту женщину, очевидно, впихнули в соседнюю комнату: хлопнулась и там где-то другая дверь.

Сидя на нарах, среди каких-то хранящих тел, вдруг слышу — поет пьяным, иногда визгливо-надрывающимся голосом какую-то разухабистую песню. Звуки эти ударили мне в голову: мозг мой не то прозрел, не то окончательно запутался... Я скоро заснул, как убитый. Утром меня выпустили. Но за ночь я жестоко простудился, схватив воспаление в легких и плеврит. Вызвали из Грузии недавно уехавшего моего брата П. П-ча.

Когда Л. Н. узнал об этой истории, он попросил, чтобы я описал ее письменно. Мой рассказ очень сильно подействовал на него, и мы скоро узнали, что он написал к московскому полицимейстеру (или градоначальнику?), как помнится, Трепову. Получили и копию письма. (К сожалению, мой рассказ с пометками Л. Н. и эта копия у меня пропали). В этом письме, написанном в резком и горячем тоне, Л. Н. писал, что если власть не обратит должного внимания на это дело, то он с своей стороны примет меры для самой широкой его огласки. Это был единственный

путь для восстановления справедливости, и он к нему прибег. В итоге почти весь штат части: смотритель, его помощник, фельдшер, городской, двое дворников были немедленно смещены и преданы суду. Причем городской и дворник арестованы. Немедленно ко мне явился помощник полицеймейстера для снятия показания, проявив всю возможную любезность.

За все время болезни, которая продолжалась больше двух месяцев, я все время чувствовал не ослабевающую заботу Л. П-ча обо мне. Лечил меня присланный им его личный врач доктор Усов.

От постели моей не отходили день и ночь его друзья. Сам Л. П. все время порывался навестить меня, но несколько раз дела перехватывали его по дороге и он с горечью говорил об этом. Работа дома и сотни дел, где требовалось его человеческое участие, отнимали у него все время, но он постоянно справлялся и знал, что я окружен самым заботливым и самоотверженным уходом его друзей.

8 ноября 1924 года
г. Боржом.

Накашидзе Александр Петрович (1881-?) – младший брат Ильи Петровича Накашидзе (1866-1923), грузинского писателя, единомышленника Толстого, принимавшего близкое участие в судьбе духоборов. 24 января 1901 г. Толстой обратился к московскому оберполицеймейстеру Д. Ф. Трепову с протестующим письмом по поводу случившегося с А. П. Накашидзе, «прекрасным юношей, чистым, нравственным, ничего никогда не пьющим»: «Судя по тому, что случилось с молодым Накашидзе, каждый из нас, жителей Москвы, должен постоянно чувствовать себя в опасности быть ослепленным, искалеченным и даже убитым (молодой Накашидзе теперь опасно болен) шайкой злодеев, которые под видом соблюдения порядка совершают безнаказанно самые ужасные преступления» (ПСС, Т. 73, С. 22-23). Позднее об этой истории вспоминала жена Ильи Накашидзе: Накашидзе Нино. «Несколько лет вблизи Льва Толстого». Тбилиси. 1978. С. 66-67.

27. Т. И. БОБЫРЬ

Посещение Льва Николаевича Толстого в Москве, в его доме в Хамовниках

Как это произошло. В эти годы моей юности словно нарастал девятый вал. Все было так необычно, так ярко, зелено, как бывает молодой, ранней весной.

Вот наступили февральские дни. В Киеве отдали студентов в солдаты и московские уже волнуются, требуют их возвращения, собираются на сходки, срывают лекции. Курсистки знают, что сегодня, 23-го февраля, в Московском университете сходка, решают к ней присоединиться. Я живу у городской пожилой учительницы Рансы Демьяновны Бурмистровой, которая боится ареста. Она взяла с меня слово, что я не буду участвовать в студенческих беспорядках. Но я живу одной жизнью со своей молодежью.

Ко мне приходит моя черниговская подруга Саня М. и зовет в университет: «Ну, пойдем, посмотрим, что там делается». После некоторого колебания я все-таки иду. Подходим к университету и видим на большом крыльце группу студентов, среди них и наши друзья В. Т. и Л. С. Как хочется присоединиться к ним! Но ворота университетского двора запираются и туда больше никого не пропускают, кроме профессоров.

Возле университета образовалась большая толпа. Какой-то порыв заставляет меня говорить собравшимся о невозможности молчания, о необходимости всем присоединиться к протестующим студентам. Моя подруга отчаянно шепчет мне: «Идут тебя арестовать». Я в ужасе вспоминаю о Рансе Демьяновне и шепчу ей: «Беги скорее ко мне домой, предупреди Р. Д., возьми мои вещи, паспорт и перенеси все в общежитие курсисток. Скажи, что я к Р. Д. не вернусь, попроси прощения. Ты понимаешь, я не могла молчать!» Саня торжественно кивает головой и стремглав бежит, а в это время цепь полицейских окружает меня и еще 10 человек, нас уводят в манеж. Это было мрачное, каменное здание с огромными чугунными дверями, которые тотчас же захлопнулись за нами. Вскоре манеж наполнился арестованными студентами. Арестовано было около 300 студентов и 20-30 курсисток с разных курсов.

Студенты сначала разбились на группы, а затем нашли какой-то помет и неожиданно для полиции организовали митинг.

Я чувствовала, что вступаю в новую полосу жизни. Вскоре администрация объявила нам, что те, кто раскаивается в своем поступке, могут дать подписку и уйти на свободу. Но таких не оказалось.

Нас продержали так сутки. Приходил директор курсов Герье, он искал своих курсисток, я спряталась, так как не хотела с ним объясняться, да и другие тоже.

Наконец, нам сказали, что женщины могут уйти. Студентов же увезут в Бутырскую тюрьму. Голосованием решили, что курсистки подчинятся такому решению с тем, чтобы выполнить поручения арестованных. Спо-

рили долго о том, называть ли свои фамилии, так как при уходе нас заставляли расписаться. Пришли к заключению, что давать фиктивные подписи нельзя. Вспомнили пример Короленко и подписали свои подлинные фамилии.

Среди арестованных курсисток не оказалось ни одной мне близкой знакомой, но мы тут же познакомились друг с другом, сразу перешли на «ты» и поклялись отдать силы революционной борьбе и народу. Это были Анна Эфрон, Дина Сумцова, Соня Муравьева и Ася Ивлева.

Я смущенно сказала своим новым друзьям: «Не знаю, куда мне идти, вернуться на свою квартиру я не могу». — «Ну, что же, ты пойдешь к нам», просто сказала Анна Эфрон, курсистка с огромными серыми глазами, с лицом приятным, решительным, серьезным, сразу вызвавшим чувство доверия и симпатии.

Часа в 4 ночи мы пришли в дом Анны. Нам открыла дверь ее мать. «Мама, а это Тамара, ей нельзя вернуться домой и негде жить». — «Ну, что же, дорогая Тамара, вы останетесь у нас». И я попала в исключительную семью. Елизавета Петровна Эфрон, урожденная Дурново, дочь крупного помещика Пензенской губ., была другом Петра Кропоткина и Николая Морозова, — народницей. Она юной девушкой ездила на курсы в карете, в сопровождении гувернанток и матери, а затем порвала с семьей и отдалась революционной работе. Два года высидела она в Петропавловской крепости, затем была эмигранткой, где стала другом Бакунина. Я поселилась у них.

После ареста в манеже мы продолжали следить за всеми событиями и волнениями в России.

Лев Николаевич Толстой, великий наш писатель, был совестью общественной жизни, единственным человеком, который ничего не боялся, и казалось, что без его совета нельзя ни на что решиться. Он был отлучен от церкви, и это еще более привлекло к нему передовых людей. Эта статья была послана ему, с предложением обсудить в печати. Вскоре после того, как была послана статья Л. Н., из Харькова приехал муж Елизаветы Петровны, Яков Константинович Эфрон. Он привез от интеллигенции гор. Харькова адрес Льву Николаевичу по поводу его отлучения от церкви и предложил отвезти его нам. В сущности не нам, а Елизавете Петровне. «Поезжай ты, старая, с молодежью, а то я еще расплачусь» — вот его слова.

Молодежь, т. е. Дина, Лиля, Анна, сестры Жебуневы и я, безгранично обрадовались, что удастся увидеть Льва Николаевича Толстого. К нам присоединилась еще курсистка Викторова — очень способная, обладающая даром речи девушка, но тщеславная и имевшая вид барышни, черная, изящная, маленькая головка, с пышной прической, но ярко горящими глазами, всегда привлекавшая всеобщее внимание. На курсах она выступала как делегатка и, кажется, очень любила быть первой, одеты были мы в ту пору всегда просто, но изящно.

Мне очень хотелось увидеть Льва Николаевича, но меня смущало то, что я не из Харькова, а из Чернигова и не являюсь настоящей представи-

тельницей делегации, а иду словно из любопытства. Но я надеялась, что нас много, и никто меня не заметит.

Читать адрес мы выбрали Дину Сумцову, потому что она была смелее всех, говорила с украинским акцентом и действительно была из гор, Харькова. Она была старше нас на два года, высокая, тоненькая, лицо у нее было худенькое, подвижное, глаза темные, нежные, гармонировали с приятным тихим голосом. Когда она воодушевлялась, то говорила как-то особенно, проникновенно и убедительно, и заставляла всех окружающих замолчать и слушать ее. До поступления на курсы, она уже два года была учительницей фабричной школы.

Как билось сердце, когда мы подошли к дому Льва Николаевича Толстого! Как было интересно и страшно! А мне было еще и совестно. Я вошла с трепетом.

Нас встретила Софья Андреевна. Она была в шумящем, сером, шелковом платье. Пытливо вглядываясь в нее, я слушала ее быструю, быструю речь. Она говорила о том, что Лев Николаевич примет нас, и что у них сейчас художник Репин и ряд гостей. Лицо у Софьи Андреевны было покрыто красными пятнами, и мне не показалось красивым, но вся фигура имела представительный вид. В ту пору много говорили о том, что личная жизнь Льва Николаевича противоречива с его учением, о недовольстве С. А. новым его направлением... Про себя знаю, что я никого из писателей не любила так, как Льва Николаевича, благоговела перед ним.

В комнате, куда мы вошли, за круглым столом сидел Лев Николаевич, а рядом с ним сидел Репин. За Репиным находился целый ряд лиц, среди которых я увидела курсисток княжен Оболенских, остальные слились в пятно. Рассаживаемся. Я в уголок, но увы! ко мне подходит Софья Андреевна, берет за руку и усаживает на кресло рядом с Репиным, против Льва Николаевича. Я вскакиваю, убегаю и прячусь поглубже, среди других, но вторично подходит ко мне безжалостная Софья Андреевна, берет за руку и на этот раз окончательно водворяет меня против Льва Николаевича. Я считаю, что моя шапочка, пирожок с белым перышком, привлекло ее внимание ко мне. Я и счастлива и залита огнем смущения. В ту пору я была очень застенчива, молода, наивна и провинциальна. Сердце билось, а внутри словно шептал голос: «Ты ведь не из Харькова, а из Чернигова, стыдно, стыдно». — «Скажите, пожалуйста, вы знаете в Харькове улицу Сумскую?» (это была главная улица Харькова), — обращается ко мне Лев Николаевич. Я смотрю в его бездонные, пронизательные, добрые, но какие-то особенно глубокие глаза, слушаю приятный, тихий голос, но мне кажется, что я сейчас провалюсь сквозь землю от стыда, от смущения. Мне кажется, что он угадал, что я не из Харькова, поэтому и задал такой вопрос. Вихрем мучительно проносится в мозгу это ощущение, и я хочу сейчас же сознаться в том, что мне слишком хотелось его видеть, почему я так нехорошо поступила, и попросить у него прощения, но вместо этого я лепечу в ответ что-то невнятное. И снова вижу добрые глаза и слышу второй вопрос: «А знаете ли Вы в Харькове» (он назвал фамилию, не помню какую). У меня уже готово слететь с моих уст признание о том, как я попала к нему, но (к счастью, к глубокому облегчению) Дина стала

читать адрес. Я, слушая адрес, тихонько рассматриваю Льва Николаевича, главным образом, но и Репина, который всматривался в делегацию, словно собираясь ее зарисовать. Репин показался мне в это время совсем молодым, с пышной шевелюрой, с бодрыми блестящими глазами.

Лев Николаевич был одет в блузу, руки были заложены за ремнем пояса, глаза мне казались серо-синими, глубоко сидящими, очень пристальными, лицо худым. Когда было закончено чтение адреса, Лев Николаевич стал говорить со всеми и расспрашивать о том, как все относится к общественным событиям последнего времени. Он не одобрял курсисток за то, что они участвовали в студенческих «беспорядках», затем он сказал о полученной им статье и не одобрил ее. Он находил, что наша интеллигенция ищет образцов в Западной Европе и что статья является собранием каких-то надуманных из английской конституции, в ней не чувствуется знания народа и жизни крестьянина.

Елизавета Петровна просит, чтобы он ей назначил время для беседы с ним по поводу этой статьи. Он соглашается, затем очень просто беседует со всеми, расспрашивает Жебуневых об их отце, о Харькове. К участию курсисток в студенческом движении относится отрицательно.

Когда мы с ним прощались, то окружили его. Вдруг Викторова выпаливает: «Лев Николаевич, так скажите же нам, что нам делать». Лев Николаевич находился в центре, окруженный нами. Он помолчал, потом вдруг улыбнулся и лукаво так сказал, обращаясь главным образом к Викторовой: «А вы, барышня, каждый раз сами постель себе стелите?» Общий смех, дружеский, веселый, мы жмем крепко ему руку и уходим, ошарашенные этим рукопожатием и ласковым приемом великого писателя земли русской, хотя и чувствуем, что не доросли еще до серьезной беседы с ним и умеем пока только любить и верить во все доброе, хорошее, лучшее, светлое.

Елизавета Петровна была у него, беседовала, но у меня не осталось воспоминания о том, как Толстой критиковал наше произведение, а вот о Дине он сказал: «Славная девушка».

Лев Толстой умер. Оторвалась целая огромная полоса русской жизни. Я стою потрясенная и ошеломленная этим известием. Фанна Б. протягивает мне билет. «Тамара, вы, я и М. едем в Ясную Поляну на похороны. Поезд отходит вечером. Приходите ко мне. Поедем вместе».

Вечером едем на вокзал. Большая толпа студентов собралась у вагона. Мы едем в теплушке ночью. Ни о чем не хочется говорить. От станции «Ясная Поляна» мы сопровождаем гроб в полном молчании, семья Толстого, крестьяне, группа студентов, курсисток, интеллигенции медленно движется к парку. Мы расположились в парке в полном порядке, но скоро построились цепью, которая прошла перед гробом, прощаясь с прахом великого писателя. Это прощание при полном молчании производило потрясающее впечатление.

Я присутствую впервые на гражданских похоронах. Как-то торжественно, хотя в то же время просто и величественно было это молчаливое

соединение людей. Только когда опускали гроб в могилу, пели вечную память, а затем снова наступило молчание, говорившее сильнее слов.

Бобырь Тамара И. — в 1901 г. слушательница московских Высших женских курсов Герье, готовивших учителей.

28. С. Н. ЭВЕРЛИНГ

Из бесед со Л. Н. Толстым

(Апрель 1901 года)

В угловой комнате Хамовнического дома горела настольная лампа под абажуром. Л. Н. Толстой сидел на своем любимом месте в углу дивана у печки с накинутым на плечи халатом. Бывший в комнате посетитель, сейчас не припомню кто именно, только что вышел, и мы остались вдвоем. Л. Н. только что оправился от своего обычного желудочного недомогания, продержавшего его в постели два предыдущих дня и, видимо, чувствовал еще некоторую слабость.

— Я всегда удивляюсь, — сказал Л. Н., как бы продолжая какой-то начатый про себя разговор, — как это люди не могут уяснить себе такой простой и ясной мысли, что ведь смерти в сущности нет, а есть только жизнь; что она только и действительна.

— Мне кажется, — попытался я возразить, — что происходит это от того, что за жизнь принимают не то, что она есть в своей сущности.

— Да, вы правы, — сказал Толстой, — и думаю, что так как большинству людей доступна только внешняя оболочка жизни, вся эта шумная суэта, которая слагается вокруг нашего эгоистического «я» с его никогда не удовлетворяемой цепью желаний и все вновь и вновь придумываемых нами для себя задач, вытекающих из нашего тщеславия и самолюбования. До истинного же зерна жизни, до той точки, где кончается наше жалкое, пустое «я» и начинается его слияние с высшей волей, большинство людей не в состоянии додуматься; им все некогда углубиться в себя, а ведь в этом углублении весь смысл подлинной жизни. Помните, это хорошо сказано у кого-то из старых отцов церкви.

— Вы, вероятно, разумеете слова Блаженного Августина, Л. Н., — сказал я, — *noli foris ira in te reddi, in interiore homine habitat veritas*, — и от внезапной мысли, знает ли Л. Н. эту латинскую цитату, я невольно покраснел.

— Да, да, — сказал Л. Н., как бы выводя меня из ложного положения, — именно не ходи во вне, углубись в себя — и тебе откроется истина. Это хорошо сказано и это-то особенно нам нужно; а между тем мы все делаем для того, чтобы этого только не делать; мы точно боимся остаться одни, точно боимся себя самих и всю свою жизнь строим на том, чтобы уходить от себя, создавая себе те ненужные формы общения, которые только удаляют нас друг от друга, вместо того, чтобы сближать, и удаляют вместе с тем от истины. Люди, казалось бы и умные и образованные, сочиняют себе всевозможные, никому в сущности ненужные теории общежития, разные экономические учения, все более и более разобщающие людей, вместо того, чтобы соединять их, и, ссылаясь на ложную науку, видят во всем этом глубокую мудрость. А между тем отбросьте только эти разобщающие людей учения и поймите, что только в умении

не признавать тех границ, которые отделяют мое «я» от других людей, в умении слиться с ними, творя единую общую для всех высшую волю, весь смысл жизни — и тогда разрешатся все противоречия и люди сумеют найти душевный покой и будут счастливы.

— Но как Вы смотрите, Л. Н., на вопрос о личном бессмертии? — спросил я.

— Личного бессмертия не может быть, — сказал Л. Н., подчеркивая эти слова, как давно придуманную им истину. — Ведь личность есть ограниченное условиями нашего временного здесь существования проявление вечной духовной сущности, а потому с устранением их должно устраниться и сознание нашей обособленности; вступая со смертью в новую форму жизни, мы теряем сознание нашего обособленного «я», свойственного нам в условиях здешней жизни, сохраняя лишь ничем не устранимое сознание неуничтожимости нашей внутренней духовной сущности. Вечно и неуничтожимо только то, что отрицает эту обособленность, что помогает нам сознавать наше единство с другими людьми и высшей волей, сознание это есть любовь. Для меня это совершенно ясно: я не могу дорожить своим ограниченным «я», своей личностью, и расширяя ее до пределов слияния с вечной божественной волей, я теряю ее и вместе с тем достигаю высшего доступного мне счастья, проистекающего от уверенности в том, что я творю уже не свою ограниченную волю, а вечную божественную волю, и чем более я сознаю в себе умение творить ее, тем я ближе стою к сознанию своего бессмертия, как истинно духовного существа.

— Если Вы так смотрите на этот вопрос, — сказал я, — то значит, Вы отрицаете и свободу воли, как она трактуется современными философами и психологами.

— Вы совершенно правы, — сказал Л. Н., — и я не раз говорил об этом покойному Н. Я. Гроту, когда по его инициативе в Московском Психологическом Обществе усердно обсуждался этот вопрос и учеными самых разнообразных направлений, вплоть до материалистов-психиатров и пр[очих] детерминистов, будто бы исчерпавших весь вопрос, немало писалось статей на эту тему. Я считаю, что Кант (и за ним Шопенгауэр) был совершенно прав, когда, выражаясь своим тяжелым неуклюжим языком, упорно стоял на признании того, что он называет ноуменальным характером в человеке. Этот ноуменальный характер и есть не что иное, как проявление в ограниченной личности «я» скрытой высшей божественной сущности. Человек имеет возможность лишь в одной доступной ему форме проявлять этот ноуменальный характер в условиях здешней жизни, — любовь, которой Христос зажег мир, и есть эта форма; наш долг и обязанность поддерживать этот огонь в мире и в сущности ничего другого ему и не нужно делать.

Не раз говорили и говорят о каком-то особом моем учении. Но это неправда, учение это не мое, а Христа, я только старался изложить его так, как я его понимаю, стремясь снять с него ту вековую ложь, которой оно в течение столетий обросло, благодаря лжеучением различных церквей и исповеданий.

В это время слуга принес Л. Н. и мне чай на подносе: к дивану он подвинул маленький столик, и мы принялись за чай.

— Мне кажется, — сказал я, продолжая прерванный разговор, — что хотя обыкновенно и проводят резкую границу между двумя периодами Вашей писательской деятельности, но по существу ее в действительности нет и между тем и другим существует тесная органическая связь и преемственность.

— Конечно, это искусственное деление — как искусственно все, что пишут критики и историки литературы. В действительности было лишь то, что в начале восьмидесятых годов во мне произошел духовный перелом и мне в совершенно новом свете представились мои писательские задачи: но конечно и во всех моих писаниях до этого времени Вы найдете те же мысли и чувства, которые за последние двадцать лет получили лишь более законченное выражение и направление, мою работу по новому пути, подготовленному постепенно всей предыдущей духовной работой над собой и своими писаниями. Ведь, знаете, мысль о том, что смерти в сущности нет, мне с совершенной ясностью пришла в голову еще очень давно. Было это тогда, когда умер мой старший брат Николай¹, хотя она и показалась мне тогда резко противоречащей всему, что мы привыкли думать и что мне приходилось слышать от окружающих о смерти. И потребовалась большая душевная работа, пока она стала для меня очевидной: так и во многом другом.

При этом Л. Н. стал говорить о том, как вообще его мало понимают и как его это огорчает в особенности в тех случаях, когда он встречает непонимание со стороны людей, от которых он всего менее мог бы этого ожидать. Как на доказательство этого непонимания он сослался на получаемые им письма, очень многие из которых ему, благодаря этому, приходится оставлять без ответа.

Разговор мало-помалу перешел на новые течения в философии и на университетскую науку вообще, когда в соседней столовой послышались шаги идущих к нам посетителей. Это был, помнится, Н. Н. Раевский, председатель тульской губернской Земской управы, и кто-то из родных Л. Н.

Раевский стал рассказывать о земских делах, о земской медицине, о недоверии крестьян к ней, их все еще проявляющейся склонности к знахарству и прочему.

Я не помню уж в точности дальнейшее содержание беседы, не затрагивавшей интересовавших меня тем, и поэтому ввиду наступления одиннадцатого часа, когда Л. Н. обыкновенно уходил к себе, я поднялся и стал прощаться. Л. Н., прощаясь со мной, стал подыматься, чтобы по своему обыкновению проводить до прихожей, но я просил его не беспокоиться, тем более, что он чувствовал себя не совсем здоровым. Но он с ласковой улыбкой проговорил: «Нет, ничего, ничего», и все-таки прошел со мной по столовой, причем сказал мне: «Мы с Вами не кончили нашего разговора о том, что есть нового в философии; я прочел последнюю книжку Mind и мне хотелось бы услышать от Вас что-нибудь об англичанах и американцах, о Sully, Sidgwick'e и в особенности о James'e. Если Вы со-

беретесь как-нибудь прочесть мне лекцию о них, я буду очень рад». — добавил Л. Н., смеясь. На этом мы простились. Очутившись, когда слуга запер за мной дверь, среди благоухающей тишины апрельской звездной ночи, я решил идти пешком, хотя и жил на противоположном конце Москвы. На душе было ясно и тепло, а настойчивая работа мысли, возбужденная во мне беседой со Л. Н., сделала кратким мой длинный путь по пустынным улицам затихшего в ночном покое города.

Эверлинг Сергей Николаевич (1875-?) окончил историко-филологический факультет Московского университета, при котором был оставлен для подготовки к ученой деятельности. Помогал с корректурами книги «Что такое искусство?», печатавшейся в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897-1898). Впоследствии директор московской гимназии имени Медведниковых, позднее — Дворянского приюта в г. Орле. Познакомился с Л. Н. Толстым через своих дальних родственников Анненковых 1 февраля 1901 г. и затем еще несколько раз бывал в Хамовниках. В записной книжке Толстого (февраль 1901 г.) есть запись, сделанная рукой Эверлинга: «...Взял «Philosophic Essays» A. Spir, 4 тома Сергей Николаевич Эверлинг. Разгуляй. Аптекарский пер., д. Михайлова, кв. 1» (ПСС, Т. 54, С. 237).

В архиве Н. Н. Гусева сохранились два варианта воспоминаний, автор которых до сего времени не был установлен. Одна рукопись, чернилами, датирована 8 сентября 1920 г.; вторая, написанная карандашом, имеет неразборчивую подпись. Автора первых воспоминаний помогла определить упомянутая выше пометка в записной книжке Толстого (о книгах философа А. А. Шпира рассказывается в тексте). Автора вторых воспоминаний — подпись в письме С. Н. Эверлинга к Толстому 21 и 22 марта 1901 г., где Эверлинг обращается за помощью в разрешении трудных для него жизненных вопросов: «Мне едва ли удобно будет утруждать Вас письменным ответом. Быть может, лучше будет, если я зайду к Вам на днях вечером — это время для Вас более удобное, как Вы мне как-то говорили» (ГМТ). Об одном таком вечере Эверлинг и пишет в воспоминаниях, относящихся к апрелю 1901 года. По всей видимости, они набросаны (рукопись черновая) непосредственно после посещения Толстого; нигде не публиковались. Воспоминания же, написанные в сентябре 1920 г., опубликованы по-английски в 1923 г.: S.N. Everling, 'Three evenings with Count Leo Tolstoi'. — *The Nineteenth century and after*. N.J. 1923, vol. 93, pp. 786-92, 841-49. Отрывки в обратном переводе: «Литературная Россия», 1976, 16 апреля.

¹Н. Н. Толстой умер в курортном городке Гиере 20 сентября 1860 г. Ему было 37 лет. Во время похорон брата Толстому пришла мысль «написать материалистическое Евангелие — жизнь Христа материалиста» (ПСС, Т. 48, С. 30).

29. Н. Л. АРОНСОН

Воспоминание об акушерке

Лето 1901 года. Мы сидим за большим обеденным столом на открытом воздухе под деревом вблизи веранды. Л. Н. недавно после болезни был на диете и каждый раз, поднося ложку ко рту, с опаской поглядывал на С. А., не много ли он ест, не лишнее ли он берет.

— Ну, ну, Левочка! — говорила она ему. — Ты не очень. Прими лучше капель.

И она поднесла ему коричневую бутылочку и счетом накапала в ложечку капель. Л. Н. покорно выпил, поморщился и, утирая губы, зашептал:

— А хорошо быть в тюрьме, право!

— Т. е. что ты хочешь этим сказать? Что лучше быть в тюрьме, чем здесь? — и ласково и обидчиво сказала С. А.

Л. Н. усмехнулся:

— Угадай.

И со свойственным ему одному умением владеть темой разговора, он перевел беседу на лишение свободы вообще. И когда разговор стал общим, речь зашла о лишениях и гонении евреев.

С. А. оживилась.

— Вот, вот! — подхватила она и обратилась ко мне. — Я много слышала об этих ужасах, но сама в жизни никогда не сталкивалась с таким случаем и просто не верила, что может быть такое зверство, чтоб не позволяли человеку жить в таком большом городе, как, например, у нас в Москве, и не позволяли бы только потому, что человек этот другой веры. Теперь я это твердо знаю и до сих пор не могу прийти в себя от волнения и негодования, когда вспоминаю подробности этого «дела». Было так. Приехала зимой в Москву знакомая еврейка держать экзамен на акушерку при университете. Она в провинции прошла курс где-то в школе, практиковала и делала приемки, какие полагаются, и потом прибыла в Москву «контролироваться», как это называют, и получить диплом акушерки из университета. Но, только она подала свои бумаги и стала готовиться к экзамену, как вдруг приходит полиция к ней на квартиру и заявляет, что она должна выехать немедленно из Москвы в 24 часа, и показали ей штемпель на ее документе. Обезумевшая от горя, прибегает она ко мне. Вся в слезах, измученная. Давняя моя знакомая, красивая, дивная женщина, много перенесшая личного горя. Плачет, как ребенок.

— Вы понимаете, — говорит она, — ужас моего положения! Когда я выдержу экзамен, я, как акушерка, могу жить везде, где хочу, и в люксе тоже, но чтобы держать экзамен, для этого я должна иметь правожительство...

Признаюсь, я ничего не понимала в этой сложной юриспруденции и видела только горе близкой мне и хорошей женщины, добывавшейся самостоятельного труда, и видела, что горе это причиняют какие-то люди.

которые называются полицией, да еще какое-то страшное, глупое, нерусское и нечеловеческое слово: «правоительство».

— Не может быть! Не может быть! — утешала я ее и сама видела, что мое утешение слабо. А она ломает в отчаянии руки и говорит: «Убью себя! Я не переживу!»

Тогда я решилась и говорю ей:

— Оставайтесь у меня, а я еду к градоначальнику!..

И поехала. Градоначальником был тогда Трепов. Он тотчас принял меня, любезный, галантный, предупредительный; но, когда выслушал, в чем дело, он сразу изменился, насупился, сделался серьезный.

— К сожалению, графиня, — изогнулся он как-то неловко, — я тут ничем помочь не могу. Закон!..

— Какой закон!? — приступила я к нему. — Что вы говорите? Разве может быть такой закон, по которому нельзя жить?..

Он сострадательно улыбнулся:

— Вы хорошо сказали, графиня: «Нельзя жить». Именно. Но что же делать?!

— Разрешите ей пробыть это время. Ведь потом она будет иметь все придуманные вами права.

— Не могу! — отрезал он.

— Ну, а если найдутся в Москве такие, которые возьмут ее к себе и дадут ей прожить это время..

— Это невозможно. Они будут отвечать, а еврейка будет выселена.

— Ну, так знайте же! — сказала я. — Она будет у меня жить. Я готова отвечать. Но посмотрим, как вы ее будете выселять из моего дома!..

И ушла. Приезжаю домой и говорю ей:

— Перевозите вещи сюда и живите здесь!

Она оторопела и долго, долго не соглашалась.

— Не хочу, — говорит. — Вы отвечать будете за меня.

Но я настояла и она к нам переехала и пробыла все время, сколько ей надо было.

Я ждала, чтобы пришла полиция, готовилась к самым решительным атакам, но, представьте, ни одна ... особа не явилась. Трепов струсил.

Л. Н. после, когда мы с ним были одни, сказал по этому поводу:

— Это было гордо и красиво. Я сам заражался этим чувством и не знаю, не ручаюсь за себя, что бы я сделал, если бы наш дом обложили опоясанные мечами люди и потребовали бы выдачи той!.. В Соне это был такой натуральный, такой сильный, молодой, захватывающий порыв, что я, старый-старый человек, чувствовал, что и в моих жилах переливается что-то молодое, вызывающее. И я многое ей простил...

В рукописи автор не назван. Можно предположить, что им был скульптор Наум Львович Аронсон (1872-1943). В середине июня 1901 г. он жил в Ясной Поляне, где лепил бюст Л. Н. Толстого. Помимо этих воспоминаний, в архиве хранится машинопись воспоминаний Аронсона, которую Н. Н. Гусеву прислал в 1962 г. А. В. Храбровицкий по просьбе знакомых журналистов М. Долинского и С. Черток. Они осведомлялись, были ли напечатаны эти воспоминания в России. Храбровицкий писал Гусеву, что журналисты получили эти воспоминания из Парижа от племянницы Аронсона Любови Лазаревны (опубли-

кованы в журнале «Вопросы литературы», 1965, № 5). Во вступлении к публикации сказано, что оригинал был написан по-французски черными чернилами на одной стороне девяти листов стандартной линованой бумаги. Точно так же и на такой же бумаге написаны и печатаемые здесь воспоминания неизвестного лица, что позволяет предположить, что их автор — Н. Л. Аронсон.

В воспоминаниях идет речь о хорошо знакомой семье Толстых Э. Б. Файнерман, жене толстовца И. Б. Файнермана (впоследствии под псевдонимом Тенеромо написал ряд статей и книг о Толстом). Образ жизни, который вел Файнерман, нигде не служивший и не заботившийся о жене с двумя детьми, совершенно измучил его жену, и в мае 1887 г. она развелась с мужем. В ее судьбе большое участие принимала С. А. Толстая (см. Толстая С. А. «Письма к Л. Н. Толстому». Москва-Ленинград, 1936. С. 383), ездившая к московскому полицмейстеру А. А. Власовскому (не Трепову).

30. С. М. РАТОВ День с Толстым

В 1902 г. Л. Б. Яворская просила известного художника К. В. Изенберга, безвременно скончавшегося, и меня поехать в Ясную Поляну, чтобы ознакомиться с бытом крестьян Тульской губернии и добиться свидания со Львом Николаевичем: она надеялась, что автор «Власти тьмы» даст нам ценные указания для постановки его произведения на сцене Нового театра. Мы остановились в том деревенском домике, где обыкновенно останавливаются яснополянские паломники. Мы решили послать наши карточки с крестьянской девочкой, которая обыкновенно ходила с подобными поручениями в графский дом: она должна была спросить, когда угодно будет принять нас Льву Николаевичу. Не без трепета ждали мы ее возвращения: минут через 20 вернулась девочка и передала, что граф ждет нас сейчас. С чисто юношеским волнением мы оба с К. В. Изенбергом шли по парку усадьбы, у ворот нас встретил казачок, а на террасе степенный лакей с серьезным лицом сказал нам: «Граф просит подняться в кабинет, они сейчас будут». Лакей повел нас через переднюю и указал узкую лестницу вверх. Мы очутились в более чем скромной рабочей комнатке великого человека. Бросилась в глаза полка с книгами, простой стол, одно кресло и стулья, что-то еще стояло, кажется, какой-то рабочий станок. Принято думать, что обстановка очень важна для характеристики человека, — вот мы и решили внимательно осматривать все предметы, окружающие Толстого, чтобы лучше запечатлеть в уме все малейшие подробности его быта, но, странно, потом, уезжая из Ясной Поляны, я все забыл: и комнату, и мебель, и что на стенах висело, но облик Льва Николаевича помню до сего времени, помню каждое движение, походку, помню его лицо, морщинки на лице, самый звук его голоса...

Вот послышались шаги где-то внизу, затем по лестнице торопливые шаги...

— Идет, — прошептал Изенберг. Сердце забилося сильнее и еще миг — и перед нами Толстой...

В первую минуту он мне показался сгорбленным стариком, ниже среднего роста, с опущенной, слегка взлохмаченной головой, стариком скорее слабым, чем бодрым, но вот он поднял голову, и я увидел лицо... Такого лица забыть нельзя. Судя по рисункам и портретам, я ожидал встретить лицо суровое, с выражением сосредоточенным и даже фанатичным, но все фотографии, рисунки не смогли передать того, что в этом лице было. Только Репин, в его последнем портрете с этими плачущими глазами, уловил его духовную сущность, его внутреннее сияние¹. Когда Толстой молчал, эти плачущие глаза, слегка расширенные, глядели в душу с каким-то задумчивым вопросом, они словно жалели и прощали кого-то. Когда он говорил, из этих глаз исходили какие-то лучи, и все лицо сияло редкой добротой, именно добротой, а не добродушием; когда он шутил

или улыбался, глаза мгновенно становились жизнерадостными, детски-беззаботными: во всем его облике и в манере говорить и слушать и в самых интонациях его речи чувствовалось: этот человек знает что-то одно сокровенное, важное и этому одному он верит и служит, как будто он постоянно прислушивается к какому-то внутреннему голосу; все остальное в мире он понимает, допускает, но считает преходящим, внешним.

Лев Николаевич взглянул на нас, слегка нахмурился и старческим мягким голосом проговорил:

— Чем могу служить, господа?

Я страшно смутился и пробормотал: «Ничем, граф. Мы приехали в Ясную Поляну по делу, хотели повидать вас и привезли вам поклон от князей Барятинских».

Лев Николаевич, увидев наше смущение, ободряюще улыбнулся и взглянул на меня зорко и ласково.

— Садитесь, господа, спасибо за поклон, и от меня кланяйтесь. Барятинские у меня тут были недавно²...

Мое смущение прошло каким-то чудом, мне стало вдруг легко и хорошо на душе, показалось, что я очень давно и близко знаю этого необыкновенного, всем нам родного старика.

Ободренные вниманием, словно опьяненные присутствием Толстого, мы с Изенбергом наперерыв стали рассказывать о своих делах и планах, о предстоящей постановке «Власти тьмы» в нашем Новом театре на Мойке.

— И московские артисты Художественного театра тоже «Власть тьмы» ставят³, — сказал Лев Николаевич, и как-то особенно лукаво и благодушно улыбнулся; помолчав, добавил, с наивностью настоящего художника:

— Да ведь они меня изменяют... Да, да, они меня подправляют... Что поделаешь?!.. А вы меня, господа, подправлять не будете? нет?

И он засмеялся хорошим светлым смехом, от которого нам стало весело.

— Не собираемся, Лев Николаевич, — ответили мы одновременно с Изенбергом.

Затем Толстой стал вдруг серьезным, переходы из одного настроения в другое являлись легко и внезапно, как у всех богатых натур.

— Какого вы мнения о Станиславском? — спросил Толстой, обращаясь ко мне.

Я высказал свой взгляд на знаменитого режиссера довольно пространно, указав и положительные и отрицательные стороны его школы...

— А по-моему, Станиславский отодвинул искусство лет на 10 назад.

Слова эти — подлинные. Я записал их стенографически точно и передаю их здесь, какими бы странными и не соответственными духу нашего времени ни казались они нашим театрам...

— В его театре много внешнего, — продолжал Толстой, — много роскоши в декорациях, обстановке, много ненужных подробностей, мелочей... Все это заслоняет актера... Души нет, темперамента, подъема...

Надо заметить, что этот разговор происходил 10 лет назад, в период увлечения Станиславского режиссерскими трюками, когда он еще не думал возвращаться к актеру.

— Трудная вещь — искусство, — добавил Лев Николаевич после некоторого раздумья, — гораздо труднее, чем думают.

Тут он вдруг оживился; глаза юношески блеснули, и он стал поглаживать рукой руку, это был его всегдашний жест, когда он что-нибудь обдумывал.

— Искусство не терпит посредственности. В науке — другое дело, там посредственность допустима; можно собирать материалы — и то будет польза. А в искусстве нет... да, искусство не терпит посредственности, — повторил Толстой, как бы отвечая своей затаенной мысли.

Эти слова тоже подлинны и точны и записаны мною в Ясной Поляне.

Лев Николаевич легко и свободно вошел в круг наших интересов, не помню в каких выражениях, стал расспрашивать о наших занятиях, о моем решении идти на сцену, спросил, что меня, главным образом, звало к театру, и многое другое, что касалось меня лично. К. В. Изенберг стал говорить за меня. Лев Николаевич внимательно и сочувственно слушал. Когда он слушал, голова его склонялась несколько набок, а глаза глядели в упор говорящему, но это не смущало, а, напротив, ободряло даже.

— Да, призвание — великое дело! — как-то мечтательно-тихо сказал Лев Николаевич... — Когда мужчина идет на сцену, я верю, что тут влечение, а женщина — нет... Женщина выступает на подмостках, чтобы показать свое тело!..

Он проговорил эти слова резко и нахмурился, затем покачал головой и прибавил:

— Нехорошо это, нехорошо...

И вдруг оборвал, точно ушел в самого себя, пожал плечами и проговорил более мягко:

— Впрочем, может быть, есть исключения...

На лицо Льва Николаевича набежали густые тени, затем в глазах мелькнули какие-то теплые лучи...

— У меня тут был один недавно, — как бы несколько смутившись, произнес он, — актер был, из провинциальных, веселый парень, бодрый. Пришел пешком, с котомкой, немножко навеселе был, остроумный такой, беззаботный, славный. Он мне понравился, фамилию его я забыл. Много он мне рассказывал тут про себя и про театральные нравы и все так просто, без стеснения...

— Нет, у вас на сцене много соблазнов, греховного много, да и пьесы пишут нынче такие, не с хорошей целью пишут... Фарсы, плотская любовь, вообще театр наш теперь не за добром идет...

Я заметил, что театр нужен народу, а не усталому, избалованному интеллигенту...

— Да, театр нужен народу, это правда, — сказал Толстой. — Да и писать надо пьесы не так, как пишут. Это совсем особенное искусство; там не надо выписывать подробностей и психологических тонкостей — все это лишнее. Надо писать резкими штрихами; надо, чтобы выступило вперед все главное и необходимое, чтобы всем понятно было; надо вызвать в душе добрые чувства, волновать, потрясать ими...

Слова эти у меня записаны, в общем, с приблизительной точностью. Многое упущено, сознаюсь, не вместила память.

Боясь утомить радушного хозяина нашим присутствием, мы стали откланиваться, но хозяин не пустил.

— Нет, вы будете у меня чай пить.

Он произнес эту фразу с какой-то веселой, старческой лукавой лаской.

— Скажите Софии Андреевне, у нас будут гости к чаю, — проговорил Лев Николаевич, подойдя к двери.

Мы сошли в гостиную, которая служила и столовой. Лев Николаевич познакомил нас со своими домашними: Софьей Андреевной, с дочерью Марьей Львовной, теперь уже покойной, с ее мужем — князем Оболенским, и с сестрой своей — монахиней Марьей Николаевной. За чаем разговор зашел о наших общих петербургских знакомых, о сыне Льва Николаевича — Льве Львовиче и других. Разговор этот я опускаю, он имеет личный характер.

Лев Николаевич сначала ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за пояс и раздумчиво склонив голову, затем взял стул и сел почти посредине комнаты и все время наблюдал за нами во время разговора...

На следующий день мы должны были обедать у Льва Николаевича, а утром Мария Львовна пригласила нас к себе: позвала несколько крестьянок, мы слушали их песни и записывали их, кстати рассматривая их одеяния. Перед самым обедом разговор зашел о скульптуре.

— Вы меня извините, — говорил Лев Николаевич, поглаживая рукой руку, — не признаю я в наше время скульптуры: это — искусство древних; теперь оно отжило свой век и ни на что не нужно; живопись — другое дело, оно может отражать самую разнообразную жизнь и вполне может заменить скульптуру.

К обеду пришел доктор (фамилию его не помню⁴). Молодой человек с приятным и спокойным лицом. Лев Николаевич обращался к нему, когда разговор касался тем политических или общественных. Даже когда сели за стол, Лев Николаевич держал книгу какого-то английского писателя и переводил ее à livre ouvert. В книге говорилось о браконьере, которого хотели арестовать за то, что тот охотился в лесу какого-то лорда. Браконьер отговаривался тем, что лес этот принадлежит Богу, а не лорду, и поэтому является общим достоянием. Софья Андреевна вскоре прервала этот разговор, круто переменяя тему.

— Мы сегодня утром не мешали тебе работать своей музыкой? — спросила она Льва Николаевича.

— Нисколько, — отвечал Толстой.

— Мы играли с Марьей Николаевной в четыре руки.

— Около двух часов играли, даже с лишком, — заметила Марья Николаевна.

— А почему же не играть? — успокаивающим тоном, каким говорят с детьми, проговорил Лев Николаевич. — Музыка, да еще классическая, — в монастыре можно заниматься музыкой, не правда ли, Машенька?

За обедом Лев Николаевич то и дело угощал нас и был недоволен, если мы отказывались от какого-нибудь блюда.

— А зачем не кушаете рыжиков? рыжики славные...

Сам он ел немного и быстро, а когда кончал есть, то порывисто отталкивал от себя тарелку. После обеда Лев Николаевич стал играть с Изенбергом в шахматы, а я подсел к Софье Андреевне. Мы говорили о Фете, о Горьком, о Чехове. Подали кофе. Софья Андреевна делилась своими воспоминаниями о знакомых писателях, делала подробные характеристики. Лев Николаевич время от времени вставлял свои замечания. Между прочим, отозвался о Чехове как о большом художнике и по преимуществу лирике.

Игра была окончена. Лев Николаевич выиграл и, по-видимому, был очень доволен.

— Вы меня извините, я тут при вас прилягу на диване.

В это самое время Марья Николаевна подошла к нам с каким-то вопросом. Мы с Изенбергом, конечно, встали, когда она приблизилась.

— А вот молодые люди нынче не встают перед женщиной: презрение, что ли, они показывают, или просто не воспитаны... Да, воспитание иной раз не лишнее, особенно если оно дает уважение к женщине.

От знакомых поэтов и художников разговор перешел к декадентам. Лев Николаевич даже с дивана привстал и заохал совсем по-старически.

— Господи, что они едят, эти господа! Что едят! и все по-нарочному, что-то они на себя напускают!.. Сумбур какой-то!.. а может быть, просто больные люди... Бог их знает, только все их слова ни к чему...

Я заметил, что у декадентов не бывает никогда юмора, и это очень важно, потому что показывает отсутствие настоящего природного дара.

— Юмор — вещь редкая, — заметил Толстой, — и не всем талантам дается.

Затем разговор перешел на постановку «Власти тьмы». Мы просили Льва Николаевича дать нам какие-нибудь руководящие указания.

— Какие же можно дать указания в этом деле? Право, не знаю. Играйте как написано, — вот и все. Только не сгущайте красок: действующие лица все ясны. Никита должен быть красивым, ловким парнем, щеголем, деревенским Дон-Жуаном, но в глубине души парень он не дурной... Матрену, говорят, играют злодейкой... Не знаю, нужно ли это. Стрепетова хорошо играла, судя по отзывам⁵, только лучше играть ее не понимающей, что она делает. Вот Анютку сыграть трудно... Есть ли у вас такая Анютка? Надо, чтобы она ребенком казалась; побольше непосредственности надо; вообще, все бы проще, лучше будет.

Я поинтересовался насчет Акима.

— Аким — невзрачный мужичонко, — сказал Толстой, — а чистота души должна быть голубиная такая.

— А как насчет речи!? — спросил я, — он заикается немного... (Признаюсь, нас в то время привлекало внешнее воспроизведение роли).

— Да, он не казист и вообще и в речи не казист, хочет сказать много и понимает много, а слов настоящих не знает, вот язык его и не слушается...

— Быть может, вы имели кого-нибудь в виду, когда писали? — заметил Изенберг. — Хорошо бы найти здесь, в Ясной Поляне, подходящий облик, «натуру» для Акима.

Живо помню, как Лев Николаевич улыбнулся: так улыбаются детским затеям, когда не хотят опечалить детей.

— А, вот что вы хотите!.. Понимаю, ну, что ж, здесь есть такие...

— Здесь есть двое: один — мой приятель Семен, — тут Лев Николаевич упомянул его прозвище, которое я забыл, — и внешность подходит, только пьяница большой...

В тоне, которым говорил Лев Николаевич про мужика, слышалась трогательная нежность.

— А вот есть и другой — Яков; этот поостепеннее будет: и речь у них пригодится, и обличье подходит...

— Но мой приятель — Семен, пожалуй, поярче будет, потешный он мужичонко. Самобытный такой и хороший, только пьяница. Будет вам рассказывать, что я его старше, но вы ему не верьте.

Весь следующий день мы провели в изучении природы и быта. Я разговаривал с мужиками, а Изенберг их зарисовывал. Разыскали обоих «Акимов». Степенный Яков старался казаться серьезным, не то робел, не то ушел в себя, о Льве Николаевиче отозвался с большой похвалой, говорил мало, и речь его была не особенно свободна. Приятель Льва Николаевича, Семен, был сильно навеселе, размахивал руками, потешно шевелил пальцами, речь его была с растяжкой на последнем слове. О Льве Николаевиче он заявил:

— Граф — старик разумный, совестливый, и мир его ценит... Только, барин, вы графу не верьте, что он моложе меня, — врет он, годов на пять старше будет, верное мое слово.

К вечернему чаю мы снова попали к Льву Николаевичу, который встретил нас с веселым вопросом:

— Ну, как Акимы, понравились ли они?

Мы показали зарисовки изб и типов крестьян. Лев Николаевич попросил меня скопировать речь и движения Семена и Якова. Я охотно и без стеснения исполнил его желание. Автор «Власти тьмы» меня одобрил и сказал:

— Ну, это у вас выйдет, я вам предсказываю.

Увы, Лев Николаевич был плохой предсказатель. Вообще, относительно постановки «Власти тьмы» в Новом театре надо заметить, что Изенберг блестяще исполнил свое дело: декорация вышла на славу, костюмы прислали из Ясной Поляны, мы добросовестно взяли все внешнее, много репетировали, было много работы; одного не было — души в исполнении; все играли посредственно, а я, вероятно, бессознательно запомнил, что искусство не терпит посредственности, сыграл ниже посредственности⁶...

Я заметил, что все, кто побывали в Ясной Поляне, вынесли яркое и глубокое впечатление и не вследствие обаяния имени и таланта писателя земли русской было это впечатление. Нет, это было обаяние великой чистой души, и я знаю, что всем, кто раз видел Толстого, вспоминая о

нем в иные минуты, хочется порою уйти от пошлой шумихи нашей жизни. Хочется хоть на миг стать чище и лучше.

Ратов Сергей Михайлович (?-1924) — режиссер и актер Нового театра в Петербурге. Вместе с художником К. В. Изенбергом приехал в Ясную Поляну 15 августа 1902 г. и пробыл следующий день. 4 сентября в газете «Русское слово» была помещена краткая заметка об этом посещении (см. «Интервью и беседы с Львом Толстым». Москва, 1986. С. 177).

Хотя мемуары печатались в 1912 г. (газ. «Солнце России», №146 от 7 ноября), здесь они воспроизводятся по машинописи, сохранившейся в архиве Н. Н. Гусева.

¹См. прим. 1 к воспоминаниям В. Ф. Лебедева (№22).

²Новый театр в Петербурге принадлежал артистке Л. Б. Яворской и ее мужу, писателю кн. В. В. Барятинскому.

³Позднее К. С. Станиславский писал об этом спектакле 1902 г.: «Продолжая искать новое, я не мог примириться с шаблоном театральных мужиков. Хотелось дать подлинного мужика и, конечно, не только по костюму, но главным образом по внутреннему складу. Но в результате вышло иначе. Духовной стороны пьесы мы, актеры, не дали, не сумели, не доросли еще до нее и, чтоб заполнить пробел, как всегда бывает в этих случаях, перепустили внешнюю, бытовую сторону. Она осталась неоправданной изнутри, и получился голый натурализм. И чем все это было ближе к действительности, чем этнографичнее — тем было хуже. Не было душевной тьмы, и потому внешняя, натуралистическая тьма оказалась ненужной: ей нечего было дополнять и иллюстрировать. Этнография завила актера и самую драму» (Станиславский К. С., Собр. соч. в 8 тт. Т. 1. Москва, 1954. С. 259-60).

⁴Д. В. Никитин (1874-1960), домашний врач Толстых в 1902-1904 гг.

⁵Н. А. Стрепетова играла Матрену в спектакле петербургского Театра Литературно-артистического кружка (преьера 17 октября 1895 г.).

⁶Представление «Власти тьмы» 15 сентября 1902 г. открыло сезон в Новом театре. С. М. Ратов играл Акима. В Государственном музее Л. Н. Толстого сохранились фотографии этой постановки.

31. А. Г. РУСАНОВ

Поездка в Ясную Поляну

1-го июня в воскресенье был у Льва Николаевича. Когда спросил везшего меня со станции кучера Адриана про здоровье, тот мне говорит, что «все благополучно, а на днях мы ездили с графом к Сергею Николаевичу за 50 с лишком верст. Лев Николаевич ехал попеременно то верхом, то в экипаже, чередовался с доктором¹» и доехали они совершенно благополучно. Обрато Л. Н. вернулся по железной дороге.

Как оказалось потом из разговоров в Ясной Поляне, поездка была вызвана следующим обстоятельством. Л. Н. получил известие от брата, что он заболел, а племянница Л. Н-ча сообщала ему, что брат и слышать не хотел о приглашении доктора, а так как положение могло быть серьезным, то она просила придумать, нельзя ли как-нибудь под благовидным предлогом прислать врача Л. Н-ча. Л. Н. не нашел более благовидного предлога, как приехать самому в сопровождении врача, который и оказал соответствующую помощь.

Л. Н. находится в чрезвычайно бодром и здоровом состоянии. Утром, когда он вышел ко мне вниз на террасу, то я был просто поражен его свежестью и бодростью. Так как до выхода Софьи Андреевны неизвестно было, могу ли я остаться в Ясной на весь день (у Коли была корь, а в этот день ждали внуков), то Л. Н. изменил своему правилу совершать утреннюю прогулку в одиночестве, и мы пошли вместе в лес. Л. Н. стал расспрашивать меня о деревне, и мы стали говорить о таких интимных вещах, которые я сейчас описать не могу. Затем я рассказал Л. Н-чу проект своего письма, которое я ему не отослал, с предложением организовать комитет общественного спасения. Мое предложение состояло в том, чтобы воспользоваться письмом Л. Н. к государю², если бы он сам не захотел, и обратиться с этим воззванием к министрам и прочим государственным деятелям, а также к революционерам и недовольным правительством группам, и выяснить им, как бесцельно, с одной стороны, управлять страной, подавляя всю самостоятельность общественных стремлений, а с другой стараться овладеть правительством насилиями и создать новое для того, чтобы новое продолжало в том или ином виде политику старого. Л. Н. говорил, что идея эта не нова, что в этом состояла мысль декабристов, которые тогда так жестоко поплатились, и мысль, которая была извращена совершенно случайным бунтом в Петербурге, и что в настоящее время, вероятно, это не было бы принято правительством так, как тогда, и что комбинация эта, пожалуй, возможна. Через несколько времени он самостоятельно опять вернулся к этому и говорил, что, пожалуй, это необходимо было бы сделать.

Затем Л. Н. стал говорить о своих работах, что он окончил послесловие к рабочему народу³, занимается «Хаджи-Муратом» и все старается выяснить личность Николая I.

Вечером он подробно стал говорить о Николае и о сербском перевороте⁴. Когда я ему напомнил один из последних фельетонов в «Новом Времени», где говорилось, что Николай ничего не знал о завещании Александра, по которому он назначался наследником престола, Л. Н. с живостью перебил меня, что все это ложь, что Николай прекрасно это знал и все время играл комедию. Ему страстно хотелось власти, и как это бывает часто у людей, страстно чего-нибудь добивающихся, он тщательно скрывал свои поползновения.

Днем приехали два посетителя: Новиков и Соловьев⁵. Новиков рассказывал Л. Н-чу новые свои недоразумения, но теперь уже не с властями, а с крестьянами. От него требовали, чтобы он участвовал в общественных поборках на выпивку, он отказался, и так как с него все-таки требовали, то он пожаловался земскому начальнику. Теперь у него создались неприятные отношения с крестьянами. Л. Н. горячо его за это осуждал. «Раз мы не признаем властей, — говорил он, — то ни в каком случае не надо к ним обращаться за содействием».

Другой посетитель явился к нему из «Журнала для всех». Раньше он составлял биографию Л. Н-ча (в издании Павленкова). Он стал рассказывать Л. Н-чу про новое явление в литературе — босячество и про важность этого явления, и удивлялся, как Л. Н. до сих пор не придает этому серьезного значения. Это вызвало со стороны Л. Н-ча горячие возражения, и он все время возмущался тем, как можно интересоваться такими пустяками, как босячество, даже связывая его с нищезанством, и не иметь никакого представления о самых важных течениях жизни человечества, которые совершались и совершаются сейчас во всех странах. Все говорят о Добролюбове, Миролубове, Добротворском, Златовратском и т. д. и думают, что это люди, которые говорят нечто особенное. Все это кумиры, созданные слабым воображением большею частью тупых людей, ничего не видящих дальше своего носа, в то время как хотя бы в Англии и в Америке идет напряженная умственная борьба за отыскание новых путей жизни. При этом Л. Н. назвал несколько новых книг, которые совершенно неизвестны у нас и которые, разумеется, игнорируются нашими представителями литературы.

Соловьев был очень, видно, разочарован, и когда я встретил его после прогулки с Л. Н., он имел злой и недовольный вид и тотчас же уехал в Тулу.

После обеда все отправились в длинную прогулку, и хотя было довольно сыро после дождя, Л. Н. отказался надеть что-нибудь теплое, и пошел в одной парусиновой блузе. Л. Н. стал говорить, что одному он очень обязан в своей жизни, это тому, что он привык относиться с необычайным уважением к каждому человеку.

«Когда я вижу мужика, то всегда удивляюсь, какие это умные, знающие люди, и всегда чему-нибудь научишься у него. Приедешь к киргизам. Казалось бы, чему там можно научиться? А на самом деле, сколько интересного, какие опять умные люди, и невольно относишься к ним с уважением. И я не помню в жизни своей, к кому бы я не относился с таким уважением, — и это всегда меня спасало, так как всегда заставляло

думать над собою и что-нибудь извлекать от других людей, входя с ними в хорошие отношения. Несчастье современных людей и состоит главным образом в том, что они воображают себя гораздо умнее и гораздо лучше других, с кем они сталкиваются, и позволяют себе относиться к ним или с презрением или с снисходительностью. Явится какой-нибудь кружок Миролюбковых, Добролюбковых... и они думают, что они призваны учить других и что все остальные — непросвещенные люди, и что только их замкнутый кружок лучше всех и умнее всех. И это презрительное отношение интеллигенции к другим просто ужасно».

Русанов Андрей Гаврилович (1874–1949) — сын друга Толстого Г. А. Русанова, врач, с 1921 г. профессор. Впервые увидел Толстого у своего отца в 1884 г. и часто встречался позднее, в 90-е годы. Писал Толстому однажды, в 1907 г., сообщая о смерти отца. Ответ — ПСС, Т. 77, С. 43–44. Воспоминание — о поездке к Толстому 1 июня 1903 г.

¹ Доктор — Д. В. Никитин (см. прим. 4 к воспоминаниям С. М. Ратова, №30).

² Письмо Толстого к Николаю II, законченное в Гаспре 16 января 1902 г. (опубликовано в 1904 г. в «Свободном слове»). В окружении Толстого было известно в рукописных и машинописных копиях.

³ Последействие превратилось в статью «К политическим деятелям».

⁴ 3 июня 1903 г. Толстой писал дочери Татьяне Львовне: «Все работаю над Николаем I-м и, кажется, только теперь начинаю находить ключ к нему. Как жаль, если нашли убийц Богдановича [уфимского губернатора, убитого по приговору жеров], так же жаль, как убийства в Сербии» (ПСС, Т. 74, С. 139).

⁵ Е. А. Соловьев (Андреевич). В газете «Одесские новости» напечатал в 1903 г. пространную статью «В Ясной Поляне». См. также: Андреевич. «Л. Н. Толстой». С.-Петербург, 1905, С. 173–89.

32. П. Ф. БЕЗВЕРХИЙ (Буки)

Мое знакомство и переписка с Л. Н. Толстым

С произведениями Льва Николаевича я начал знакомиться еще с детства, но полюбил я его только 18-ти лет. Через два года под влиянием произведений Л. Н. я задумал бросить свою службу в качестве старшего телеграфиста на Средне-Азиатской железной дороге и поступить работником к крестьянину.

С этой целью я поехал в Малороссию в родную деревню, чтобы увидеть, какова жизнь крестьянского работника. Проезжая на обратном пути через Тулу, я зашел к Л. Н. в Ясную Поляну, чтобы посоветоваться с ним о своем деле. Это было 29 августа 1905 г.

Принял меня Л. Н. очень ласково, долго говорил со мною. Узнав, что мне предстоит отбывать воинскую повинность в будущем 1906 г. и я думаю отказаться отбывать эту повинность, идти в настоящее время в работники — не посоветовал. На прощанье он просил меня строго следить за своею нравственностью и стараться помнить всегда о смерти, что мы можем каждую минуту умереть, что мы даже умираем ежеминутно, т. е. разлагаемся.

[Далее Безверхий описывает свою жизнь, свой арест и тюремное заключение за отказ от воинской повинности и свою переписку с Л. Н. Толстым. Все письма Толстого опубликованы в Юбилейном издании.]

Безверхий Павел Федорович (псевд. Буки, 1885–1927) — сын мелкого железнодорожного чиновника, до 1905 г. служил телеграфистом в Ашхабаде. По записи Д. П. Маковицкого, при первой встрече Толстой назвал его «христианином»: «получает 50 рублей, а тяготится, что живет чужим трудом» («Литературное наследство», Т. 90, Кн. 1, С. 388). После отказа от военной службы был арестован, помещен в тюрьму, потом в психиатрическую больницу. Позднее жил в различных земледельческих трудовых общинах.

Известны семь писем Толстого Безверхому 1907 и 1910 г. Переписка 1910 г., когда Безверхий прислал религиозные «добролюбовские» гимны, была довольно резкой. В итоге в последнем письме (от 30 апреля) Толстой просил прощения. В переводе на немецкий язык воспоминания Буки появились в 1927 г. в кн. «Der unbekannte Tolstoj. Briefe an einem Militärdienst-Verweigerer». Ни одного письма Безверхова в архиве Толстого не сохранилось (лишь одна открытка в архиве Маковицкого): все письма переправлялись лицам, которые хлопотали о его освобождении — А. М. Бодянскому, П. Л. Успенскому и др.

33. П. БУАЙЕ У Толстого

Сегодня 10 сентября 1906 г. Толстому исполнилось 78 лет. И так как Ясная Поляна находится в 15-ти часах по ж. д. от деревни Иваново, в которой я остановился, я воспользовался этим соседством, чтобы поздравить его. В этой стране 15-ть часов по ж. д. — это пустяк.

«Я велел оседлать вам лошадь и мы поедем кататься», — весело сказал мне Л. Н., когда к концу завтрака он пришел за мной в большой зал. «Вы поедете на Мальчике, казацкая лошадь из Маньчжурии. Он немного пуглив и горяч, но если его держать в руках, то он идет хорошо. Я часто езжу сам на нем». И мне показалось, что этот знаменитый старик произнес последние слова с каким-то невинным тщеславием. Я слишком хорошо знаю Л. Н., чтобы не знать, что стоит ему отказаться от такой хорошей лошади, но правда, если б с этой лошадью трудно было справиться, он бы ее никому не уступил. Он такой всегда. Трудность непреодолимо притягивает его к себе, и я не знал никого, кто бы мог преодолевать трудность с такой легкостью и увлечением. В 2 часа мы сели на лошадей и в продолжение 3-х часов мы ездил по большому лесу, который начинается от Тулы и тянется до Калужской губ. Этот лес один из самых прекрасных в России, деревья в нем самые разнообразные и этот лес имеет свою историю. Известный под именем «Засеки», он служил убежищем против нашествий крымских татар. Земляные валы укрепляют его с южной стороны; срубленные деревья загораживают продольные просеки, нарочно сделанные в этой чаще из дубов, кленов, ясеней, буков, елей. По этому поводу носит он свое название «Засеки». Мы проехали часа три, предпочитая протоптанным тропинкам неожиданности езды по лесу, нагибаясь к шее лошади, когда ветки деревьев спускались слишком низко, галопируя по полянам, перескакивая через ручьи, сходя с лошади, когда края оврагов обрывались слишком круто. И во время езды этот человек, 78-ую годовщину которого мы должны были праздновать в этот вечер, не выказал никакого признака усталости: он ни разу не позволил помочь себе, когда он соскакивал и садился на лошадь. Он привык делать все сам во время своих длинных прогулок верхом, которые он совершает ежедневно и в какую бы то ни было погоду. Только холодные дожди последних дней заставили его прекратить купанье в реке; но как только вернутся теплые дни, он будет продолжать. День был прелестный, один из тех спокойных ясных дней ранней русской осени. Толстой восторгался удивительным разнообразием красок: некоторые листья были еще зеленые, другие — уже пожелтевшие, темнокрасные, с всевозможными зелеными, желтыми и красными оттенками. Гр. Толстой дружески расспрашивал встретившихся крестьян и крестьянок, не дожидаясь их поклона.

Мы говорили о всех бедствиях, о бесцельно проливаемой крови, о человеческой жизни, так мало ценимой. Вчера урядник без всякой причины,

даже не будучи пьяным, а просто потому что имел заряженный револьвер, убил наповал крестьянина, с которым распивал полбутылку: после, преспокойно выйдя на двор, застрелился, выпустив две пули в грудь и одну в лоб. Видите, как здесь дешево ценят собственную и чужую жизнь. Эта странная сцена имела единственным свидетелем старого лесника, случайно туда поавшего. Мы решили его расспросить. Его правдивый рассказ был очень короток: «Да, я был там. Приехал урядник для объезда. Макара, который был ему должен 25 коп., сказал: «Вот твои 25 коп.», — и отдал. Потом он прибавил: «Войди на минутку, я куплю полубутылку, выпьем за нашу дружбу».

Урядник берет «левольверта» и убивает Макара. Потом, выйдя на двор, убивает сам себя. Вот все жили они хорошо друг с другом. Около избы старого лесника два мальчика, сыновья убитого и убийцы, играли в котлы (такая игра). «Вот в каком положении мы находимся, — сказал Толстой, — и никто не может остановить зло. Вы читали приговор к смерти Зинаиды Коноплянниковой¹? Вы увидите, что министр не будет просить о помиловании и что царь не помилует ее. Как они не могут жалеться над палачами? Как они не могут понять, что люди, которые будут ее вешать, деморализованы навсегда? Я жалею палачей больше других. Прошлую зиму, после дикого подавления московского восстания, М-ме Дубасова хотела приехать к нам. Я попросил мою жену передать ей, что я не могу ее принять. Пока она жена адмирала, пока она живет с ним под одной крышей, она солидарна с ним. Я же не хочу иметь ничего общего с этим человеком, для меня он как бы отрезан от человечества. А еще говорят о диктаторе? Но я его напрасно ищу. Не всякий, кто захочет, может быть им. Трепов²? Я знавал когда-то его отца. И его тоже знал еще молодым офицером. Он всегда закручивал свои усы кверху, вот так! Трепов — диктатором? Офицеришко с закрученными усами? Какая шутка! Они никого не имеют, никого, повторяю, и тем лучше... Если бы был кто-нибудь, было бы еще хуже».

Вы, может быть, помните, как несколько недель тому назад Максим Ковалевский в открытом письме, опубликованном в «Стране», просил Толстого сказать свое мнение по поводу «кризиса»³, и Толстой, насколько я знаю, ничего не ответил на это письмо. Момент показался мне вполне подходящим, чтобы расспросить его на этот счет.

— Вы попали как раз во-время, — сказал он, — так как я написал маленькую брошюрку в 8–10 листов под заглавием: «О смысле революции в России»⁴, она излагает мои понятия по этому вопросу. Горбунов, с которым Вы будете обедать сегодня вечером, повезет копию в Москву, чтобы отпечатать в изданиях «Посредника». Мои мнения непоколебимы. Я знаю, что теперь люди называют меня болтуном. Что делать? Не могу же я сказать, что я неправ, когда знаю, что я прав. Впрочем, все так просто. Откуда берется то зло, от которого Россия страдает, от которого, как думают иные (я не принадлежу к ним), она погибнет? Потому что в России нет больше власти. Но условимся, как это понимать.

Что такое власть? Власть может быть двойкая: 1) *Внешняя*, поддерживаемая силою, не согласуемая с совестью и поэтому безнравственная;

это власть губернаторов, которая опирается на солдатах, на жандармах и на урядниках. 2) *Внутренняя*, поддерживаемая свободным соглашением граждан и поэтому вполне нравственная и хорошая; это власть повиновения закону. Но у нас в России в настоящее время нет ни той, ни другой; а я думаю, что вообще общество не может существовать без власти. Внутренняя жизнь может существовать только при нравственной связи — нравственной или религиозной. Но под словом «религиозная связь» я не говорю про католицизм, который отлучает от церкви за то, что вы не верите в непогрешимость папы; ни о протестантизме, который обещает спасение, если только милость Божья над вами; ни о православии, которое и т. д. Я все-таки утверждаю, что еврейские и христианские общества в начале были почти совершенными образцами хорошо организованных обществ. Но прошлое остается прошлым.

Анархисты! Социалисты! Действительно их отрицательные критики верны и решительны. Но как их построения ничтожны, пусты и воздушны! Восьмичасовой рабочий день, например! А если мне захочется заниматься сегодня 15 час., а завтра 1 час? Впрочем, к чему эти заботы об организации будущего? Разве можно судить заранее о будущем? Я бы хотел, чтобы ваш Анатолий Франс написал бы диалог античный, в котором бы Петроний был бы одним из собеседников, и где бы представилась, как в романе Белями, фантастическая история будущих веков. Автор «На белом камне» (*Sur la pierre blanche*) отличается в подобных фантазиях. Сомневаюсь, чтобы Петроний мог бы предвидеть нашествие варваров, Карла Великого или крестовые походы. Оставим будущее будущему: каждый день имеет достаточно своих забот, а теперь мы должны заботиться об организации настоящего. В России организация зависит от следующих связанных между собой представлений: земля мужикам, т. е. тем, кто ее обрабатывает, и поземельный налог (единый налог) по системе Генри Джорджа.

Вместе с этим будет решен рабочий вопрос. Молодой деревенский народ не бросит свои поля, где жизнь здорова и свободна, для завода, где их силы исчерпываются без радостей и надежд. И цивилизация, или лучше то, что мы называем этим чудным именем, ничего не потеряет, если люди убедятся, что девять десятых из предметов, вырабатываемых на фабриках, в сущности совершенно бесполезны. Мне говорят, что это химеры! Конечно, если дело идет об Англии, где на 100 жителей только 10 крестьяне. Но это действительность у нас, где из ста жителей девяносто крестьяне. И нельзя же требовать от русских произвести революцию в пользу короля Пруссии⁵! Сделаем же нашу революцию по-нашему и пусть думские болтуны обсуждают проекты конституций *made in France, in England, in Germany*. Их стряпня ничего не стоит: «Я русский и желаю, чтобы мне подавали русские кушанья!»

Было уже около пяти часов. Мы достигли опушки леса. Переехав большую дорогу из Тулы в Курск, мы миновали высокую каменную, украшенную железным русским орлом тумбу, которые обозначают путь, по которому ехала Екатерина Великая во время своего путешествия в Крым. Три года тому назад, в один прекрасный день заметили исчезнове-

ние орла, вместо которого развевался красный флаг с следующими гордыми словами: «Долой самодержавие!» Урядник велел снять этот флаг, но не мог поймать орла. Вечером, после обеда, Толстой снова возвратился к мысли о религиозной связи, о связи общей верой, которая одна могла бы служить основанием человечества. Чтобы не ошибались в значении слова «религия», приведу слова Карлейля, который, как мне кажется, довольно верно передает мысль русского писателя и которые он сам привел в «Круге чтения» и именно для 10 сентября (старый стиль 28 августа). «Круг чтения» — это мысли и изречения разных авторов о жизни, истине и поведении на каждый день года с комментариями Толстого и его же чтениями на каждую неделю. Карлейль говорит: «Религия человека не состоит из множества вещей, в которых он сомневается, но в которые он старается верить. Она заключает в себе небольшое число истин, в которые он верит и верит без усилий». В Париже, может быть, еще не знают «Круг чтения» г-ра Толстого. Автор очень им гордится; он серьезно утверждает, что это единственная книга из всех его сочинений, которая его переживет.

— Я непременно вам дам один экземпляр, — сказал он мне смеясь, — но с условием: чтобы читали его ежедневно, и вы увидите, что вы будете лучше чувствовать себя!

Некоторые из недельных чтений очень обширные, страниц по 30-ть, но все представляют огромный интерес.

Вечер прошел тихо в небольшом кругу друзей. Завтра, как сегодня, как и вчера, от утра до двух часов дня, Лев Николаевич снова примется за свой огромный труд, отдыхая за писаньем без помарок и с удовольствием, в котором он сам добродушно признается, своих детских воспоминаний⁶.

Буайе Поль (Paul Boyer, 1864–1949) — преподаватель русского языка в Парижской школе восточных языков и ее директор, публицист, сотрудник газеты «Le Temps». Впервые Буайе приехал в Ясную Поляну 5 сентября 1895 г., о чем есть запись в дневнике Толстого 7 сентября: «Третьего дня был француз от Эртеля. Верит в материю, а не в Бога. Я говорил ему, что это эпидемия душевной болезни» (ПСС, Т. 53, С. 51). О том, что это был именно Поль Буайе, есть запись в «Ежедневнике» С. А. Толстой. Второй раз Буайе был у Толстого в июле 1901 г., три раза в 1902 г. (в июле, августе и сентябре) и последний раз 28 августа 1906 г. (10 сентября по н.с.). Статьи о встречах и беседах с Толстым в 1901 и 1902 гг. Буайе помещал в газете «Le Temps», как ее корреспондент, а также в газетах «Русское слово», «Русские ведомости» и «Новости дня».

Воспоминания Буайе о его посещении Толстого в 1901 г. — «Три дня в Ясной Поляне» — напечатаны в книге «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», Т. 2 (Москва, 1960 и 1978, сокращенный перевод изд. в 1950 г. кн. «Chez Tolstoï») и в «Яснополянском сборнике. Статьи и материалы. 1910–1960» (публикация И. Б. Овчинниковой). Короткая заметка о визите 1906 г. появилась в газ. «Русское слово» 12/25 сентября (см.: «Интервью и беседы с Львом Толстым», Москва, 1986, С. 253–54). В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого 28 августа 1906 г. отмечено это посещение. Буайе переписывался с Толстым. Его письма опубликованы в «Литературном наследстве», Т. 75. Кн. 1. Москва, 1965, С. 388–95. По поручению Толстого Буайе отвечала дочь Татьяна Львовна в 1890 г. и невестка О. К. Толстая в 1903 г.

-
- ¹З. В. Конопляникова, член партии эсеров, была казнена 29 августа 1906 г. за убийство 13 августа начальника карательного отряда Г. А. Мина, участвовавшего в подавлении московского декабрьского вооруженного восстания 1905 г.
- ²Д. Ф. Трепов (1855-1906), в то время товарищ министра внутренних дел.
- ³Депутат I Государственной думы, юрист и социолог, издатель газеты «Страна» М. М. Ковалевский напечатал 27 июня 1906 г. «Обращение к великому писателю земли русской», где критиковал мнение Толстого о думе, как производящей «комическое, возмутительное и отвратительное» впечатление, и толстовские оценки правительственных действий.
- ⁴Статья «О значении русской революции».
- ⁵Французская поговорка «travailler pour le roi de Prusse» — работать себе в убыток.
- ⁶Неоконченные «Воспоминания».

34. И. К. ДИТЕРИХС

Мое последнее свидание со Л. Н. Толстым

(Из дневника 1906 г. 21 марта)

Перед отъездом своим на Кавказ я заехал через Засеку в Ясную Поляну проститься со всеми и попал прямо к обеду. За столом я передал последнюю тульскую новость, что из Петербурга председателем Союза русского народа предложено Нач. Имп. Оруж. Завода выдать тысячу винтовок для вооружения черной сотни в г. Туле для борьбы с революционерами. На это Л. Н. заметил: «Обычное в наше время явление — это ужасающее самомнение: я де могу спасти родину на свой лад! Что делают, что делают!..»

Оставшись с Л. Н. чем с глазу на глаз, я поведал ему о только что состоявшемся примирении моем с Андрюшей¹. Л. Н. это растрогало до слез и он, умиленно, все повторял: «Как хорошо, как хорошо!..»

Перед тем, как уйти к себе, он сказал, что получил интересные письма о малеванцах от К[узьмина]².

Под вечер он предложил мне сходить с ним во флигель к Тане, которая чувствовала себя нездоровой. Там предметом всеобщего внимания сделалась маленькая Танечка, или «Татьяна Татьяновна», как ее в шутку называл Л. Н. Л. Н., глядя на роскошно расшитый чепчик девочки, выразил сожаление об утрате простоты и замене ее бесполезной и бессмысленной роскошью, добавив: «Вот уж именно, как говорится: «где просто — там ангелов со сто, где мудрено — там ни одного!» И все великое просто. Вот я все это время вспоминаю Суткового и его credo. Ну-ка, прочтите!» Стали читать credo Суткового, а потом декларацию Гаррисона и Л. Н. все повторял: «Как хорошо, как хорошо! Ведь это все!»³ Таня заметила, что частые упоминания «христианство» и «Бог» многих интеллигентных людей отвращают от таких писаний, так как эти выражения для них неприемлемы и неприятны. Л. Н. хотел было возразить, но заторопился уходить, чтобы не заставить себя ждать деревенских мальчиков, которые должны были прийти вечером заниматься с ним.

По обыкновению он устроился с ними под сводами, а я с Н. Ивановой подслушивали у дверей в комнате Душана Петровича.

Дети наперебой старались отвечать на вопросы Л. Н. на тему из Эпиктета о том, что человек должен делать для души только то, что от него самого зависит. Окончив занятия, Л. Н. попросил принести ему «Open Court» с иллюстрациями⁴. Дети, шумя и толпой, разглядывали картинки и обменивались громкими замечаниями.

За чаем Софья Андреевна сделала резкое замечание, сказав, что такого рода занятия с детьми не достигают никакой цели, так как они машинально повторяют слова, совершенно не участвуя умом и душой. Л. Н. мягко возразил, сказав, что есть и то и другое, но что работа может быть плодотворной.

Утром другого дня я на лошадях уезжал в Тулу и простился со Л. Н. Трогательно прощаясь со мной, он сказал мне, что я всегда и во всем был ему приятен, но что примирение мое с Андрюшей лучше всего. Мы расцеловались, и я до сих пор еще как бы вижу его доброе лицо, ласку и милую прощальную улыбку на нем. Это было мое последнее свидание со Л. Н-чем.

Январь 1925 г.
г. Ташкент

Дитерихс Иосиф Константинович (1868–1931) — брат Анны Константиновны Чертковой (жены Владимира Григорьевича Черткова) и Ольги Константиновны Толстой (жены Андрея Львовича Толстого), бывший воспитанник Пажеского корпуса. До 1897 г. служил на Кавказе, выслан оттуда за сочувствие духоборам. Жил некоторое время в Англии. Его «Воспоминания о Л. Н. Толстом», относящиеся к 1903–1905 гг., напечатаны в сб. 2 «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Москва, 1926. С. 113–23. В архиве Н. Н. Гусева сохранились неопубликованные воспоминания. Посещение Ясной Поляны отнесено здесь к 1906 г. В действительности событие произошло в 1907 г. 14 марта этого года Д. П. Маковицкий отметил в «Яснополянских записках»: «Приехал Иосиф Константинович». И на другой день: «Приехали... Н. М. Кузьмин, Иосиф Константинович. Вечером Андрей Львович». В марте 1906 г. не могло идти речи о «записках» Кузьмина, так как впервые он появился в Ясной Поляне в августе 1906 г. Дитерихс приезжал в Ясную Поляну и впоследствии, но встреча 1907 г. оказалась последней, описанной им.

-
- ¹ Андрей Львович Толстой разошелся с Ольгой Константиновной, сестрой мемуариста.
- ² Записки Н. М. Кузьмина «Искатели правды (Среди малеванцев)» в 1909 г. были напечатаны в журнале «Познание России» под псевдонимом: Николай Жихарев. 17 марта 1907 г. у Маковицкого отмечены слова Толстого: «Очень хороши Кузьмина эти записки. Жалко только — восторженность, напыщенность (ихняя). Для религиозного чувства нужно спокойствие. Очень высокое настроение (этих малеванцев). Чертков будет рад Запискам» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 2. Москва, 1979. С. 396).
- ³ Н. Г. Сутковой, юрист, оставил службу и занялся земледелием. При письме от 27 февраля 1907 г. Сутковой прислал статью «Свободные христиане», прося Толстого поправить ее или самому изложить свое учение. В статью «Наше непонимание» Толстой включил переработанный текст Суткового и краткое изложение составленного американцем У. Л. Гаррисоном «Провозглашения основ, принятого членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира». Статья Толстого — ПСС, Т. 37. С. 23–30.
- ⁴ «Open Court», американский религиозный журнал, издавался в Чикаго; посылался Толстому редакцией.

35. А. ДЕМИДОВ

Встреча с Л. Н. Толстым

В одной из статей Л. Н. Толстой доказывал, что земля должна принадлежать не захватчикам ее — помещикам, а обрабатывающим ее крестьянам, и, в заключение, он призывал помещиков поделиться землей с крестьянами.

Сам Лев Николаевич жил тогда в помещицкой усадьбе, в доме со всей семьей, владевшей большим имением, с огромным садом.

И смысл статьи и противоречия с нею самой жизни проповедника меня глубоко взволновали. Я страстно захотел увидеть, каков он, этот титан духа, автор «Войны и мира», и — мне казалось — раб уюта, помещицкого угла?

Это было года за три до его смерти. Стоял прекрасный июньский день. Около четырех часов дня со станции Засека я шел к Ясной Поляне. Свежий, чистый воздух среди леса, накануне обмытого дождем, нежно-ласково касался лица: я быстро шел. В голове теснилось много дум. Недалеко от Ясной Поляны я догнал немного выпившего мужика.

— Вы к нему? — спросил он меня.

— Да, к нему.

— Ступайте, что ж, сходите, старик хороший, к нему многие ходят...

В сторожке у ворот никого не было, не у кого было спросить, где я мог бы увидеть Толстого, не заходя к нему в дом. Недалеко, у пруда, отделяющего усадьбу от деревни, мыла ноги девочка.

— Вон туда, туда, кверху ступайте. Он там, — не дожидаясь моего вопроса, сказала она. И опять нагнулась мыть ноги.

Через сито зеленой листвы стала просвечиваться белая стена дома. Мне не хотелось идти в дом, я хотел его встретить наедине, на улице. Дорожка, окаймленная густой акацией, свернула немного влево: я пошел по ней, и, неожиданно, передо мной открылась расчищенная небольшая площадка перед домом.

Взглянув влево, я испытал глубочайшее чувство радости и, вместе с тем, не знал, что делать: сажень в пятнадцати, за столом, сидел он, с седой, широкой бородой, среди десятка мужчин в светлых костюмах, сидевших полукругом вокруг него. Я поклонился.

— А-а, — протянул он, глядя в мою сторону, и поднялся с места.

Я замер на месте. «Что будет?» мучился я. «Наверное он за кого-нибудь меня принимает! Что я наделал, прервал его беседу со столькими людьми!»

Я не решался двинуться ему навстречу и стыдился уйти назад от него, когда он уже шел ко мне.

— Здравствуйте, — с ласковой улыбкой протянул он руку и, всмотревшись в мое лицо, произнес:

— Удивительно, как вы похожи на одного моего знакомого.

— Простите, что я ввел вас в заблуждение. Я этого не хотел. Я желал лишь... — с волнением сказал я, глядя в старческие, светлоголубые глаза, добродушно смотревшие на меня из-под густых, нависших бровей.

— Очень, очень похожи, — повторил он.

Сидевшие с ним люди поднялись и проходили мимо нас, пристально рассматривая меня и, по-видимому, слушая наш разговор. Я мучился.

— Вы ко мне?

— Да, я хотел вас видеть.

— Хорошо, пойдете.

И он направился со мною через площадку в сад, где теперь к его могиле протоптана дорожка.

— О чем же вы хотите побеседовать со мной?

— Я не могу понять, для чего мы живем.

— У вас есть бабушка?

— Нет, но у меня мать старушка.

— Так вот, если бы вы у нее спросили, то она дала бы вам самый верный ответ. Для чего Бог создал, для того и живем. А для чего Бог создал, это напрасно спрашивают друг друга люди целые тысячелетия, и не было ни одного человека, который бы дал на это ответ. Пути Его неисповедимы. Только Он знает, для чего, а мы должны, не спрашивая для чего, исполнять Его волю. Всякий другой ответ ложен. На этот вопрос я ограничусь пока этим кратким ответом и предложу вам кое-что прочитать, когда зайдем ко мне, я вам дам книжку. Еще что вас интересует?

— Я потерял веру. На душе ужасная пустота. Тяжело жить без веры. Вы верите в загробную жизнь? Как именно вы представляете себе бессмертие человека?

— Это очень ясно и просто, — и он вкратце изложил известное всем его толкование об этом.

— Благодарю вас. Понимаю. Но где же и зачем эта частица духа Божия будет носиться?

— Ну, это уже Его воля. В какой форме и зачем будет она, — это будет зависеть от Его назначения.

Я спрашивал затем о социализме, половом вопросе, о христианских вероисповеданиях и о том, что ожидает человечество, если прирост его так же будет прогрессировать. При последнем вопросе я напомнил ему о картине какого-то француза-мальтузианца, который предполагает, что в будущем на земле, сплошь занятой людьми, рожь на корню будет представлять собою чрезвычайную редкость.

Ответы на эти вопросы были коротки и ясны и сводились к тому же, что сказано в его книгах.

Но меня более всего интересовал вопрос о земле, сам по себе, и не менее того, как Лев Николаевич мог в взволновавшей меня статье предлагать помещикам поделиться землей с мужиками, когда он сам жил, как помещик?

— У меня есть еще один вопрос, но... простите меня, Лев Николаевич...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите откровенно.

— Именно так хотелось бы говорить... я готов себя сам осудить...

— Я прошу вас говорить только искренне.

— Дело в том, что в последней статье вы так серьезно поставили вопрос о земле, что невольно... вы меня простите, ради Бога, — невольно терзает мысль о том, а как же вы сами...

— Я понимаю вас. Но, к сожалению, я не имею права распорядиться землей... Ею владеют теперь жена и дети.

Задав вопрос, я понимал всю горечь его для Льва Николаевича, мое сострадание ему, не показанное, было велико, и я уже жалел, что позволил себе задать этот вопрос. А Лев Николаевич стал развивать мысль о том, что земельный вопрос нельзя лучше разрешить, как по проекту Генри Джорджа.

— У вас есть его книга? Нет? Так зайдите ко мне, и я вам дам ее.

Заканчивая свою мысль, Лев Николаевич добавил:

— Понятно, нельзя ни у кого отбирать до смерти такого лоскутка земли, на котором человек лично вырастил дерево или создал что-либо общепольное на долгое время. Мне, например, было бы очень горько, если бы у меня взяли вот это, — он остановился около яблони, взяв ее за сук, — если я посадил ее и надеялся, что она будет приносить мне плоды. Другое дело — полевая...

Прошел уже час времени, и мы подошли к дому; я остановился, намереваясь попрощаться.

— Пожалуйста, пожалуйста, пойдемте ко мне в кабинет.

И мы поднялись во второй этаж.

Он сел около письменного стола и мне предложил сесть против него, в кресло.

Зашла речь об англичанах. Я восхищался их свободолюбием, благосостоянием, умением жить.

— Но они живут на чужой счет. Фабрики их это тоже способ жить на чужой счет.

Его взгляд на искусство меня огорчил. Художественная литература, и его в первую очередь — болтовня праздных людей, ничего не стоящая. Театр тоже ненужная роскошь.

При проходе в кабинет, я случайно заметил в шкафу «Гамлета» и потому сказал:

— Но в театре, например, «Гамлет»...

— А вам нравится эта книга?

— Да.

— А мне нет. Вот книжки хорошие. — И, поднявшись, он пригласил меня подойти с ним к небольшому шкафчику, в котором лежали книги. Он достал несколько книг и передал мне и предложил мне самому выбрать для себя, какие понравятся — для раздачи. Положив книги на столик, я взглянул на лежавшую передо мною большую книгу «Круг чтения».

— Это книга очень хорошая, — заметив мой взгляд, сказал он. — Очень хорошая, но у меня только один экземпляр. Но вы не покупайте ее теперь же, она пока дорога, рубля два, два с полтиной, кажется. Вы

подождите с покупкой: она скоро будет очень дешевая. — я отказался от авторских... А книга хорошая. Вот смотрите.

И, взяв книгу, он спросил:

— Вы в какой день именинник?

Я ответил, и он прочитал мне что-то о нравственности из Будды, Христа и Лао-Тзе.

— Эти мысли вполне совпадают с моими, — сказал он. И неожиданно спросил:

— Чем вы занимаетесь?

— Чиновник.

— Кто вы такой? Где вы учились?

— Крестьянин. Самоучка.

— Ага, хорошо. Из какого села?

Я ответил.

— Знаю, знаю. Хорошее село. А где теперь граф Бобринский? (Его усадьба при нашем селе).

— Говорят, в Париже... Ведь он дома почти не живет...

— Да, он чудак какой-то. Почему же вы бросили деревню, что хорошего нашли в городе?

— Тяжело, — говорю, — Лев Николаевич, было расставаться с деревней, но не при чем жить. Почти нет земли, так называемый «кошачий надел», только две с половиной сажени на душу в поле.

— Ах, ах, — вздохнул он, и задумался. — Но, все-таки, придет время, и вы пожалеете о деревне: вы там жили бы с людьми и остались бы человеком; в городе же, в канцеляриях, вам будет тяжело чувствовать себя рабом у рабов. А привыкнув к некоторому комфорту, вы уже не в силах будете возвратиться в деревню.

Затем он с восторгом говорил о деревне и общинной жизни, но такой, какая, по его совету, готова была образоваться где-то на юге, недалеко от Черного моря.

— Не думаете жениться?

— Думаю, но...

— А все-таки, если без жены жить уже не можете, женитесь и живите так, как в Евангелии сказано. Иначе — разврат, гадость.

И он удивил меня откровенным рассказом нескольких эпизодов из его молодости, которые, в конце концов, как он говорил, ничего ему не дали и в которых ему так тяжело было признаться своей жене.

Вошел лакей и поднял шторы над окнами, спущенные перед этим от солнца. Я посмотрел на лакея и на обстановку. У меня потемнело на душе. Чуткий Лев Николаевич сейчас же это заметил, хотя я и быстро, мельком, посмотрел на лакея и на мебель. И, как только вышел лакей, он спросил:

— Вы, очевидно, осудили меня за эти условия жизни?

— Нет, нет, Лев Николаевич, что вы! Как можно!.. Я только так. Вы уже стары... Вы так много создали, что имеете право на покой и уют... При всяких условиях люди обязаны были бы предоставить вам все это...

— Да не беспокойтесь, не беспокойтесь... Я вполне заслуживаю упрека. Я — грешен. Я очень виноват перед Ним. Ах, как в этом виноват! Но вы знаете, что я...

И он рассказал мне о своем давнишнем желании уйти от роскоши, от своей семьи и жить одиноко своим трудом.

— И жил бы я так, может быть, теперь, — закончил он, — если бы не слезы и уговоры жены и детей. И теперь я одного желаю и каждый день молю Бога — помочь мне уйти от этой роскоши, от этой жизни! Для меня была бы великая радость, если бы Он помог мне уйти... Каждый день прошу Его, — он поднял голову кверху, — простить меня и помочь уйти... А вы имеете право осуждать меня...

Мне было досадно на себя. А он как-то сжался и в своей кремовой, длинной блузе напоминал святого старца, с длинной седой бородой, устремившего глаза к небу.

Извинившись за беспокойство, я стал прощаться. Он протянул мне руку.

— Приходите, приходите, пожалуйста, почаще...

Я не представлял тогда глубины его страдания и, пожав руку, написавшую «Войну и мир» и «Анну Каренину», удалился с сомнением в том, что его Бог поможет ему в «этом».

Через три года после этой встречи, выйдя однажды со службы на улицу, я увидел людей, расхватывающих у мальчишек экстренные выпуски газеты, и услышал при этом выкрики мальчишек:

«Уход Толстого из Ясной Поляны! Уход Толстого!»...

Я был потрясен, но слез обрадовался и изумился тому, что это случилось.

А вскоре я глубоко-глубоко пожалел его, когда среди тысяч людей пришел и поклонился его уже восковому лицу, неподвижно лежавшему в гробу, открытом для последних земных поклонов тысяч людей, приехавших со всех концов России.

Демидов Алексей — крестьянин-самоучка. Воспоминания написаны в 1927 г. Судя по тому, что Демидов не упомянут в «Яснополянских записках», его визит к Толстому относится к июню 1907 г., когда Д. П. Маковицкий уезжал на родину.

36. Е. А. и А. А. САЛИЩЕВЫ

Дети тульских рабочих в Ясной Поляне летом 1907 года

Дети рабочих окружейного, патронного заводов и кустарей, проживавшие в Заречье — беднейшей части г. Тулы, очень любили играть в Арсенальном саду.

Это не те благоустроенные и хорошо оборудованные сады, в которых играет наша советская счастливая детвора. Арсенальный сад, пренебрежительно прозванный богачами «Собачьим садом», наполовину являлся пустырем. Он вплотную прилегал к Арсеналу — складу оружия. Арсенал от сада был отгорожен высоким деревянным забором и охранялся вооруженными солдатами. Рядом расположились два базара — продуктовый и сенной. Вдоль остальной части угольником пролегли Литейная и Горская улицы.

В ненастную погоду эти улицы, вместе с базарными площадями, превращались в сплошное месиво воды и грязи, в котором целыми днями бродили свиньи и поросята.

Два пруда — Грачевский и Арсенальный и соседние с ними кюветы являлись местами для свалки павших животных, мусора и всевозможных отходов и издавали страшное зловоние.

Растительность, состоявшая из тополей, лип, березок, кустов лозы и желтой акации, была редкой и чахлой. Только на небольшой части сада ранней весной появлялась зеленая трава, золотистые одуванчики, пестрые ромашки и белые кашки. Но через короткое время они вытаптывались прохожими и поедались пасшимися в саду коровами и козами. Более обильные трава и цветы росли вблизи арсенального забора, но для детей они доступными не были — нас туда не допускали суровые часовые.

И все же мы всей душой, как могут любить забавы и природу дети, мы горячо любили наш Арсенальный сад.

В летнее время и гораздо реже зимой туда собирались мальчики и девочки — школьники начальных школ и другие дети более младших возрастов. Там мы играли в лапту, котел, чижа, городки, чехарду, а зимой катались на салазках, ледянках, на ржавых коньках и деревянных колодках, привязанных веревками к подшитым валенкам или потрепанным сапогам. Они отчаянно носились по льду Грачевского пруда, не на двух, а чаще всего на одном коньке. Играли в деревянные шары, расплачиваясь за проигрыш картинками от конфет.

В рождественские и пасхальные школьные каникулы, или на масленицу, в Арсенальном саду предприимчивая «Калужиха» устраивала платные представления — Петрушки и «Гибели Варяга». Там бойко вертелись карусели. Разносчики на самодельных лотках торговали сбитнем, грушевым квасом, оладьями, черепенниками и копеечными конфетами.

Многие бедные ребята, не имевшие денег, завистливо смотрели на счастливиц, отправлявшихся в балаганы, катавшихся на деревянных конях, лебедях, тиграх или аппетитно уничтожавших дешевые сладости.

Характер детских развлечений в Арсенальном саду резко изменился в лучшую сторону, когда игры и развлечения детей в свои руки взяла «Комиссия детских развлечений при Тульском обществе охранения здоровья». Дело было не в сложном названии общества, а в том, что в нашем саду появилась небольшая группа, 5–8 молодых, энергичных и передовых учителей и студентов во главе с Ратницким Львом Давыдовичем, с головой отдавших себя работе с детьми.

Еженедельно, каждое воскресенье и четверг, наши новые воспитатели устраивали с нами веселые игры, пение песен, вождение хороводов, качание на качелях и гигантских шагах. Они же проводили с ребятами разные беседы и организовывали экскурсии.

Четверги и воскресенья для нас стали подлинными праздниками.

Но вот наступило время летних школьных каникул 1907 года. В один из дней наших сборов всю детвору облетела радостная весть о том, что мы едем в Козловку (Ясную Поляну) — в гости к дедушке Льву Николаевичу Толстому. После нескольких откладываний, наконец, было сообщено, что поездка состоится 26 июня. Нашей радости не было предела.

В числе счастливиц, ехавших в Ясную Поляну, оказались и мы, авторы настоящего воспоминания — Ефим 13 лет и Алексей, моложе первого на 4 года. Оба мы, как и значительная часть экскурсантов, учились в начальной школе, при Михайловском детском приюте, что находился на бывшей Миллионной улице по соседству с Арсенальным садом.

Наш отец — кустарь-самоварщик, вышедший из потомственных оружейников, а мать домашняя хозяйка, воспитывали громадную семью, состоявшую из 12 детей. К нашим играм и поездкам они всегда относились сочувственно. Мать и отец охотно отпустили нас в Козловку. Мать любовно завязывала в узелок хлеб, кусочки сахара и кружки; проводила нас к месту сбора отъезжающих.

Ранним утром 26 июня едущие собрались в Арсенальном саду. Нас было очень много. Все были одеты по-праздничному, но все же наша одежда носила следы бедности. Это ярко запечатлено на фотоснимках.

Ночью выпал дождь. Земля и трава были влажными. Возник вопрос о трудности перехода до вокзала и от станции до усадьбы Толстого. Непреодолимое желание встречи с Толстым одержало верх. Из Арсенального сада, построившись попарно, с флагами и узелками в руках, мы длинной лентой с песнями шли по улицам города, направляясь к Курскому (Московскому) вокзалу.

На вокзале нас ожидал заранее подготовленный для нашей поездки пассажирский поезд, составленный в большинстве своем из вагонов 4 класса.

Детвора быстро и до отказа заполнила все вагоны.

Вскоре поезд тронулся, и мы через несколько минут, минуя пригород, Косую гору и Засеку, приехали на станцию Козловку (Ясную Поляну).

Повыскакав из вагонов, мы снова построились в ряды и с пением детских песен направились в имение Л. Н. Толстого.

Тогда не было теперешнего асфальтированного шоссе.

Весь трехверстный путь мы под лучами утреннего жаркого солнца шли пешком по грунтовой дороге, грязноватой от ночного дождя. Трава, цветы и листья деревьев блестели дождевыми каплями. Жара и непривычно долгая для нас дорога утомила ребят.

Но вот показались белые башенки ворот толстовской усадьбы. Вскоре мы вступили на длинную аллею, обсаженную стройными елями и березами. От них и деревьев рядом идущего парка повеяло прохладой. Невдалеке показался двухэтажный белый дом.

Будучи предупреждены о близости встречи с Львом Николаевичем, мы как-то заволновались, приободрились и подтянулись в рядах, нетерпеливо ожидая торжественной минуты. Нам говорили, что Толстой большой писатель, граф, друг народа и детей.

С аллеи мы свернули направо и вскоре оказались около дома. На террасе дома появился добродушно улыбающийся глубокий старик, одетый в белый обычного покроя костюм, с белой шляпой в руках. Это и был дедушка Лев Николаевич Толстой.

Мы были удивлены тем, что увидели не важного и богатого графа и знаменитого писателя, а простого и приятного старичка. Вместе с Толстым тут же находились члены его семьи.

Нескончаемой вереницей дети проходили мимо террасы вглубь площадки и восторженно приветствовали Льва Николаевича криками: «Ура!»

Толстой и присутствовавшие тепло здоровались и раскланивались с детьми. Все мы были радостно возбуждены встречей.

Когда шествие детей было закончено, Лев Николаевич сошел с террасы и влился в толпу мальчиков и девочек. Между нами и Толстым завязалась простая беседа.

После кратковременного отдыха дети с удовольствием приняли предложение Льва Николаевича отправиться купаться на реку Воронку. Первой группой вместе с Толстым отправились мальчики.

К реке дети вместе со своими руководителями первоначально шли тропинками и перелесками, пока не достигли веселой березовой рощи, изобилующей земляникой. Нам, горожанам, яснополянская природа очень понравилась — ведь мы ничего подобного никогда не видели. Всю дорогу до Воронки Лев Николаевич шел с нами пешком, оживленно разговаривая с мальчиками.

Ребята в продолжение всей дороги резвились, собирали цветы и ягоды и тут же отправляли в рот спелую вкусную землянику.

Но вот блеснула белая полоса реки, и мы безудержно покатались к Воронке. Мы, «заречинские» мальчишки, выросшие на берегах реки Упы, притоком которой была река Воронка, купались лихо. Часть ребят забралась в купальню, а остальные — прямо в реке барахтались, брызгались, плавали, ныряли, весело кричали и шумели.

Лев Николаевич, встревоженный характером купанья и боясь несчастия, все время находился на берегу реки и предупреждал об опасности. А

потом, когда купанье подходило к концу, часть искупавшихся стала одеваться. Лев Николаевич в нашем присутствии взял косу и стал косить траву на прибрежном дугу. Мы не меньше, чем в первый раз, удивились тому, что Толстой умеет косить траву.

Обратно к дому мы возвращались также весело, по-прежнему резвились, пели песни, собирали цветы и ягоды.

На усадьбе вблизи дома нас ожидали длинные столы, шумевшие железные кипяильники и медные самовары. За столом разместились не все: часть ребят расположилась прямо на траве на площадке близ дома.

Изрядно проголодавшись, мы с большим аппетитом уничтожали привезенную с собой незатейливую снедь, состоявшую главным образом из хлеба, и пили чай.

Во время завтрака Лев Николаевич и члены его семьи ходили среди ребят, разговаривали с ними и расспрашивали детей. Беседы с Толстым продолжались и тогда, когда мы, окончив наш завтрак, разошлись по усадьбе, направились в парк, фруктовый сад и к прудам.

Около грядок молодых деревьев, между Толстым и большой группой мальчиков завязалась длительная беседа. Лев Николаевич, в понятных для нас выражениях, рассказывал о том, как из семян вырастают большие деревья; о пользе леса; о том, что люди должны трудиться, дети учиться, любить природу и школу. Эти слова Льва Николаевича глубоко запали в наши детские души.

Несколько позже Софья Андреевна Толстая сфотографировала Льва Николаевича с мальчиками. Толстой стоял на террасе, а мальчики стоя и сидя расположились вдоль той же террасы, держа в руках флаги. Этот же снимок был повторен приехавшим с нами фотографом. На этот раз рядом со Львом Николаевичем стояла Софья Андреевна. Девочки, ходившие купаться отдельно, были сфотографированы самостоятельной группой.

Начавшийся дождь заставил нас искать укрытия — многие из нас вошли на террасу и коридор нижнего этажа дома. Там мы увидели большие шкафы со множеством книг.

Такое количество книг мы видели только в нашей детской библиотеке.

Но вот прекратился дождь и солнце снова засветило, но оно уже клонилось к горизонту. Приближался вечер, и мы с сожалением стали собираться в обратный путь.

Снова стройными рядами мы вторично проходили мимо террасы, где с семьей находился Лев Николаевич. Прощаясь с Толстым, мы тепло благодарили его.

Лев Николаевич, отвечая на наши обращения, провожал детей ласковым взглядом.

Когда мальчики и девочки возвратились на станцию Козловку, то там нас ожидал знакомый поезд.

В Тулу мы вернулись поздно вечером довольными, радостно возбужденными и уставшими. Некоторых из нас встречали родители.

Никто из нас не подозревал, что встреча со Львом Николаевичем была не только первой, но и последней.

Софья Андреевна Толстая, почти неотлучно находившаяся с Л. Н. Толстым и активно принимавшая участие в приеме детей, наш приезд описывает как выдающееся событие в жизни Льва Николаевича.

В письмах, написанных 27 июня 1907 года, на второй день после встречи, адресованных дочери Татьяне Львовне и издателю Тулубьеву, Софья Андреевна писала, что Лев Николаевич был очень растроган и взволнован встречей с тульскими детьми. Глядя на них, ему хотелось плакать от умиления.

Позже, собираясь для игр в Арсенальном саду, мы часто вспоминали о нашей поездке в Ясную Поляну и о встрече с Толстым.

Глубокой осенью 1910 года мы вместе со взрослыми были потрясены кончиной Л. Н. Толстого. Помним глубокое горе и траур близких нам туляков.

И тогда, когда мы повзрослели, окончили школы, вступили на самостоятельный жизненный путь, и много позже, даже до самых последних дней при встречах с старыми друзьями, поездку к Толстому вспоминали как волнующее и знаменательное событие в нашей жизни.

Что память Льва Николаевича, многие из нас в последующие годы и чаще всего после 1917 года, неоднократно посещали его могилу, музей и усадьбу Ясной Поляны.

Вот почему, несмотря на истекшее столетие, встреча с Л. Н. Толстым так ясно сохранилась в нашей памяти.

Посещение Л. Н. Толстого детьми рабочих, где не было детей дворян, буржуа, купцов и других богатых слоев, где не было учащихся привилегированных учебных заведений, нельзя объяснить простой случайностью — это была в какой-то мере политическая демонстрация.

Обратимся к фактам.

Как и кем была организована поездка в врагу самодержавия, «опальному» и отлученному от церкви Льву Толстому?

Это событие происходило вскоре после того, как в г. Туле в октябре 1905 года черносотенцами, полицией и казаками была расстреляна революционная демонстрация. Это было время начавшегося разгула реакции.

Нужно было быть смелыми, решительными и мужественными людьми, чтобы в тогдашней сложнейшей обстановке организовать тысячную демонстрацию детей — сыновей и дочерей рабочих, беднейшей части города, и отправиться ко Льву Николаевичу Толстому. Это сделали молодые, энергичные и передовые учителя и студенты.

Содержание бесед, которые Толстой вел с детьми, было прогрессивным, оказавшим глубокое впечатление на детские умы.

А разве общественность того времени безучастно отнеслась к поездке тульских детей к Л. Н. Толстому? Нет, газеты всей страны активно реагировали на это событие.

И вот теперь, когда это памятное событие рассматривается с точки зрения истории многих десятилетий, нам вспоминаются вехи слова Софьи Андреевны Толстой, которые она высказала в упоминавшихся письмах от 26 июня 1907 года, что дети, посетившие Толстого, возможно, будущие «революционеры и эспроприаторы».

Тульские школьники были в Ясной Поляне 26 июня 1907 г. Толстой в этот день отметил в записной книжке: «Пришло 800 детей — хорошо» (ПСС, Т. 56, С. 201). Д. П. Маковицкий записал: «С мальчиками Л. Н. ходил на Воронку купаться и играл с ними, гимнастику делал, боролся» («Литературное наследство», Т. 90, Кн. 2, С. 462). Сохранились фотографии, сделанные в этот день С. А. Толстой и В. Г. Чертковым.

Алексей Алексеевич Салищев писал воспоминания в 1960 г. Жил в Москве, был персональным пенсионером союзного значения, т. е. в прошлом — революционером; его брат Ефим — рабочим Тульского оружейного завода.

37. И. В. СИДОРКОВ

Отрывочные дневниковые записи

19 июля 1907 г.

Сегодня Л. Н. встал в 8 часов. Я ему доложил о пришедшем к нему бабурином мужичке, который у него стал просить на пуд муки, говорит, что совсем есть нечего. Л. Н. ему ничего не мог дать, потому, говорит, если я тебе дам, почему другому не дам, который, быть может голодней тебя. Когда кончил разговор с мужиком, Л. Н. пошел к себе в спальню одеваться. Я пошел за ним, несу горячую воду, по обыкновению он пил эмс, я грел его всегда в горячей воде. В это время он со мной завел разговор об этом мужичке; вероятно, он где-нибудь здесь на покосе работает, потому он босой, раздетый, в одной рубашке. Да, — говорит Л. Н., — если это правда, что он говорит, то это очень грустно. А если неправда, то еще грустней. Л. Н. оделся, вышел погулять. Пока я спальню убрал и его кабинет, вернулся с прогулки. Я подал ему кофе. Покушал кофе, стал заниматься. До двух часов занимался, потом вышел из кабинета в переднюю, попросил завтрака. Я ему подал 2 яйца, геркулес. Тогда мне сказал Л. Н.: «Скажите, пожалуйста, мне лошадь оседлать и сверните плащ-дождевик и затяните ремнями, я его возьму через плечо на случай дождя». В это время гр. С. А. спросила его: «Левочка, куда ты поедешь?» «Я поеду к Черткову». Чертков снимал дачу в Ясенках, верстах в шести от Ясной Поляны. Л. Н. вернулся в 5 часов, лег спать. В шесть часов подали мы обед, позвонили в звонок. Собрались все к обеду. Л. Н. стал рассказывать, как ему встретился мужичок, и как засмотрелся и упал в колею, и весело острил за столом. Обращается к Юлии Ивановне Игумновой и говорит: «Ю. И., сегодня жених ваш не придет, — и весело рассмеялся он. — Славный жених, да к тому еще ветеринар». Графиня С. А. рассмеялась. Кто-то сказал: «Из семейных кто-то едет». Л. Н. сказал: «Это Батя», — и все рассмеялись. В это время, правда, подъезжает сын Черткова Володя, который называл всегда своего отца Батя.

20 июля 1907 г.

В 8 часов Л. Н. встал по обыкновению. Все было мною приготовлено, как и каждый день. Л. Н. сегодня не ходил гулять, говорит, что «Я не выспался, потому рано проснулся». По обыкновению, как всегда, явился Горбунов-Посадов.

21 июля 1907 г.

Л. Н. рассказывал за обеденным столом, как ездила госпожа Николаева¹ в Тулу со своей соседкой-крестьянкой за покупками. Николаева оделась в крестьянский наряд и стала покупать сыр. И сказала торговцу: «Какой у вас сыр нехороший». А торговец ей говорит: «Эх ты, деревня-матушка, понимаешь ты в нем еще вкус-то». Потом они пошли с этой

крестьянкой покупать серп. Торговец запросил за серп цену 85 коп. Николаева сказала, что это дорого. Тогда торговец хлопнул Николаеву по плечу: «Эх, молодка-то очень хороша, ну хорошо, пятак, так и быть, тебе уступлю».

23 июля 1907 г.

Я вошел к Л. Н. убирать кабинет, когда он проснулся. Л. Н. говорит: «А погода всё не лучшеет, дожди да дожди непрерывные, плохая уборка лугов и хлеба». Л. Н. говорит, что сын Черткова разговаривал с одним мужичком про погоду. Чертков ему сказал: «Барометр поднимается на хорошую погоду». — «Нет, — говорит ему мужичок, — барометр ваш все врет, с ним никакого дела нельзя иметь».

24 июля 1907 г.

Я Льва Николаевича не видел, как он встал, оделся и ушел гулять. Прихожу я в спальню, его уже нет. Я начал поскорее убирать кабинет и спальню, чтобы не получить [замечания], которых я от него не получил ни одного в промежуток моей службы пятнадцати лет. Я [стал] убирать кабинет и спальню, только что убрал, Л. Н. вернулся с прогулки. Я сказал ему: «Здравствуйте». Он на приветствие тоже ответил: «Здравствуйте». Л. Н. говорит: «Вот это вы читали?» — указывает на притолку двери, на которой прищиплена булавкой картинка с нарисованным ослом и приделанным в бумагу искусственным хвостом из шерстяной толстой нитки. В заголовке написано: «ослиный барометр», должен [быть] вывешен на дворе. Л. Н. начинает мне объяснять, что написано внизу картинки осла: если хвост сухой — ясно; если хвост мокрый — дождь; если хвост двигается — ветер; если хвост быстро двигается — буря; если хвост невидим — туман; если хвост замерз — холод; если хвост свалится — землетрясение. Л. Н. очень на это смеялся. Это лето очень было дождливое, много препятствовало уборке, сенокосу и хлебов. Поэтому он мне объяснил значение барометра осла.

Однажды Лев Николаевич несет в руках свою почту, которую он сам выбрал из общей почты. Выбирал свою почту, а все-таки чужую захватил. «Вот это, — говорит он мне, — отдайте письмо нашему садовнику Гансу». Открытое письмо. Было написано по-эстонски. «Вот, — говорит, — как пишут эстонцы. Все языки: французский, немецкий, испанский, английский и тому подобные, все похожи друг на дружку, то есть по письму. А этот совсем ни на какой язык не похож и ничего в этом письме не поймешь».

1 сентября 1907 г.

Л. Н. была прислана телеграмма из С. Петербурга от г. Тычинкина. Он, Тычинкин, спрашивает гр. Софью Андреевну, что появилась в газетах статья о пятидесятипятiletней литературной деятельности Льва Николаевича, то есть о юбилее. Когда стали читать эту телеграмму, здесь был В. Г. Чертков, то Л. Н. обращается к нему и говорит: «Софья Андреевна должна озаботиться насчет провизии. Если обед будет вкусный, то наверно один год прибавят, будет вместо 55 лет — 56 лет».

18 марта 1908 г.

Во время обеда Л. Н. говорит: «Второе письмо получаю, что меня, говорят, ждут в Японию с радостью».

8 июня 1909 г.

Поездка Л. Н. в Кочеты Тульской губ. Новосильский уезд². Поехали 8 июня 1909 года Л. Н., С. А., Душан Петрович и Н. Н. Гусев и я. Накануне нашего отъезда был сильный дождь, по утра прекрасная погода.

[1909 г.]

Душан Петрович уехал в Австрию. Л. Н. в разговоре у Чертковых с Досевым сказал, что Душан Петрович уехал в Австрию, боюсь не придет³. В. Г. Чертков спросил Л. Н.: «А вы его любите?» Л. Н. ответил: «Очень люблю». В. Г. Чертков сказал: «Л. Н., ведь он против евреев». Л. Н. ответил: «Ведь ему есть над чем поработать, я бы был очень рад, если бы мне было бы над чем поработать».

Когда Гусева осудили в ссылку в г. Чердынь. Л. Н. сказал: «Вот как больного человека ссылают в здоровое место»⁴.

[на обороте листа:] Л. Н. сказал: «Когда Мария Льв. умерла⁵, это меня не так огорчает, что она умерла, а больше бы меня огорчило то, если бы она сделала какой-либо дурной поступок».

10 октября 1909 г.

М. Д. Чельшев был в Ясной Поляне⁶. Посещение Л. Н. Толстого. Приехал в Ясную Поляну половина седьмого вечера. Я его встретил. Л. Н. в это время только что встал к обеду. Я пошел доложить ему, что приехал к вам депутат Чельшов. Л. Н. сказал мне: «Просите его на верх». Я попросил его на верх. Л. Н. вышел ему навстречу. Чельшов поздоровался с Л. Н. Предложил ему сесть. Чельшов было приступил к делу с вопросом, зачем он приехал. Но Л. Н. его остановил: вот сейчас подали обед, пообедаем, потом будем говорить.

11 октября 1909 г.

Пришел какой-то человек к Л. Н., говорит: «Я из Петербурга приехал, мне нужно видеть Л. Н.» Я узнал в нем просителя денег. Доложил я Л. Н. Лев Николаевич вышел к нему, человек этот стал у Л. Н. денег просить. Л. Н. ему стал отказывать, потом последнее сказал: «Я об этом уже несколько раз в газетах печатал, что никому не могу помогать, потому что у меня нет ничего, а что имею, подаю: 5 коп. Если не хотите этого, то назовите меня мошенником, а к мошеннику незачем ходить». После этого Л. Н. я стал одевать на верховую прогулку. Л. Н. мне сказал: «сколько опять стало этих просителей, хоть бы помереть поскорей, тогда бы стали распоряжаться».

16 октября 1909 г.

Разговор Л. Н. с крестьянином Сергеем Терентьевичем Семеновым. Л. Н. Семенову говорит: «Вчера и нонче получил 2 письма. Пишут мне, что нужно вешать и вешать, а не отменять смертную казнь», — с удивлением сказал Л. Н.

За обедом Л. Н. разговаривал с приехавшей к нему женщиной-врачом из Парижа⁷. Она его спросила: «Вы, Л. Н., давно не едите мяса?» — «Не помню, думаю, лет 20 или больше». «Людоеды, — говорит он, — едят людей и им бывает очень вкусно, так же все равно и всякое мясо. Всё это готовится по инерции. Мне, — говорит Л. Н., — рассказывал Мечников: когда человека ведут на казнь, то начальник отмечает части тела, это правда, он мне присылал француза-путешественника из следователей, который мне подтвердил».

Потом разговор об Леониде Андрееве. Л. Н.: «Леонид Андреев хотел ко мне приехать, да в газетах было напечатано, что у него сын заболел, поэтому должно быть отложено. Леонид Андреев раньше хорошо писал, а теперь пишет что в голову придет». А Сергей Терентьевич Семенов сказал, что Леонид Андреев о последнем своем произведении, какой-то драме, не помню даже, похвалился, что в две недели ее написал.

Потом Л. Н. обратился к гостье женщине-врачу, приехавшей из Парижа, она полька: «А у вас в Польше есть хорошие писатели?» Она ответила Л. Н., что нет. Один только был хороший и написал только один рассказ очень хорошо. Л. Н. спросил, был ли он доступен народу? Она сказала: «нет, не доступен».

О шахматной игре Л. Н. сказал: «Нужна умственная деятельность, сдержанность и нужно уметь владеть собой, нужно думать».

17 октября 1909 г.

Л. Н. ездил на телефон к поручику⁸. Там в даче нашел одну кухарку, которая ему разрешила поговорить по телефону. Дал звонок на главную станцию, чтобы соединили с оружейным заводом. Сказали, готовы звонить на оружейный, спрашивают, откуда говорят. Л. Н. ответил откуда. Какой № нужно? Л. Н. сказал: №55. Сказали: готово. Тогда Л. Н. опять звонит. Опять спрашивают, откуда и кто говорит. «Я, Л. Н. Толстой. А вы кто?» — «Я Ольга Константиновна Толстая. Папа, это вы? Как здоровье ваше?» — «Слава Богу». — «Уехали ваши гости?» — «Нет еще, не приехали из Петербурга». Л. Н. сказал ей: «Оля, вы завтра приезжайте на Косую гору и мы выедем, там поговорим»⁹.

Приехали из Москвы с граммофоном, директор Акционерного Общества и еще с ним 6 человек, 2 фотографа, 1 механик и два приказчика. Вечером играли на граммофоне, выбирали самые лучшие напетые пластинки, чтобы Л. Н. угодить. Л. Н. слушал и все семейные. Директор привез этот граммофон Л. Н. в подарок, но Л. Н. от такого подарка отказался. Л. Н. мне утром сказал: «Хотели мне подарить этот граммофон, но я отказался. Тут всё свои выгоды. Они меня просят, чтоб наговорил несколько пластинок, ну что же делать, нужно наговорить».

18 октября 1909 г.

Л. Н. поехал верхом на ст. Засека поговорить по телефону. Начальник станции Козловка сделал запрос по телефону на ст. Тула, разрешат ли Л. Н. поговорить по телефону в г. Тулу. Со ст. Тула ответили, что не положено говорить по железнодорожному телефону в город. Тогда Л. Н. поехал на Казенную Засеку к лесничему. У лесничего стал просить, что-

бы соединили с оружейным заводом. Ответ последовал: занят. Л. Н. подождал, сделал другой запрос. На этот запрос ничего не ответили. Тогда Л. Н. поехал на частную дачу в Засеку к Занфтлебенам.

19 октября 1909 г.

Ольга Константиновна приехала из Тулы от дяди генерала Куна с детьми сыном Илюшкой и дочерью Соней. Ольга Конст. не успела раздеться с детьми и Л. Н. вернулся с прогулки верхом: «Здравствуйте, милая Оля и милые внучки». Внучки ответили: «Здравствуй, милый наш дедушка». Л. Н. обратился к внучке Соне, которая держит в руках книгу. «Ах, милая Соня, ты всё книги читаешь, напрасно, моя милая, с этих пор ты бабочками голову забиваешь, набьешь бабочками, а хорошему уж места не останется».

22 октября 1909 г.

Приехал скрипач Эрденко с целью вечером поиграть, но Л. Н. в этом ему отказал, сказал, что если моя дочь А. Л. согласится, то я не прочь послушать. Александра Львовна проснулась, ей об этом доложили. Она им отказала, сказала, что у нее голова болит. Они уехали на ст. Щекино с тем же ямщиком, с которым приехали. В 2 часа дня приехали опять к нам. Говорят, что не посадили на поезд, потому что плацкартов нет. Поэтому решили к вам обратно приехать, очень скучно сидеть на маленькой станции, целых полсуток дожидаться поезда. Подали им завтрак. Ходили гулять. В 6 часов пообедали. После обеда предложили что-нибудь сыграть. Чайковского и Соловья, еврейскую молитву. Л. Н. очень нравилась вся игра и всем общесемейным, и в том числе гостям. Тут был польский ксендз и с ним его знакомый¹⁰. Л. Н. попросил сыграть г-на Эрденко «По улице мостовой». От этой все были в восторге, в особенности Л. Н. был очень доволен и очень благодарил и сказал шутя, что купит конфет.

23 октября 1909 г.

Вернулся с прогулки, сказал Ольге Константиновне: польский ксендз вчера болтал, болтал мне очень много и говорит мне, что я не так делаю, а он думает про себя, что он не так делает? Я говорит, пришлю к вам моего знакомого узнать ваше мнение. Я думаю, он приедет не мое мнение узнавать, а свое мнение узнать.

24 октября 1909 г.

Л. Н. пошел утром гулять, спросил у Филиппа: сегодня везут новобранцев в Крапивну? Чьих ребят везут? Филипп сказал: везут Василия Фоканова и Прокошкина, Матвеева Николая, нашего кучера Ивана брата, Пелагеи Болхиной зятя. Л. Н. спросил: «А всех 8 человек? Я пойду в деревню посмотрю, как будут провожать». Пошел в деревню, проводил новобранцев до Двориков версты за две от Ясной Поляны. Пришел в дом, стал рассказывать А. Л.: «Я ходил в деревню новобранцев провожать, проводил их вплоть до Двориков». У самого полны глаза слез. «Распрощался с ними, пожелал им доброго пути. Ужасная картина, кто плачет, кто пляшет, кто в гармонику играет. Очень жаль молодых людей»¹¹.

21 октября 1909 г.

Л. Н. спросил меня, сколько мне лет. Я сказал ему, что 47 лет. Он удивился. Говорит, вы моложавы еще, я думал, гораздо меньше, потому проседи совсем нет.

25 октября 1909 г.

Спросил я у Л. Н. о здоровье. Он сказал: спал хорошо, но чувствую страшную слабость и спина болит. Александра Львовна тоже пришла, поздоровалась и спросила: «Папа, как ты здоров?» Он ей тоже ответил, как и мне. Потом А. Л. сказала: «Очень неприятно, что Александр Васильевич Цингер приехал». Л. Н. ответил: «что же, ничего, пускай его приехал». — «Как ничего, будет с тобой много говорить, надоедать с разными вопросами». — Ничего однако Л. Н. не завтракал. Я спросил опять о здоровье. Л. Н. сказал: «У меня страшная изжога и живот болит». К обеду Л. Н. вышел и обедал, много говорил с А. В., профессором Цингером, о науке физиологии.

27 октября 1909 г.

Пришел Леонид Семенов, внук известного сенатора Семенова. Леонид Дмитриевич Семенов кончил университет, два факультета. Пришел к Л. Н. повидаться, давно, говорит, у вас не был. «Брат Илья» меня назвал. Пришел он со своим знакомым крестьянином. Л. Н. попросил меня приготовить им постели. Я стал исполнять, готовить постели, накрывать простыни. А Семенов мне сказал: «Нет, брат Илья, нам ничего этого не надо». Взял с кровати маленький матрасик, положил на пол. «А кровать и простыни нам не нужно, брат Илья, и так будет хорошо»¹².

1 ноября 1909 г.

Л. Н. мне сказал: когда я плохо сплю, то я чувствую себя гораздо бодрей, когда хорошо сплю, то чувствую большую слабость.

1 ноября были гости: Ф. А. Страхов, М. В. Булыгин, А. Б. Гольденвейзер. За обедом Л. Н. говорил, что Чертков приглашает на свидание с ним в Серпухов вроде Сухотинского¹³. «Что же, — сказал Л. Н., — обрею бороду, надену поддевку, никто меня и не узнает». Потом Л. Н. говорил: заключенный в Минской крепости за отказ от военной службы Александр Соловьев просит Л. Н., чтоб ему прислал книжечек. Л. Н. послал ему книги. Комендант крепости книги просмотрел и написал Л. Н. письмо, что заключенным никаких книг не полагается читать, кроме военных сборников, и пишет Л. Н.: переслать книги вам или у себя подержать¹⁴.

8 ноября 1909 г.

Л. Н. сказал: брат Сережа высчитал, что он просидел на своем веку верхом на лошади 7 лет. А я сколько? Сейчас считать буду: по два часа в день. Кончил ничем. Не стал считать.

16 ноября 1909 г.

Л. Н. ездил в Овсянниково к М. А. Шмидт, очень утомился. Лег отдохнуть в 5 ч. вечера и весь вечер проспал и ослаб и не стал обедать. В 10 ч. вечера позвал меня помочь ему раздеться. Утром позвонил в колокольчик. Я вошел к нему, спросил его о здоровье. Спал, говорит, хорошо.

только сейчас сильная слабость и аппетита нет. Вчера вспоминал, вспоминал, сколько мне лет, так и не вспомнил.

20 ноября 1909 г.

Были французы музыканты 5 человек с клавесином, 2 скрипача, 2 виолончелиста, 1 контрабас¹⁵. Днем и вечером играли. Л. Н. игрой был очень доволен. Л. Н. утром спросил у меня, что же, вам нравилось вчера, как играли французы? Я сказал: очень нравилось. Л. Н. говорит: ведь это они играли на старинных инструментах, на которых 200 лет тому назад играли. И то играли, что 200 лет тому назад играли, я очень доволен остался. Л. Н. каждому музыканту подписал свой портрет.

7 декабря 1909 г.

С Л. Н. был припадок. Ездил в Овсянниково. Позабыл, что был в Овсянникове.

13 декабря 1909 г.

Л. Н. ездил к М. А. Шмидт. Сильно заболел, 40 градусов жару, время в 10 часов вечера. В девять часов был подан чай. Вдруг раздалась по дому тревога: Л. Н. заболел, озноб и жар. К 10 часам жару было 40 градусов. С. А. и А. Л. и вообще все живущие в доме перепугались. Мы с Душаном Петровичем принесли кровать. Кое-как с трудом с ним, пришлось его раздеть и положить в кровать.

3 февраля 1910 г.

Л. Н. пришел с утренней прогулки. Пришел к себе в кабинет и стал читать письма, которые только что привезли с почты. Я вошел к нему в кабинет. Принес ему кофе. В это время Л. Н. обращается ко мне и говорит: «Я сейчас читаю письмо, прислал мне Н. Н. Гусев. Он мне пишет: пошел погулять, встречается мне крестьянин, поздоровались мы с ним. «Здравствуй». — «Здравствуй, Н. Н.» Я спросил его, далече ли идешь с кувшином, или за водой? — Да, за святой водой, Н. Н. — Почему же она теперь только стала святой, а раньше разве она была грешная? — А как же, они небось купались черти в ней недели две, а теперь небось после водосвятия всех выгнали, небось нигде места не найдут.

6 февраля 1910 г.

Татьяна Львовна рассказывала за обедом Л. Н.: «Нана, ты помнишь, как ты вел нищую старушку пьяную под ручку по Хамовническому переулку, которая собирала?»

22 апреля 1910 г.

Утром приехал Михаил Львович, а в полдень приехал Л. Андреев. С. А. приказала чай подать поскорей. Пока готовили чай, Л. Н. с Л. Андреевым пошли гулять. Погода была хорошая. Вдруг изменилась, зашумел ветер, нашла грозовая туча, гром, молния, ливень с градом, а Л. Н. и Л. Андреева нет. Тут С. А. и все семейные всполошились, лошадей запрягать, ехать навстречу. Пока лошадей запрягали, гроза немножко стихла и дождь чуть-чуть перестал. Л. Н. и Л. Андреев пришли мокрые вдрызг, что называется ни одной сухой нитки. Я пошел Л. Н. помочь переодеться, растер Л. Н. спиртом, помог одеться. Тогда Л. Н. послал

меня к Л. Андрееву — послал ему свое белье и блузу. Л. Андреев отказался, потому у него свое все есть.

(июнь 1910 г.)

В первых числах июня в Ясную Поляну приехал князь Трубецкой с женой. Л. Н. сказал, что он приехал только на один день, но теперь, кажется, соблазнился, хочет остаться лепить, но ничего, он очень хороший человек, сказал Л. Н. И действительно, Трубецкой начал писать маленький портрет. Кончил портрет, стал лепить бюст Л. Н. верхом на лошади. На Кривом, так называли лошадь.

12 июня 1910 г.

Поехали к Черткову Л. Н., А[лександра] Л[ьвовна] и доктор Душан Пет. и Булгаков, и я. Приехали мы на ст. Столбовую ровно в 6 часов вечера. Пока мы с Булгаковым выгрузили вещи, Л. Н. уже встретил Владимир Гр. с сыном В. В. Любезно расцеловались. Когда мы управились с вещами, увидел и нас Владимир Григ., также любезно встретил и поцеловал нас и сказал: очень рад опять вас видеть. Когда Л. Н. и мы селись в экипажи, здесь было очень много народу, железнодорожные служащие и некоторые выходили смотреть и с поезда пассажиры и в том числе местный становой пристав с урядником случайно были на вокзале, провожали важного политического преступника из местной психиатрической больницы.

12 июня 1910 г. Мещерское.

Л. Н. говорил с Чертковым про кинематограф. Потом мистер Тапсель говорит Черткову по-английски, что Толстого снять вместе с умалишенными. Чертков обращается к Л. Н. и говорит, что Тапсель говорит, вас нужно пустить с умалишенными. Столыпин увидит эту фотографию, обрадуется. Скажет: «Слава Богу, попал в сумасшедший дом».

13 июня 1910 г. У Черткова.

Л. Н. был в Мещерской больнице Московского земства, гулял в саду, осматривал снаружи корпус больницы.

14 июня 1910 г.

Ходил в больницу умалишенных в Троицкое, разговаривал с умалишенными. Л. Н. одному умалишенному сказал, пора мне умирать. А больной ему сказал, что нужно еще пожить, умирать надо подождать.

15 июня 1910 г.

Приезжал директор Мещерской больницы пригласить Л. Н. на кинематограф. Л. Н. был не совсем здоров в это время, спал. Директор попросил передать Л. Н., что у нас было заседание по поводу того — пригласить Л. Н. на спектакль. По поводу этого меня уполномочили, вот я и приехал попросить Л. Н. на спектакль. Л. Н. ходил на второй день с ответом, осматривал больницу, разговаривал с больными. Л. Н. за обедом сказал, какая вереница этих несчастных больных, а Ольга Семеновна ходит везде, где ей вздумается. В. Г. Чертков сказал: ей предоставлено право везде ходить.

16 июня. У Черткова.

Л. Н. рассказывал, ходил по одиночным камерам, смотрел буйных больных. Одна женщина начала себя неистово хлопать руками, один мужчина начал себе пальцы кусать. Один старичок спросил меня, когда просторно жилось: теперь или раньше. Я ответил ему, что раньше. И он подтвердил, что в старину просторнее жилось. Л. Н. одобрил старичка, что он очень умно сказал. Потом Л. Н. сказал, что подошла ко мне учительница. Я говорит, в Бога не верю, а верю в науку. Одна, говорит Л. Н., молодая красивая девушка жаловалась, что ее очень плохо кормят, нужно ей улучшить пищу. Л. Н. сказал: полторы тысячи умалишенных в одной больнице. Сколько же будет во всей России, тысяч триста. Льву Н. директор сказал, что у нас в России очень слабая статистика ведется. У Л. Н. гнетущее впечатление осталось.

Пришел Л. Н. в столовую. Мы все сидели чай пили. Л. Н. сказал: я думал, вы все больны, а потому женщина, говорит, повязана. Вера Ляпунова была повязана. У меня, говорит Л. Н., сильное впечатление осталось.

17 июня 1910 г. У Черткова.

Л. Н. и Владимир Гр. Чертков поехали верхом в Троицкое. Л. Н. поехал на серой лошади. А. Л. спросила Л. Н.: Папа, ты куда едешь? Л. Н. сказал: Едем в Троицкое. Л. Н. спросил у меня хлыстик. Я ему: я не привез своего из Ясной Поляны. Ну, ничего, — сказал Л. Н. Приехал Л. Н. из Троицкого, рассказывает, видел умалишенных. Кто-то из нас сказал: политические. Л. Н.: не думаю, по всей вероятности, уголовные. Чертков сказал: один просил копеечку. Я ему, говорит, дал 2 коп. и у них пошел спор со служителем, а Л. Н. сказал: я этого не заметил, у меня были гривенники, я бы дал им.

17 июня. У Черткова. Мещерское.

Утром вошел я в спальню к Л. Н. Л. Н. мне сказал: Вы ничего не слышали ночью? Я ответил: Ничего не слышал. Л. Н. говорит: Софья Андреевна прислала телеграмму, просит немедленно ответить, что у нас случилось. Я спросил Л. Н.: «А кто вам сказал?» — «Сейчас был у меня Чертков. Он и говорил». Л. Н. сказал: «Кто-нибудь наболтал. Я просил ответить, что у нас все благополучно». Л. Н. сегодня сказал А. Л.: «Саша, ты поезжай домой сегодня». — «Почему?» — «Потому здесь оспа у девочки». — «Нет, я не поеду». — «Почему же?» — «Папа, — ответила А. Л., — чему быть, того не миновать». Л. Н. спросил у А. Л. «А тебе привита оспа?» — «Да, папа, в детстве привита была». Днем приходили из Мещерской больницы доктор и фельдшерница прививать нам всем оспу. А. Л. долго колебалась, прививать ей оспу или так оставить, потому доктор Маковицкий настаивал: не прививать, потому вы, А. Л., не здоровы, вам нельзя прививать, а А. Л. очень хотелось привить, боялась захворать оспой.

18 июня 1910 г. У Черткова. Мещерское.

Приходили три доктора из Троицкой больницы пригласить на понедельник 21-го июня на вечер кинематографа. Будут показывать больницу и Л. Н. просили приехать посмотреть.

Был свисток на обед. Л. Н. услышал свисток и пришел в столовую и говорит: «Один купец из Орла ездит на лошадях в Москву. Любопытные спрашивают купца, почему он ездит на лошадях, а не на машине. Тогда купец отвечает: что я, кобель что ли бегать на свисток».

18 июня рождение А. Л. Никто не знал о том, что ее рождение. А. Л. сказала Булгакову: мне сегодня исполнилось 26 лет, сегодня мое рождение. Булгаков набрал букет полевых цветов и преподнес их А. Л. А мы с Душаном так поздравили. А Чертковы никто об рождении не знали. Так и прошел этот день без торжества.

19 июня 1910 г.

Утром Л. Н. говорит А. Л.: «Саша, твое рождение вчера было?» — «Да, папа». — «Сколько тебе лет?» — «26 лет, папа, вот как». — «Что же, ты грустишь о том, что не празднично было?» — «Нет, папа, нисколько». — «Ну как же, ты бы сказала, они бы сделали, что могли». — «Нет, папа, я нисколько этим не огорчена».

Л. Н. сказал, что в Европе пишется в год три тысячи рассказов, но едва ли найдется из трех тысяч три рассказа для народа. Тогда Софья Андреевна сказала: для народа только пьяный купец, что в кинематографе показывали. Л. Н. сказал: этого мы вопроса не касаемся. Когда народ читает хорошие рассказы, то он умиляется, а мы его развращаем и грабим и продолжаем это делать.

20 июня 1910 г. У Черткова.

В Мещерском в больницу умалишенных приехали смотреть кинематограф Л. Н. и Александра Львовна и Владимир Гр. Чертков. Поехали в Мещерское ровно в 3 часа дня на серой лошади в пролетке, Владимир Григ. за кучера, на козлах за кучера, а Л. Н. и А. Л. сидели в экипаже. А меня Л. Н. послал вперед. Я скажу там, чтоб вас пропустили. Только что я вышел за деревню Дубинино, иду полем, оглянулся назад, и Л. Н. едет и все вышеупомянутые: А. Л. и В. Гр. Поровнялись со мною. Владимир Григ. говорит: «Л. Н., я думаю Илью Васильевича посадить со мной на козлы, козлы так просторны». Я не ожидал. Л. Н.: «Да, разумеется, посадить, а то там его не пропустят без нас. Илья Васильевич, садитесь». Я сел на козлы и поехали дальше. Около Мещерского есть приют. Из этого приюта дети вышли Льва Николаевича встречать. Только что поровнялись, и посыпались детские голоски: «Здравствуйте, Л. Н., здравствуйте, Л. Н.!» Едем дальше. Проехали мост. Тут больничное владение с корпусами на четверть версты протяжения и виднеются толпы встречающих, служащие с своими женами и детьми. Только что поднялись на горку и поворот вправо и начали раздаваться голоса, детские и взрослые: «Здравствуйте, Л. Н.!» И тут же было поставлено 2 фотографических аппарата. Только что мы с ними поровнялись, аппараты щелкнули. Л. Н. сказал: «не больно», а сам засмеялся.

Повернули налево, где начались главные корпуса. Тут народу, вся улица усеяна, дети и взрослые. «Здравствуйте, Л. Н., здравствуйте, Л. Н.!» Мы поехали рысью, дети побежали вперед, лошади рысью. Л. Н. очень смеялся на одну девочку. Она старалась всех детей перегнать. Л. Н.

приговаривал и смеялся: «Всех, всех перегонит!» Подъехали к главному зданию, где будут показывать картины. Льва Николаевича у подъезда встретил директор больницы Михаил Платонович с своим помощником и всем служебным персоналом.

Л. Н. поздоровался с директором. «Добро пожаловать, Л. Н., в залу». Л. Н. сел на заднюю скамью рядом с директором, и А. Л., Влад. Гр. Чертков. А мы впереди сели через одну скамейку. Во время антракта Л. Н. узнал одну из больных, которая очень близко сидела от Л. Н. Л. Н. поднялся с места и говорит ей: «Здравствуйте, Ольга Ивановна. Мы с вами виделись прошлый раз». — «Нет, я вас не видела», — отвечает больная. «Как не виделись, ведь вас зовут Ольга Ивановна». — «Да, — отвечает больная, — Ольга Ивановна». — «Как же мы, — говорит Л. Н., — мы с вами говорили насчет учения». — «Да, говорили», — отвечает больная. Тогда больная приходит в ярость и говорит: «Л. Н., вам сейчас Михаил Платоныч про меня говорил?» — «Нет», — говорит Л. Н. — «Как нет, я слышала, разве можно так обращаться с больными, как обращается доктор Кулачинский». Сама кричит, смотрит на Л. Н. и директора быстрыми глазами, раскаленными, как огонь. — «Разве можно так больных лечить, доктор Кулачинский говорит: Вы совсем здоровы, будто я притворяюсь. Так невозможно больных лечить», — понизила тон Ольга Ивановна.

Во время антрактов Л. Н. выходил гулять с директором, и каждый раз Л. Н. обстукал народ и с фотографическими аппаратами и с вопросами. А один доктор был очень доволен, что ему пришлось очень хорошо Л. Н. снять; идет хвалится: вот удачно вышло снять Л. Н. — и в спину, и в бок, и лицо со всех сторон.

21 июня 1910 г.

Троицкой окружной больницы Л. Н. в кинематографе. В понедельник 21-го июня прислали за Л. Н. пару серых лошадей, экипаж на резиновом ходу.

22 июня 1910 г.

А[лександра] Л[ьвовна] говорит мне: «Вы знаете что, Илья Васильевич?» — Я сказал: «Нет, не знаю». — «Сейчас получена телеграмма, что хозяйка ваша лежит больная, нервничает. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите сейчас Л. Н., пускай выпится, потом я телеграмму ему отдам». Л. Н. проснулся. А. Л. сообщила ему о получении телеграммы. Л. Н. написал ответ, что случилось, отвечайте, приедем. Софья А[ндреевна] телеграфирует: «приезжайте немедленно». Следующая телеграмма от Варвары Михайловны¹⁶: «не спешите, обычная история, ждет приезда». Л. Н. послал вопросную телеграмму: если очень нужно, то сегодня ночью приедем, или завтра днем.

23 июня 1910 г.

Утром получена телеграмма: приезжайте немедленно. Л. Н. приказал мне укладываться, сказал: сегодня едем.

10 июля 1910 г.

Л. Н. поехал верхом с Львом Львовичем. Была хорошая погода. Вдруг разразилась гроза с ливнем. С. А. ходит по террасе, волнуется, что те-

перь со Львом Николаевичем. Приехал Л. Н. в половине пятого часа, промок до костей. С. А. ворчит. Я пошел наверх в спальню, чтобы приготовить Л. Н. белье переодеться.

11 июля 1910 г.

В первом часу ночи все улеглись спать. С. А. вышла на балкон против спальни Л. Н., стала ходить по балкону. Л. Н. лежал уже в постели. Слыша ее шаги и вздохи, стал ее уговаривать, чтобы шла спать. Напротив, она легла на балкон и лежит. Тогда Лев Ник. пошел на балкон, стал ее уговаривать, чтобы она пошла спать. Вопреки того, она сбежала по лестнице, ушла в сад. Тут всех перебудили искать. Лев Львович проснулся. Варвара Михайловна, Н. Н. Ге, доктор Маковицкий. Кричала: ты дал мне слово вернуть назад, а сам пошел часы искать, нас с собой позвал, если б я их нашла, я бы их ногами растолкла, я этого черта убью.

12 июля 1910 г.

Л. Н. попросил меня сходить к кучерам, послать кого-нибудь в Телятинки, чтобы попросить А. Б. Гольденвейзера, не поедет ли он со мной верхом. Но кучера перепутали, призвали вместо А. Б. Гольденвейзера Черткова.

13 июля 1910 г.

Не здоров, сильная слабость. Утром у Л. Н. Татьяна Львовна и Александра Львовна разговаривали с Л. Н. Лев Николаевич сказал: «Я сделал ей последнее предложение». К вечеру С. А. стала волноваться, не обедала, но сидела за столом.

14 июля 1910 г.

Александра Львовна: я сейчас уеду. Л. Н.: да, да. Александра Львовна: а она его измучит, он идет от нее шатается. Разговор Л. Н. с Татьяной Львовной и Александрой Львовной: Л. Н. сказал: я ей сделал последнее.

14 июля 1910 г.

Мало спал, чувствую себя лучше. Утром [С. А.] требовала, чтобы немедленно вернуть от Черткова дневник. Александра Львовна поехала за дневниками. Первый раз А. Л. почему-то не привезла и спряталась у нас в комнате. Потом поехала второй раз. Тогда привезла и подала дневники жене в окно¹⁷. После обеда Татьяна Львовна и Варвара Михайловна пошли запереть и печать положить. С. А. смекнула и сошла вниз, не успели запечатать.

15 июля 1910 г.

Татьяна Львовна и Михаил Сергеевич Сухотин поехали в Тулу в Московский банк сдать дневники.

С. А. заперла Л. Н. у себя в спальне, стала волноваться и плакать и просить у Л. Н. дневники. Лев Николаевич категорически отказал, сказал, что я сделал для тебя последнее. Она стала плакать и сказала: я отравлюсь. Л. Н. сказал: делай, что хочешь, и оставь меня Бога ради. Сказал дрожащим плачущим голосом и ушел, ногами заплетая, в сад.

С. А. пришла в себя и вышла на балкон. Сказала Александре Львовне: позови папа, я его не стану больше мучить, мне его стало очень жаль.

16 июля 1910 г.

Было всё спокойно. Софья Андреевна и Татьяна Львовна поехали в Тулу опять в Московский банк. С. А. хотелось удостовериться, верно ли это дневники, думала, что ее обманывают.

17 июля 1910 г.

С. А. послала Черткову письмо, чтобы приезжал к Л. Н., а то все равно они тайно будут видеться. Конечно, Чертков был этому очень рад, не замедлил приехать, стал каждый вечер ездить. Но С. А., как Чертков приедет, то свидание было с Л. Н. не иначе, как в присутствии С. А., всегда она старалась при свидании быть с ними.

22 июля 1910 г.

Л. Н. заспался. 11 часов проснулся слабый, весь больной. Болит очень. Л. Н. не стал совсем с постели и целый день ничего не кушал, был маленький жар.

23 июля 1910 г.

Приехал А. Б. Гольденвейзер, сказал С. А., что приедет Чертков. С. А. начала волноваться и го{во}рит: Черт едет. В переднюю вошла Александра Львовна. Графиня С. А. на лестнице плачет. А. Л. плюнула и ушла.

С. А. написала письмо А. Л., в котором пишет: я не признаю такую дочь, которая в мать плюет. А. Л. ответила С. А. письмом, что я не признаю такую мать, которая ходит под дверями, слушает, что говорят.

24 июля 1910 г.

С. А. почти всю ночь не спала, укладывалась ехать в Москву. В полдень С. А. действительно уехала. Л. Н. сказал: что же, пускай едет, я ей всё сделал. Не хотела, чтоб он ездил. Я это сделал. Она сама ему написала любезное письмо, чтоб он ездил.

30 июля 1910 г.

Лев Николаевич и Софья Александровна Стахович, А. Б. Гольденвейзер и Варвара Михайловна вечером играли в карты. Кончили играть в карты. А. Б. Гольденвейзер стал играть на фортепьяне, все слушали, только С. А. на что-то обиделась, ушла к себе в спальню. Екатерина Васильевна [жена Андрея Л-ча] ходила за ней, но она все-таки не пошла. Только около 11 часов пришла в залу и то потому, что С. А. Стахович нужно проводить, она уезжала на поезд.

3 августа 1910 г.

Елизавета Ивановна Черткова прислала С. А. письмо.

6 августа 1910 г.

Приехал Короленко Владимир Галактионович.

9 августа 1910 г.

Л. Н. не совсем здоров. Вечером пришел солдатик еврей, просил доложить Л. Н. Я доложил. Л. Н. его принял, поговорил с солдатиком Л. Н. минут 10. Солдатик ушел. Только что я вышел из передней в буфет.

солдатик бежит ко мне, как сумасшедший, говорит мне: подите наружу, вас офицер зовет и скажите офицеру, что вы мне дали 7 яблок, и сует в руки мне конверт с фотографической карточкой Л. Н., подписана секретарем Булгаковым. Я вышел к офицеру и с ним еще какой-то молодой человек. Офицеру я сказал: что вам угодно? А солдатик держал руку под козырек. Офицер немного смутился и сказал мне: не можете ли Вы нам дать книжечек? Я сказал, что я книги не раздаю и не могу вам дать. Дает книжки у нас доктор, а его сейчас дома нет. А солдат все держит под козырек. Солдат: Ваше благородие, мне можно идти? Офицер: можно. Офицер просит опять книжечек. Тогда я пошел к Л. Н., рассказал ему, в чем дело, и попросил у него книжечек. Л. Н. дал книжку «На каждый день», «Круг чтения». Я вынес офицеру. Офицер взял и передал своему товарищу, который был одет в штатское платье¹⁸.

10 августа 1910 г.

Утром у Л. Н. насморк и кашель. Вошел я к Л. Н. Спросил он у меня: «А что, солдаты ушли?» Я сказал: «Не знаю, хотели в 7 часов утра идти». Да, вчера Л. Н. мне сказал: «Еще два солдатика были». Я спросил: «еврей или русский?» «Один еврей, другой русский». Л. Н. сказал, что они мне сказали: за самовольную отлучку на три месяца тюрьмы. С трудом к вам пришли. После проверки подполковник нам сказал: «кто пойдет к Л. Н., тот будет сидеть трое суток в карцере. Это наш враг» — подполковник сказал солдатам.

22 сентября 1910 г.

Л. Н., А. Л. приехали из Кочетов. Встреча была довольно сухая со стороны С. А., а также Л. Н. был к С. А. сух. Приехали в половине первого. Л. Н. торопился спать. Сказал мне: «Я эти дни плохо сплю, всегда эти дни был взволнован. Боюсь, как бы не заболеть, так всегда кончается со мной».

23 сентября 1910 г.

Был день свадьбы Л. Н. и С. А. Утром С. А. встала раньше обыкновенного, оделась в белое платье. Я ее поздравил с днем свадьбы. Она мне ответила в благодарность недовольным голосом: «Ну какая это свадьба», вышла гулять по саду.

3 октября 1910 г.

Л. Н. вернулся с прогулки верхом. Лег спать в начале седьмого часа. Подали кушать. В половине обеда С. А. пошла к нему в спальню. Л. Н. проснулся. С. А. заметила, что Л. Н. нездоров. Пошел в спальню Душан Петрович и действительно с Л. Н. начались припадки. Все вышли из-за стола, перестали кушать, засуетились все. Всех припадков было пять и два раза судорги в ногах. Все бегали, суетились, горячую воду наливали в мешки, прикладывали к ногам. Послали за А. Л. в Телятинки. Прискакала А. Л. перепуганная.

4 октября 1910 г.

Л. Н. получило. 4 октября С. А. просила А. Л. вернуться опять в дом, просила у А. Л. и В. М. извинения: «Между прочим, я было потеряла

мужа, а ты отца. Виновницей всему я была». Сергей Львович немного покричал. Была и Татьяна Львовна в это время. Павел Ив. Бирюков был, помогал раздевать Л. Н.

16 октября 1910 г.

Л. Н. за завтраком сказал: «Я поеду сейчас к Черткову». С. А. немедленно оделась, вызвала Л. Н. из завтрака на парадную лестницу, начала Л. Н. говорить плачущим голосом. Л. Н. ей начал тихо возражать. С. А. ушла из дому, а Л. Н. оделся и сказал: «Я не поеду к Черткову». Александра Львовна и Варвара Михайловна были этим очень смущены. А. Л. сказала: «Напрасно уступаешь».

18 октября 1910 г.

У Л. Н. печень болела. Верхом не ездил, сильная слабость.

20 октября 1910 г.

Л. Н. попросил меня подать прохожему 5 к. Я подал. Но прохожий пять копеек повертел в руках и отдал мне назад. Я взял и пошел к Л. Н. Л. Н. спросил меня: «Ну что же, вы подали этому человеку?» Я сказал: «Да, подал, но он мне назад 5 копеек отдал, видимо был не доволен». — «Да я ему кой-что вперед, — сказал он, — вероятно понял, он умный, как видится, человек». Потом мне Л. Н. сказал: «Вот, говорит, где по шее бьют, там бывают довольны и уходят, а я немного сочувствую чем могу, а от них уже отбою нет, так и дают, кому 5 к., кто просит рубль, а кто больше, на дорогу, до Одессы, до Питера».

К Л. Н. пришел мужичок из деревни Сорочинки, за 40 верст от Ясной Поляны. Я доложил Л. Н. Л. Н. сошел к мужичку. Мужичок стал Л. Н. просить: не может ли Л. Н. помочь, меня осудили на три месяца в тюрьму. Л. Н. спросил, за что. Мужичок говорит, что мы, несколько нас мужиков, возили на станцию от одного купца крупу. И вот мужики в отсутствие мое взяли порвали мешок в моем возу, отсыпали крупу 10 ф., сказали на меня этому купцу. Купец возбудил дело против меня, у Земского начальника осудили меня на три месяца. Л. Н. пришел в свой кабинет, стал рассказывать со слезами на глазах: вот так вор, за 10 ф. крупы на три месяца в тюрьму осудили этого мужичка. Л. Н. говорит: мужики за то были на него сердиты, он трезвый, не пропивал свои 10 к., которые им всем полагались на чай по 10 к. на каждого мужика. Л. Н. обещал ему за него похлопотать перед Земским начальником.

Сидорков Илья Васильевич (1858-1940) — крестьянин села Перевлес Рязанской губ. С 1893 по 1910 г. слуга в Яснополянском доме. Впоследствии сотрудник Музея-усадьбы «Ясная Поляна». В 1930-х годах был хранителем комнат Л. Н. Толстого в Музее.

Обязанности его как слуги в доме были самые разнообразные. Но самая главная — помогать Л. Н. Толстому. Толстой очень уважал и любил Илью Васильевича, мог обо всем поговорить с ним, от бытовых вещей до политики. У Д. П. Маковицкого в «Яснополянских записках» есть такая запись 22 ноября 1905 г.: «Л. Н. разговаривал с Ильей Васильевичем об избирательном законе в Австрии, где добиваются всеобщего избирательного права. Илья Васильевич читает газеты, знает до мельчайших подробностей о шестивин венских рабочих раньше, чем Л. Н. узнает о внутреннем положении в России (о забастовке телеграфа и почты)» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 1. С. 467).

- ¹Л. Д. Николаева (рожд. Нечаева), жена друга Толстого С. Д. Николаева, переводчика сочинений Г. Джорджа. Летом 1907 г. Николаевы жили в деревне Ясная Поляна.
- ²В имении Кочеты жила Татьяна Львовна с мужем М. С. Сухотиным и дочерью Танечкой. Толстой пробыл там в этот раз до 3 июля.
- ³Д. П. Маковицкий уехал 9 сентября 1909 г., вернулся в Ясную Поляну 3 октября.
- ⁴Н. Н. Гусев был осужден в августе 1909 г. «за революционную пропаганду» — распространение запрещенных в России сочинений Толстого и отправлен в Чердынский уезд Пермской губ. под гласный надзор полиции.
- ⁵Дочь Толстого Мария Львовна умерла 27 ноября 1906 г. Ей было 35 лет.
- ⁶М. Д. Челышев (1866–1915) — член Гос. думы третьего созыва от Самары, самарский городской голова; вносил в Думу проект борьбы с пьянством. Приезжал в Ясную Поляну по приглашению Толстого, который посоветовал поднять и вопрос о земле. «Очень интересный», отмечено в дневнике (ПСС, Т. 57, С. 150). И в письме к В. Г. Черткову: «Он умный, думающий своим умом человек» (Т. 89, С. 147).
- ⁷М. А. Липинская приезжала посоветоваться относительно своей научной работы по гигиене.
- ⁸Телефон был на даче тульского знакомого купца и фабриканта Занфтлебена.
- ⁹Толстой хотел сообщить невестке, что Андрей Львович, расставшись с Ольгой Константиновной, намерен передать их детям принадлежавшее ему имение Таптыково Тульской губ.
- ¹⁰Тульский ксендз Владислав Мажонович и Сильвестр, учитель французского языка в тульской гимназии, корреспондент парижской газеты «Le Journal». Толстой отметил в дневнике: «Француз грубо льстил. Ксендз, очевидно, не верит, но хочет себя уверить. Софист своих преданий. И нужно ему не мое мнение, а мне высказать свое» (ПСС, Т. 57, С. 158).
- ¹¹Под впечатлением проводов новобранцев Толстой написал очерк «Песни на деревне».
- ¹²Л. Д. Семенов (1880–1917), поэт-символист, последователь религиозного учения А. М. Добролюбова. С другом, крестьянином Михаилом, пришел пешком из Рязанской губ. Шли шесть дней вдоль полотна железной дороги без копейки денег, прося милостыню. Семенов был одет в поношенную крестьянскую одежду и обут в лапти. 19 ноября 1909 г. Толстой написал ему: «То чувство, которое вызывает во мне мысль и воспоминание о вас, это скорее сожаление и раскаяние в том, что, когда я мог, я не избрал того чистого и прямого пути, по которому вы идете...» (ПСС, Т. 80, С. 203). В дневнике 28 октября отмечено: «Я очень рад был ему и радуясь на него и стыжусь себя» (Т. 57, С. 161).
- ¹³В. Г. Чертков прислал бумаги, связанные с завещанием Толстого.
- ¹⁴Известны письма Толстого по этому поводу к поручику П. Туржанскому, временно исполнявшему обязанности коменданта Минска.
- ¹⁵В Ясную Поляну приехали дававшие концерты в Москве члены парижского общества старинных инструментов: Maurice Hewitt, Henri Casadesus, Mariel Casadesus, Maurice Devilliers, Alfredo Casella.
- ¹⁶В. М. Феокритова, подруга А. Л. Толстой, переписчица на ремингтоне. Сопровождала Александру Львовну после ухода Толстого и присутствовала при его смерти в Астапове. Была сотрудницей московского музея.
- ¹⁷Дневники были переданы в форточку Феокритовой, потом Татьяне Львовне: Софья Андреевна, удостоверившись, что это дневники, скоро их возвратила.
- ¹⁸Против въезда в усадьбу разбили лагерь два батальона солдат. Им было запрещено ходить к Толстому. 10 августа — в дневнике: «Вечером были солдаты — евреи три и один политический — хохол. Впечатление ненужное и скорее неприятное» (ПСС, Т. 58, С. 92).

38. Н. Н. КРАМОРЕВ В Ясной Поляне в 1907 году

Начав читать произведения Л. Н. Толстого, я стал все более и более ими заинтересовываться и увлекаться. Увлечение это сопровождалось каким-то нравственным освежением, каким-то просветленным самочувствием.

Свойственные мне в ранней юности меланхолические настроения, под влиянием чтения сочинений Льва Николаевича, начали все чаще сменяться настроениями оптимистическими, светлыми.

Постепенно влечение к чтению книг, написанных Толстым, сделалось для меня почти необходимостью, а Лев Николаевич превратился буквально во властителя моих дум.

Я думал о нем, засыпая. Просыпаясь утром, я снова думал прежде всего о нем же.

О нем, и о себе: все ли, что я делаю, чем интересуюсь и к чему стремлюсь, — все ли это то, что нужно. Все ли здесь верно и правильно в самом широком смысле этих слов.

Кончились мои раздумья тем, что весной 1906-го года, в возрасте 16-ти лет, я обратился ко Льву Николаевичу с письмом, в котором изложил ему свои думы, сомнения и раскаяния.

Спустя некоторое время я получил из Ясной Поляны ответ, написанный по поручению Толстого, доктором Маковицким — тем самым, в сопровождении которого осенью 1910-го года Лев Николаевич тайком ночью навсегда уехал из яснополянского дома.

В письме содержался совет читать Евангелие, руководствуясь небольшой брошюрой Толстого «Как читать Евангелие и в чем его сущность», вложенной в конверт вместе с письмом. Кроме того, в письме содержался совет читать также работу Льва Николаевича «Круг чтения», недавно им законченную.

Далее Маковицкий писал, что Лев Николаевич советует мне вообще «не изменять жизнь внешнюю, а постараться изменить жизнь внутреннюю». Заканчивается письмо словом: «Привет!»¹

Прошло около года после получения мной письма, написанного по поручению Льва Николаевича Душаном Петровичем Маковицким. Мне стало не шестнадцать, а уже семнадцать лет (я учился в то время в 7-м классе московской Пятой гимназии). И я снова написал Льву Николаевичу. На это письмо Лев Николаевич ответил мне сам. Вот что он написал:

Получил ваше письмо и вполне понял вас. Переходы от высокого духовного настроения к телесному, низменному бывают со всеми людьми и в особенности часто у молодых. Важно то, чтобы человек знал, какое настоящее, свойственное ему как человеку. На вопросы ваши я и на тот и на другой отвечаю одним и тем же. Изменять свою жизнь: отказываться от занятий музыкой, к которой имеешь склонность и способность, или от одинокой свободной жизни, соединив себя с женою, можно и должно не тогда, когда в голове решил, что это было бы хорошо, а только тогда, когда *не можешь* поступить иначе. И решить это в своей душе может только тот,

кому предстоит этот вопрос. Вы пишете, что не читали Евангелия. Я советовал бы вам теперь читать «Круг чтения», день за днем, начав с апреля, то, что в одном дне. Думаю, что такое чтение поможет вам укрепиться в том, что вы считаете хорошим, и будет содействовать разрешению возникающих вопросов.

Лев Толстой

Датировано письмо Льва Николаевича 11-м апреля 1907 года. Оно опубликовано в 77-м томе собрания сочинений и писем Л. Н. Толстого, состоящего из 90 томов (см. стр. 81–82 в 77-м томе).

Прошло три месяца с тех пор, как я получил письмо Льва Николаевича, и я опять обратился к нему с письмом. На этот раз я написал, между прочим, что очень хотел бы повидать Льва Николаевича и просил его разрешения приехать для этого в Ясную Поляну.

Мне необычайно захотелось собственными глазами взглянуть на того удивительного человека, который так сильно мог влиять на мое самочувствие, хотя ни я его, ни он меня ни разу не видели.

На третье мое письмо я получил ответ от Владимира Григорьевича Черткова. Вот что он писал:

Николай Николаевич, Л. Н. Толстой, будучи очень занят письменными работами, попросил меня ответить вам за него на ваше письмо от 17 июля, которое его очень тронуло.

Он будет рад вас видеть. Если вы приедете, он просит вас привезти с собой вашу скрипку, т. к. ему хотелось бы познакомиться вас с одним другом своим, профессором музыки в Московской консерватории, который, быть может, будет вам полезен в будущем (имеется в виду Гольденвейзер А. Б. — *Н. К.*).

Предлагаю вам, — пишет далее Владимир Григорьевич, — остановиться у меня. Тогда вам, вероятно, возможно было бы иметь не одно, а несколько свиданий с ним, не обременяя его домашних и не будучи сами обременяемы ими.

Поехал я к Черткову, а затем вместе с ним и в Ясную Поляну, только недели через три после получения написанного Владимиром Григорьевичем письма. Дело в том, что мой отец болел скарлатиной, и Чертков опасался, что я перенесу с собой заразу. Пришлось переждать.

Приехал я к Владимиру Григорьевичу 15-го (по новому стилю 28-го) августа под вечер. А на следующий день Чертков, на шарабане, запряженном лошадкой, которой он правил, повез меня в Ясную Поляну.

Ехать надо было версты четыре-пять. Пока мы ехали, Владимир Григорьевич разговаривал со мной, иногда задавал вопросы. Узнав, что я только что перешел в 8-й класс гимназии (я учился в Пятой московской гимназии), Чертков стал советовать мне выйти из гимназии, не оканчивая ее, так как, по его мнению, обучение в гимназии вообще ни к чему нужно не было.

Когда мы приехали в Ясную Поляну, Лев Николаевич был на прогулке. Стали его ждать в одной из комнат нижнего этажа яснополянского дома.

Спустя некоторое время за дверью послышался чей-то разговор. Затем дверь открылась и вошел Лев Николаевич. Чертков начал ему пояснять, кто я такой, но Лев Николаевич сказал, что догадывается, назвав меня по фамилии («это Краморев», сказал он).

Обратившись ко мне, Лев Николаевич спросил: «Сколько вам лет?» Когда я ответил, он сказал, что пойдет немного отдохнуть (он перед обедом обычно отдыхал минут 15).

Во время разговора со мной Лев Николаевич посмотрел на меня тем взглядом, который некоторые из встречавшихся с ним называли пронизывающим.

Когда Лев Николаевич вышел, я сказал Черткову, что он показался мне немного суровым. Владимир Григорьевич на это возразил, что Лев Николаевич просто утомлен прогулкой. И это было совершенно верно. Когда минут через 15–20 Лев Николаевич вернулся, он был как бы совсем другим.

Чертков ненадолго куда-то вышел, а Лев Николаевич сел и, усадив также и меня, очень добродушным тоном (можно сказать даже, ласковым) проговорил:

— Напомните, что вы писали мне в вашем письме. Я получаю очень много писем, и что вы писали мне не помню. Помню только, что ваше письмо меня заинтересовало.

Выполнить высказанное Львом Николаевичем пожелание оказалось для меня несколько затруднительным. Писать ему о своих сомнениях и переживаниях из дому было совсем легко, не требовало никаких усилий над собой. Здесь же, находясь со Львом Николаевичем с глазу на глаз, впервые в жизни его увидав вообще, говорить о себе, затрагивая волновавшие меня в то время вопросы моей внутренней жизни, оказалось делом куда более сложным.

Но, конечно, хотя я и чувствовал себя в какой-то степени смущенным, насколько сумел это сделать, ответил Льву Николаевичу на его вопрос.

Помню, что тут же Лев Николаевич спросил меня о моем отношении к революционному движению в стране, опасаясь, видимо, что в этом вопросе я могу оказаться склонным не к тем позициям, которые он считал правильными.

Когда вернулся Владимир Григорьевич, Лев Николаевич сказал, что сейчас мы, то есть Чертков и я, пойдем вместе с ним обедать за общий стол в залу.

Владимир Григорьевич предложил, чтобы ему и мне подали обед в ту комнату, где мы ожидали возвращения Льва Николаевича с прогулки. Но Лев Николаевич снова сказал, чтобы Чертков и я шли вместе с ним обедать наверх в залу.

Перед тем как подняться в залу, я высказал Льву Николаевичу сомнение в том, что для этого достаточно подходящ мой костюм. Дело в том, что Владимир Григорьевич попросил меня надеть вместо моих чужие брюки, опасаясь, как бы на одежде, в которой я приехал, не сохранились следы скарлатинной заразы, привезенной мной из дому, где, как я уже упоминал, болел скарлатиной отец. Брюки были поношенные и, кажется, не совсем по моей фигуре. Кроме того, во время езды в Ясную Поляну на тарантасе с Чертковым меня забрызгало дорожной грязью из-за дождливой погоды. Попросить же щетку, чтобы почистить платье, по приезде в Ясную Поляну, мне не пришло в голову.

Но Льва Николаевича все это вовсе не смутило, и он, заботливо оправив сзади заправленную в брюки мою сорочку (в те годы называвшуюся

английской), предложил мне идти с ним и Владимиром Григорьевичем в залу.

Там за столом сидело уже несколько человек. Жена Льва Николаевича Софья Андреевна, здороваясь со мной, спросила, не родственник ли я ее знакомым в Москве, носившим, как и я, фамилию Краморевых. Узнав, что я их совершенно не знаю, Софья Андреевна больше ни с чем ко мне не обращалась.

Кроме Льва Николаевича и Софьи Андреевны за столом сидели: брат Софьи Андреевны полковник Берс, доктор Маковицкий, дочь Льва Николаевича Александра Львовна, какой-то молодой человек, по-видимому, родственник Толстых. Если считать Черткова и меня, то всего за обедом было восемь человек.

Сколько помню, обед состоял из четырех блюд. Если подавалось мясное блюдо, то, как параллель ему, одновременно подавалось и что-нибудь вегетарианское. Таким образом, Лев Николаевич и все те, кто не ел мяса (как, например, Чертков или Маковицкий), имели возможность получить за обедом столько же блюд, сколько приходилось на долю невегетарианцев.

Когда меня лакей, разносивший кушанья, спросил, какое блюдо я предпочитаю — вегетарианское или мясное, — и я ответил, что мясное, Лев Николаевич спросил меня: «А вы не вегетарианец?» После моего отрицательного ответа Лев Николаевич мягко проговорил (он вообще произвел на меня при встрече в Ясной Поляне впечатление очень мягкого человека): «жалек».

Помню, что за обедом Лев Николаевич рассмеялся, когда зашел разговор о бывшем московском генерал-губернаторе Долгоруком, с которым однажды произошел какой-то комический эпизод на балу, в связи с носимым им париком. Смеялся Лев Николаевич тихо и добродушно (напомнил об этом эпизоде, кажется, брат Софьи Андреевны).

Очень четко запомнился мне разговор во время обеда, касавшийся писателя Наживина. Вернее, не самый разговор, а те реплики жены Льва Николаевича Софьи Андреевны, которыми она этот разговор препроводила.

Когда Лев Николаевич произнес слова «жена Наживина», Софья Андреевна решительным тоном эти слова отредактировала: «не жена, а сожительница», — резко произнесла она. Лев Николаевич совершенно спокойно возразил: «Ну, не все ли равно?» Однако Софья Андреевна нашла нужным и на эти слова Льва Николаевича снова ответить своей вышеприведенной «поправкой».

По окончании обеда Лев Николаевич предложил мне пройти с ним в соседнюю с залой небольшую комнату с балконом (мне показалось, что это был его кабинет).

Войдя туда, я совсем некстати зачем-то спросил Льва Николаевича, не спит ли он на стоящем в этой комнате диване. Лев Николаевич ответил: «нет». И добродушно добавил: «Ну, спрашивайте — спрашивайте все, что вам интересно».

Когда Лев Николаевич и я сели около письменного стола (Лев Николаевич сел сбоку стола, а я на стуле перед столом), я спросил Льва Николаевича: «Вы часто употребляете слово «Бог». А что такое «Бог»? Как

понимать это слово?» Лев Николаевич слегка усмехнулся и очень добрым тоном ответил: «Как, что такое Бог?! Бог *в вас*, Бог *во мне*». Мне кажется, очень важно для правильного понимания мирозерцания Льва Николаевича отметить следующее: в толковании Львом Николаевичем слова (точнее: понятия) «Бог» совершенно не было чего-либо мистического.

Он подразумевал под этим словом то высокогуманное чувство, которое испытывал *сам ко всем людям и всему живому на земле*. То же самое чувство Лев Николаевич называл также словом «любовь», воспитывал и растил его в себе самом и считал (к сожалению, недостаточно обоснованно) верным средством для переустройства всего мирового порядка к лучшему.

Но, повторяю, никакой мистики, а тем более никакого церковного толкования в слово «Бог» Лев Николаевич не вкладывал.

Я попросил также Льва Николаевича сказать мне, кто такая Люси Малори, афористические цитаты из высказываний которой неоднократно встречаются в работе Толстого «Круг чтения». Я пытался найти какие-либо сведения о ней в ряде справочных изданий, но нигде ничего не нашел.

Лев Николаевич сообщил мне, что Малори американка, статьи которой ему довелось читать в американских журналах.

Мне показалось, что Льву Николаевичу было приятно увидеть, что я читаю его работу «Круг чтения». Это было ясно как из моего вопроса о том, кто такая Малори, так и из того, что я упомянул о ее высказывании, помещенном в «Круге чтения» на 15-е августа и прочитанном мной перед самым отъездом в Ясную Поляну.

Увидав во мне человека, всерьез интересующегося «Кругом чтения», Лев Николаевич сказал шутливым тоном: «Я вас поэксплуатирую». Он спросил меня, не могу ли я просмотреть «Круг чтения» целиком с тем, чтобы подсчитать количество встречающихся там повторно цитат, а также мыслей без подписи, и выписать те страницы, на которых все они помещены.

Я, разумеется, сразу же согласился выполнить поручение Льва Николаевича. Приехав домой, я выполнил то, что от меня требовалось, и отослал результаты работы Льву Николаевичу в Ясную Поляну.

Не помню, по какому поводу, но в моей беседе со Львом Николаевичем зашел разговор об изучении иностранных языков (известно, что он знанию языков придавал немалое значение). Чтобы выучиться какому-либо иностранному языку, Лев Николаевич рекомендовал очень своеобразный метод: начать на том языке, который хочешь изучить (вернее, научиться им пользоваться), читать одну из тех книг, которые *очень хорошо знаешь*, стремясь схватить при этом общий смысл читаемого, а не переводить отдельные слова с неизвестного языка. Одной из книг, содержание которых в то время было широко известно, Лев Николаевич считал Евангелие, о котором он и упомянул.

Задал я Льву Николаевичу несколько вопросов и на музыкальные темы. Я спросил Льва Николаевича, нравится ли ему музыка Шопена. Лев Николаевич ответил, что слушание произведений великого польского композитора (данная характеристика гениального дарования Шопена не

принадлежит Льву Николаевичу) доставляет ему большое удовольствие. Но причину этого Лев Николаевич объяснил не достоинствами шопеновского творчества, а тем, что якобы сам он (Толстой) очень «развращен».

На мой, аналогичный по содержанию, вопрос о творчестве Чайковского Лев Николаевич дал такой ответ: «Хорошая музыка, но больная».

Лев Николаевич упомянул и тот широко известный случай, когда Чайковский «угощал» его домашним концертом из собственных сочинений, в программу которого входило анданте из его Первого струнного квартета².

Однако о том, что слушание этого анданте довело Льва Николаевича до слез, он не сказал ни одного слова. Возможно, что Лев Николаевич об этом позабыл. Но более вероятно, мне кажется, что он не захотел об этом упоминать (чтобы, по присущей Льву Николаевичу удивительной скромности и исключительному жизненному такту, не говорить о самом себе).

Взаимоотношения Толстого и Чайковского, этих двух гениальнейших после Пушкина и Глинки русских художников, представляют собой настолько большой интерес, что я прошу разрешения коротко задержаться на этом вопросе, чтобы привести хотя бы совсем небольшие выдержки из их отзывов друг о друге, а также чтобы сказать несколько слов об их личном знакомстве.

Интерес и уважение к творчеству друг друга между Толстым и Чайковским были взаимными. Каждый из них следил за всем тем, что было нового в художественной деятельности другого.

Первый шаг к личному знакомству сделал Толстой. Чайковский же, узнав о желании Толстого познакомиться с ним, организовал для Льва Николаевича специальный закрытый концерт в помещении Московской консерватории. На этом концерте и произошел тот трогательный и показательный для исключительной музыкальной восприимчивости Толстого случай, когда он, во время исполнения анданте из Первого струнного квартета Чайковского, расплакался.

«Может быть, никогда в жизни я не был так польщен и тронут в моем авторском самолюбии, — записал Чайковский в дневнике, — как когда Лев Толстой, слушая анданте из моего квартета, и сидя рядом со мной, залился слезами».

Не менее чутко, чем это было с Толстым по отношению к Чайковскому, воспринимал Петр Ильич художественное творчество нашего великого романиста. Вот как он об этом рассказывает:

...я его [то есть, Толстого — *Н. К.*] бесконечно читал и перечитывал и считаю его величайшим из всех писателей на свете, бывших и существующих теперь. Чтение это, независимо от потрясающего чисто художественного впечатления, вызывает во мне еще совершенно особенное чувство умиления.

Толстой взирает на изображаемых им людей с такой большой высоты, с которой люди эти кажутся ему бедными, ничтожными, жалкими пигмеями, в слепоте своей бесцельно и бесплодно злобствующими друг на друга, — и ему жаль их.

...Однажды, по прочтении той главы [в «Войне и мире» — *Н. К.*], где Долохов обыгрывает в карты Ростовы, я залился горькими слезами и долго не мог их унять.

Задал я Льву Николаевичу вопрос еще об одном, знакомом мне музыканте, ничем выдающимся себя не зарекомендовавшем: о некоем Столярове

С. И., попавшем в Ясную Поляну, как я слышал, благодаря С. И. Танееву. Столяров играл на скрипке в оркестре московского Малого театра (в былое время в драматических театрах исполнялись небольшие оркестровые произведения в антрактах между действиями пьесы).

Не знаю, играл ли Столяров что-нибудь для Льва Николаевича. Думаю, что играл, как как мне много раз приходилось аккомпанировать ему в домашней обстановке, причем он никогда не заставлял себя упрашивать.

Показательно, что касаясь иногда в разговоре своих поездок в Ясную Поляну, где он, кажется, даже иногда гостил, Столяров ни разу ничего не рассказал о том, что он там видел или слышал представляющего интерес или просто запоминающегося.

И вот когда я, будучи в Ясной Поляне, спросил Льва Николаевича, помнит ли он Столярова, Лев Николаевич ответил, что помнит, и добавил: «Столяров очень легкомысленный человек».

Упомянул я о Столярове, чтобы привести пример очень хорошей памяти Льва Николаевича, видевшего человека несколько лет назад, и несмотря на то, что человек этот явно не отличился аналитическим образом мыслей, его не забывшего.

Обращает на себя внимание и деликатность Льва Николаевича: он не назвал Столярова ни пустым, ни неумным, а легкомысленным.

Во время беседы Льва Николаевича со мной в комнату вошел Чертков. Он спросил, не устал ли Лев Николаевич. После его отрицательного ответа Владимир Григорьевич принял участие в разговоре.

Очень хорошо помню, что разговор зашел о моем обучении в гимназии. Чертков сказал: «Да стоит ли ему оканчивать гимназию?» Но Лев Николаевич возразил на слова Черткова: «Нет, нет — пусть кончает».

Когда затем начался разговор о моем поступлении в университет (весной 1908 года я гимназию должен был окончить), Лев Николаевич высказал мысль, что если уж в университет поступать, то «только на *медицинский* факультет, так как это все-таки ремесло».

После разговора совместно с Чертковым Лев Николаевич вышел в залу, где, по его желанию, я сыграл ему на фортепиано две небольшие вещицы.

Играл я на фортепиано по-любительски, так как родители профессионального музыканта из меня не готовили (отец советовал мне, как и Лев Николаевич, окончив гимназию, поступать на медицинский факультет в университет, полагая, что это лучше всего обеспечит меня материально).

Все же Лев Николаевич, когда я окончил первую пьесу, спросил: «А вы не могли бы сыграть что-нибудь ритмическое?» По мере сил я выполнил его желание, сыграв небольшую пьеску Делиба («Пассёпье»).

Запомнилось мне, что Лев Николаевич два раза поправил меня, когда я произносил слово «рояль» (так обычно говорили у меня дома и потому я привык именно к этому названию инструмента). «Не рояль, — заметил он, — а *фортепиано*». Поправку свою Лев Николаевич оба раза сделал очень спокойным, дружелюбно-ласковым тоном. Вовсе не свысока, ничуть не по-наставнически.

Кстати упомяну, что Толстой считал неправильным широко распространенный в наше время оборот речи «одеть шляпу, платье, пальто» и т. п. Он указывал, что следует говорить: «надеть шляпу, платье или пальто».

После моего скромного (по качеству) музицирования нас угощали чаем в присутствии некоторых тех, кто был за обедом. Помню, что Софьи Андреевны за чаем не было.

Из Ясной Поляны Чертков повез меня к А. Б. Гольденвейзеру, хотя я вовсе не считал, что в этом есть какая-либо надобность. Когда мы находились уже у Александра Борисовича и он услышал от меня, что я беру уроки скрипичной игры у профессора Филармонического училища Карла Карловича Григоровича, первоклассного артиста и музыканта, правильность моей точки зрения относительно обучения меня музыке нашла поддержку и со стороны очень приветливо принимавшего нас хозяина: Гольденвейзер сказал Черткову, что он ничего сделать для меня не в состоянии, так как я уже нахожусь в очень хороших руках.

На следующий день после поездки в Ясную Поляну мне довелось видеть Льва Николаевича в Ясенках, куда он приехал в гости к Черткову.

В то время, когда Лев Николаевич приехал в Ясенки, я случайно находился на лужайке около того дома, который занимал Владимир Григорьевич. Таким образом я оказался первым из тех, кто узнал о приезде Льва Николаевича. Он приехал верхом на лошади, несмотря на то, что приблизительно через две недели ему должно было исполниться 79 лет.

Узнал меня Лев Николаевич только тогда, когда я подошел к нему близко: он был близорук.

Сойдя с лошади, Лев Николаевич попросил подошедшего незнакомого мне мужчину отвести лошадку к кузнецу, так как у нее надо было что-то привести в порядок в подкове.

У меня осталось в памяти, что Лев Николаевич достал из кармана кошелек, вынул из него серебряные монетки и передал их упомянутому мужчине, чтобы заплатить тому, кто исправит неполадку с подковой. Возможно, что Лев Николаевич расплатился в данном случае теми деньгами, которые он получил в качестве поспектакльной оплаты одной из его пьес: «Плодов просвещения» или «Власти тьмы» (эти пьесы из написанных Толстым ставились в те годы в театрах).

Известно, что Лев Николаевич не хотел получать поспектакльную плату за постановки его пьес так же, как он отказался от оплаты издательствами его сочинений вообще. Но ему сказали, что если поспектакльную плату он получать окончательно откажется, то вся она пойдет на улучшение дела с обучением в казенном Театральном училище балетному искусству. Только после того, как Льву Николаевичу это стало известно, он согласился на получение им поспектакльной платы за исполнение его пьес.

Лев Николаевич направился к дому. Он спросил меня, как я себя чувствую среди окружавших меня в доме Черткова молодых людей. То есть, среди тех, кто, подобно мне, приехал в Ясенки, привлеченный взглядами и личностью Толстого.

Я сказал, что мне показался очень симпатичным один из гостей Владимира Григорьевича, по национальности болгарин. Лев Николаевич, в ответ на мои слова, стал сочувственно отзываться о другом молодом человеке, фамилии, имени и отчества которого ни Лев Николаевич, ни я не знали. Поэтому, говоря о нем, как Льву Николаевичу, так и мне приходилось, чтобы понять, о ком идет разговор, упоминать о цвете волос этого гостя Чертковых, которые были рыжими.

Как только стало известно, что приехал Лев Николаевич, все обитатели занимаемого Чертковым дома собрались на террасе, где Владимир Григорьевич и его очень симпатичная жена принимали всем дорогого и приятного гостя. Всем хотелось видеть Льва Николаевича, услышать, что он скажет.

Очень хорошо помню, что завязался разговор о Петре Алексеевиче Кропоткине. Лев Николаевич сказал, что чувствует к нему большую симпатию (он произносил это слово с ударением на третьем слоге). Сохранилась в моей памяти и точная речевая форма слов Льва Николаевича: «Не знаю, как он ко мне относится, — сказал о Кропоткине Толстой, — а я чувствую к нему большую симпатию».

В смысле критики существующих общественных порядков Лев Николаевич ценил работы Кропоткина очень высоко. «Все у него так научно обосновано», — сказал Лев Николаевич. Однако по поводу методов, при помощи которых Кропоткин считал нужным изменить имевшийся общественный порядок, то есть по поводу применения для этого физической силы, точнее *насилия*, Толстой высказался отрицательно.

Лев Николаевич сказал, что в данном случае он находит в высказываниях Кропоткина «удивительное недомыслие».

Угощал Толстого Чертков кефиром, стакан которого Лев Николаевич, кажется, выпил.

Чуть ли не в течение всего пребывания Толстого у Черткова в руках хозяина был виден фотографический аппарат, которым Лев Николаевич был сфотографирован многократно.

Но на действия хозяина Лев Николаевич не обращал никакого внимания. Он оставался совершенно таким же, каким был и в то время, когда его никто не фотографировал. Ничего, хоть чуточку напоминающего обычное позирование, со Львом Николаевичем не происходило.

Мне показалось, однако, что присутствие свыше десятка людей, из которых хорошо знакомых Льву Николаевичу было не так много, все же в какой-то степени повлияло на его самочувствие, отняв кроху свойственной ему непосредственности, так ярко запечатлевшейся у меня накануне, во время беседы с ним, после обеда, в кабинете.

По возвращении в Москву, я через некоторое время получил из Ясной Поляны открытку, написанную секретарем Льва Николаевича Н. Н. Гусевым. Это был ответ на мое письмо, отправленное вместе с перечислением в «Круге чтения» тех афоризмов и мыслей, которые напечатаны в названной работе более одного раза, как об этом попросил меня Лев Николаевич в Ясной Поляне.

Упоминаю об открытке Н. Н. Гусева потому, что она еще раз свидетельствует о внимании Льва Николаевича ко всем вообще, а не только лично ко мне.

В письме, ответ на которое прислал мне Н. Н. Гусев, я спрашивал, не произвело ли мое посещение Ясной Поляны на Льва Николаевича отрицательное впечатление. Что задавать такого вопроса не следовало (как и вопроса о том, не спит ли Толстой на увиденном мной у него в комнате диване), — я понял позднее. Лев Николаевич, разумеется, понял это сразу. Но, по свойственной ему деликатности и снисходительности, он поручил Н. Н. Гусеву ответить мне на излишне заданный вопрос. Поэтому в посланной мне Н. Н. Гусевым открытке и говорится: «Л. Н. Толстой просит написать вам, что, вопреки вашим предположениям, ваше посещение было ему приятно».

Все, что сохранилось в моей памяти о встречах со Л. Н. Толстым в Ясной Поляне и в Ясенках, я изложил. Умолчал я лишь об одном, заданном мне Львом Николаевичем вопросе и о моем ответе на него. Умолчал из-за интимного характера вопроса. Но все же скажу: разговор этот был кратким и имел, по-видимому, целью предохранить меня от вполне возможных в моем тогдашнем возрасте поступков, которые, если бы я их совершил, ничего хорошего мне не принесли бы.

С тех пор, как я был в Ясной Поляне, прошло 53 года. В мире совершились грандиозные изменения. Изменились общественные порядки, изменились люди. Сильно изменился, в их числе, и я.

Во многом мои теперешние воззрения стали совсем иными, чем были в юности и ранней молодости, когда все, что отстаивал, за что так горячо и убежденно ратовал Л. Н. Толстой, казалось мне непререкаемым, до конца убедительным и верным.

Кто знает? Может быть, что кое в чем изменил бы теперь свою точку зрения и сам Толстой, если бы он дожил до наших дней?

Мне кажется, что это произошло бы непременно.

Но не стоит гадать. Не следует предаваться предположениям, правильность или ошибочность которых проверить невозможно. Скажу одно.

До сих пор, несмотря ни на что, я вспоминаю о Льве Николаевиче с глубочайшим уважением и искреннейшей, горячей любовью. И открыто и смело признаюсь, что если и сейчас жизнь обертывается ко мне своей жесткой, колючей стороной, то стоит мне мысленно обратиться к памяти этого удивительного человека, как тучи, собравшиеся надо мной, начинают рассеиваться, и на сердце у меня становится, при воспоминании о Льве Николаевиче, легче, светлее и радостнее.

И думается мне, случается нечто подобное не только со мной, а и еще с очень и очень многими людьми на земле. Что в этом отношении я далеко *не единственный*.

30 марта 1961 г.

Краморев Николай Николаевич (1889-?) — в 1907 г. гимназист, впоследствии музыкант. Воспоминания написаны в 1961 г.

¹Письмо Д. П. Маковицкого — от 10 мая 1906 г.

²Толстой познакомился с П. И. Чайковским в Москве в середине декабря 1876 г. и провел у него дома два вечера. Тогда же состоялся устроенный по просьбе Чайковского Николаем Григорьевичем Рубинштейном концерт в Московской консерватории.

39. А. В. МАРТЫНОВ Болезнь Л. Н. Толстого в 1908 г. и посещение его А. В. Мартыновым¹

27 июля 1908 г. жена Толстого Софья Андреевна писала своей сестре о том, что Лев Николаевич «сидит и лежит уже несколько дней с больной ногой. Ходил купаться два раза в день, и озяб. Чтоб согреться, пошел с речки в гору очень быстро и повредил вену. Сделалось воспаление и закупорка вены: больно и красно, но терпимо, и жару нет. Доктора говорят, что непосредственной опасности нет, но надо класть лед и держать ногу неподвижно» (письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской, Арх. Толстовского музея).

Толстой считал началом своей болезни то же самое, что Софья Андреевна. Он говорил своему доктору: «что не надо делать напряжения через силу, что надо верить своему инстинкту старческому. Когда быстро шел из купальни, чувствовал, что делает усилие через силу; от этого и случилось» (дневник Д. П. Маковицкого 14 августа 1908 г.)

Лечил Толстого постоянно живший в Ясной Поляне словак Душан Петрович Маковицкий, преданнейший ему и его идеям человек, но врач, по общим отзывам, не всегда достаточно находчивый. И в тех случаях, когда у семейных Толстого возникало сомнение относительно правильности его диагноза и методов лечения, они приглашали ему в подмогу талантливого и опытного Дмитрия Васильевича Никитина, популярного врача Звенигородской земской больницы, давнишнего знакомого Толстого и много раз его лечившего.

10 августа дочь Толстого Александра Львовна писала своей сестре:

Нынче утром у папá закупорка сделалась в паху, сейчас (8 вечера) уже лучше, не так вздуто, и то, что было темное утром — теперь бледное. Кроме того состояние кишок очень дурное и вчера поднялась температура до 38. Душан утешает и думает, что подъем от простуды, потому что губы обметало, но все-таки для спокойствия и его и нашего послали телеграмму Никитину, вызывая его. Обидно то, что последние дни нога несомненно была лучше, и все темные и вздутые жилы пропали и нога стала бледная. А нынче утром оказалась новая закупорка выше, кладут лед, нога подвешена кверху (письмо А. Л. Толстой Т. Л. Сухотиной, Арх. Толст. музея).

13 августа Александра Львовна сообщала:

У папá жар нынче с утра, 38°... Опухоль в паху и во всей ноге хуже. Приехал Никитин, нашел следующее:

Жар может происходить и от желудка, который очень вздут и в очень плохом виде (язык очень плохой); может также происходить и от воспаления вен. Кроме того, внушают опасения хрипы внизу левого легкого, которые довольно многочисленны. При лежачем положении может сделаться воспаление в легких. Сердце не хорошо, перебой и пульс слишком частый.

Никитин решил тотчас же вызвать хирурга из Москвы или из Петербурга, а пока на ногу класть компресс из водки, на легкие также положится компресс... Опасности сейчас нет непосредственной, но положение серьезное.

В день приезда Никитина Д. П. Маковицкий писал в своем дневнике:

В 9 часов приехал Д. В. Никитин, и вместе исследовали Льва Николаевича: прибавилось хрипов в нижней правой доле легкого. Д. В. посоветовал принять 3-4 капли настойки строфанта.

Лев Николаевич отказался от этого и, вспомнив свою сестру монахиню, которая во всех трудных случаях жизни все надежды возлагала лишь на церковные службы, сказал: «Это вроде предложения сестры Марии Николаевны: «Дай молебен за тебя отслужу — увидишь, выздоровеешь; помнишь, я тогда дала на молебен, и тебе стало легче».

В этот же день Маковицкий записал: «Никитин с Сергеем Львовичем и Чертковым решили пригласить Мартынова». На это было получено согласие Софьи Андреевны и от ее имени Никитин послал в Москву телеграфное приглашение уже известному в то время молодому профессору Алексею Васильевичу Мартынову немедленно приехать в Ясную Поляну.

На другой же день утром 14 августа А. В. Мартынов был в Ясной.

Встретил его Никитин и рассказал ему о состоянии Толстого. В заключение Никитин сказал:

— Обращаемся к вам, Алексей Васильевич, с большой просьбой. Кроме болезни ноги и хрипов в легких, у Льва Николаевича не в порядке и сердце, и ему следовало бы что-нибудь попринимать, но он ни на что не соглашается. А между тем во время его болезни в Крыму в 1902 году ему отлично помогал строфант. Мы и просим вас после вашего осмотра поговорить с ним на этот счет. Нас он уже не слушает, а с вами, как с новым и авторитетным человеком, может быть и посчитается.

Просьба Никитина смутила А. В. Мартынова. Он ответил:

— Вы поставили меня в трудное положение. Ведь я приехал ко Льву Николаевичу только в качестве хирурга. Терапия же, да еще сердца — не моя область. И Лев Николаевич будет вправе считать мои советы неуместными, непрошенными.

— Нет, это не совсем так, — возразил Никитин. — Вы — человек медицины, науки, это — главное. Подразделение же на специальности для Льва Николаевича не имеет никакого значения.

— Хорошо, попробую, — согласился А. В. Мартынов.

После этого Д. П. Маковицкий и Д. В. Никитин повели его вверх в спальню Толстого.

Перед их приходом секретарь Льва Николаевича читал ему полученную утром корреспонденцию.

Поздоровался с А. В. Мартыновым Толстой со спокойным и серьезным выражением лица. На нем не проявилось ни приветливости, ни недовольства. Казалось, Толстой ко всему был безучастен.

А. В. Мартынов попросил у него разрешение разбинтовать и осмотреть ногу. Толстой согласился. На ноге лежали большие и толстые компрессы, туго затянутые. Это должно было усиливать боль. А. В. Мартынов освободил от всего ногу и, внимательно осмотрев ее, сказал, что лечение должно, главным образом, состоять в том, чтобы нога находилась длительное время в полном покое, а прикладывать нужно только легенькие компрессы.

Это поправилось Льву Николаевичу. Он оживился, повеселел. Содействовало улучшению его состояния, конечно, и то облегчение, которое он почувствовал при освобождении ноги от всего ее сдавливавшего. И он охотно и сочувственно стал слушать А. В. Мартынова. Покончив с советами относительно ноги, А. В. Мартынов решился, наконец, заговорить о том, о чем обещал Никитину. Он сказал:

— А по-видимому, Лев Николаевич, у вас не совсем сердце хорошо работает. Следовало бы его немного подправить. Не плохо было бы, если бы вы, например, начали принимать строфант.

Настроение Льва Николаевича тотчас же изменилось к худшему. Лицо сделалось мрачным. Глаза потускнели. Он грустно проговорил:

— Сердце — такая сложная штука, а вы хотите чинить его строфантом.

А. В. Мартынов почувствовал, что лучше на это ничего не возражать, и удалился вместе с Никитиным и Маковицким.

Секретарь Толстого Н. Н. Гусев рассказывает, что после их ухода сейчас же опять началось чтение корреспонденции.

Окончив письма, я спросил Льва Николаевича, может ли он сейчас принять приехавшего сегодня Д. А. Олсуфьева, которого он выражал желание видеть.

— Ненадолго, — ответил Л. Н. — Признаюсь, занятия с вами, письма, — меня несколько не утомляют. Но доктора... так жалко их и совестно за них.²

Выйдя от Толстого и пройдя в зал, А. В. Мартынов познакомился с Софьей Андреевной, которая обошлась с ним чрезвычайно любезно, пригласила его к завтраку, радушно его угощала, а после завтрака предложила ему пройтись с нею по усадьбе Ясной Поляны. Невдалеке от дома она указала ему на дерево, на месте которого некогда стоял большой дом, где родился Толстой. И комната, в которой он родился, находилась там, где теперь была макушка дерева. Софья Андреевна рассказала, что дом этот Лев Николаевич в молодости проиграл в карты, и он был свезен за 30 верст от Ясной Поляны.

В дневнике Д. П. Маковицкого в этот день записано:

А. В. Мартынов нашел болезнь ноги менее опасной, чем состояние легких. Лев Николаевич Никитину и мне по поводу приезда хирурга сказал:

— В неловкое положение поставили его. Он чувствует, что ему нечего нового сказать, и придумывает новые слова.

Дмитрий Васильевич хвалил его совестливость, скромность и что все-таки он может что-нибудь показать.

Л. Н.: Именно, что он чуткий (тем более чувствует).

Вечером А. В. Мартынов вместе с домашними Толстого и остальными гостями находился в большом зале. Ему сообщили, что его желает видеть Лев Николаевич, и он пошел к нему. Лев Николаевич лежал на той же кровати, в благодушном настроении.

Он встретил А. В. Мартынова совсем в другом настроении, чем утром: приветливый, ласковый, общительный. Спросил, как Алексей Васильевич провел день, где гулял. И А. В. Мартынов ясно почувствовал, что он хотел как бы «загладить» перед ним «свою утреннюю вину». Он стал расспрашивать А. В. Мартынова об университетских делах, о том, продолжаются ли студенческие забастовки. И высказал поразившее А. В. Мартынова своей неожиданностью мнение.

— Чем больше думаю о студенческих беспорядках, тем больше убеждаюсь, что часто само правительство в них виновато.

Этими словами Толстой хотел сказать, что новый министр просвещения Шварц своими репрессиями провоцировал волнения студентов, для подавления в них «вольного духа». А. В. Мартынов сказал, что это возможно.

Узнав от А. В. Мартынова о том, что студенты постановили прекратить забастовку, Толстой сказал:

— Это хорошо. Не политика, а учение — их прямое дело.

Вскоре пришел пианист А. Б. Гольденвейзер, и Лев Николаевич попросил его что-нибудь сыграть. А. В. Мартынов Лев Николаевич спросил, играет ли он сам и любит ли музыку. А. В. Мартынов ответил, что немного играет и ценит музыку очень высоко. А. Б. Гольденвейзер заиграл в зале. Он исполнял Шопена. Лев Николаевич стал с большим вниманием слушать, а под конец прослезился.

— Как он хорошо сыграл, — проговорил он. — Но только зачем он делает *crescendo* в том месте, где надо *ritardando*. Но все-таки он прекрасно, прекрасно играет, — добавил Толстой.

Позже А. В. Мартынов еще раз виделся с Толстым в его спальне. Д. П. Маковицкий записал:

Вечером, в 9, Мартынов присел к кровати и коротко поговорил с Л. Н. Л. Н.: Меня волнует всякий душевный разговор и музыка.

Расстался Лев Николаевич с А. В. Мартыновым все так же тепло и дружелюбно, благодарил его за приезд. От неприятного впечатления по поводу строфанта не оставалось уже ни малейшего следа.

В конце своей записи о посещении А. В. Мартынова Маковицкий сообщает: «Ночью Мартынов уехал, не приняв гонорара».

Вечером того же дня Александра Львовна сообщала сестре:

Сегодня утром приехал профессор-хирург Мартынов. Нашел следующее:

Воспаление вены наружное, не внутреннее, так что это не так опасно; жар не может быть всецело от ноги, а должны быть еще какие-нибудь причины, может быть жар от легких. А в легких, в левом, довольно много хрипов, в правом — немного. Но может сделаться от лежания воспаление в легких. В сердце перебои, но не очень сильные, желудок лучше.

Для ноги нужно лежачее положение, а для легких надо сидеть, так что будем стараться принаравливаться, чтобы возможно больше исполнять эти приказания докторов. Для ноги Мартынов из Москвы пришлет проволочный футляр, в котором нога будет в вате и компрессе лежать совсем спокойно... Сил, мне кажется, у него еще много, каждый день работает... Мартынов сказал, что от ноги придется очень долго лежать.

Советы А. В. Мартынова возымели свое действие. На следующий же день после его посещения Александра Львовна писала сестре:

Сегодня у папá утром было 36,8, в 11 часов 37, 2, после завтрака 37. Сердце гораздо лучше и ноге лучше. Вообще он сам говорит, что первый день чувствует себя хорошо.

По приезде в Москву, А. В. Мартынову пришлось увидаться с редактировавшим тогда газету «Русские Ведомости» проф. Д. Н. Анучиным. Ану-

чин подробно расспросил его о состоянии Толстого и с его слов напечатал 17 августа 1908 в №190 «Русских Ведомостей» следующую заметку:

Болезнь гр. Л. Н. Толстого

Около трех недель тому назад у Льва Николаевича Толстого образовалось воспаление венозного узла на внутренней стороне левой голени. Воспалительный процесс распространился затем выше по вене. В настоящее время Л. Н. находится в постели в следующем состоянии: воспалена подкожная вена левой ноги (*v. saphena magna*) почти на всем ее протяжении; несколько ослаблена деятельность сердца, есть явления застоя в нижних долях легких, температура повышенная и доходит до 38,5.

14 августа состоялась консультация приехавших в Ясную Поляну проф. А. В. Мартынова и Д. В. Никутина, и домашнего врача Д. П. Маковицкого.

Образование воспалительного процесса вызвано было, по-видимому, тем, что Лев Николаевич натрудил себе ногу ходьбой или ездой верхом. В течение лета Лев Николаевич купался 2 раза в день, отправляясь для купанья версты за три пешком, и почти ежедневно ездил верхом, большею частью в пределах имения, но иногда позволяя себе и более отдаленные поездки — верст на 15–20. В начале болезни Лев Николаевич чувствовал себя настолько в силах, что продолжал заниматься: ему читали и он диктовал. На увещания оставить занятия Лев Николаевич отвечал, что его голова не может не работать, а потому, если ей не давать другой пищи, он вынужден будет сосредоточиться на мысли о своей болезни, что едва ли будет лучше. С развитием болезни, однако, пришлось отложить занятие и соблюдать более строгий покой. Посторонние к больному не допускаются, так как разговоры вообще для него утомительны. По последним известиям температура больного понизилась, тем не менее болезнь требует внимательного ухода и продолжительного покоя.

Мнение А. В. Мартынова о затяжном характере болезни оказалось правильным. 21 сентября 1908 года, т. е. более чем через месяц после его посещения, Александра Львовна писала сестре:

Папенька наш все еще не совсем здоров. Как не ходит, так нога лучше, а как только походит из комнаты в комнату, так опухоль внизу ноги делается хуже. Перед этим дня три тому назад он даже ездил кататься два дня подряд.

Окончательно поправился Толстой лишь в начале октября того же года.

Мартынов Алексей Васильевич (1868–1934) — врач, профессор кафедры хирургической патологии Московского университета.

Цитаты из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого выверены нами по т. 90 «Литературного наследия».

¹Составлено со слов покойного проф. А. В. Мартынова в ноябре 1933 г., просмотрено и исправлено им.

²Н. Н. Гусев. «Два года с Л. Н. Толстым». Москва, 1912. Последние слова несомненно являлись отзвуком недовольства по поводу строфанта.

40. В. А. ШЕЙЕРМАН

Нечто о Толстом

(в связи с моими исканиями)

О Толстом написано так много, что я бы не прибавлял еще свое к уже опубликованному, если бы то, что я хочу здесь передать, мне не казалось имеющим значение для некоторых из его последователей и отрицателей.

Мое общение с Толстым началось с детства, когда я стал читать его художественные произведения. Он питал мою душу своими удивительными образами и этим воспитывал и развивал ее. Велика сила художественного гения! Через свои произведения он духом своим проникает в существо другого и тогда становишься с ним близким, как с самим собою. Его влияние охватывает душу, потому что уже не разберешь, думаешь ли свои мысли или его мысли, чувствуешь ли свои чувства или его чувства.

Толстой был для меня как зеркало, через которое я увидел себя и углубил себя. Когда я стал взрослым, меня захватили его религиозные искания, так как подобный же религиозный процесс происходил в моей душе.

Я был совсем молод (22-х лет) и после долгих мучительных колебаний православие, в котором я был воспитан, победило во мне. Монахи и Иоани Кронштадтский помогли в этом. Они убедили меня, что религиозный процесс, происходивший во мне, был порыв гордости (высокоумие), и я смирился и покорился народной вере, так как не созрел для другого.

Лишь через много лет, к зрелому возрасту душа восстала и ужаснулась неправде жизни своей, и я уже не был в состоянии продолжать ту неправду, хотя православие оправдывало ее в лице своих церковных представителей.

Я опять стал искать ответы на мучившие меня вопросы, погрузился в религиозные искания и тут опять встретился с Толстым.

Был 1903 год. Мой душевный перелом совпал с начинавшейся тогда войной России с Японией. Меня поразило это непонятное и ужасное явление. Внезапно в жизнь всего народа ворвалась какая-то страшная и безумная сила. Я раньше не чувствовал ее и не сознавал ее существования. Сила эта хватала людей, разоряла их, и люди безвольно повиновались ей, бросая жен, детей, имущество, и по указанию ее мчались куда-то ради совершения убийств и насилий над неведомым народом по неведомой причине. Сила эта была та загадочная власть, которая называется государственной. Для меня было непонятно — откуда она взялась и как она смеет. Непонятно, почему повинуются ее безумным приказаниям и еще уважают ее. Я был в недоумении перед жизнью своей и окружавшей меня, точно, проснувшись от сна, впервые увидел ее.

Все эти вопросы окружили меня и не давали жить. Я не мог удовлетвориться решением чисто религиозных вопросов, не решив общественных,

связанных с загадочной властью. Или обратно — решением общественных вопросов вне религии.

Для меня было ясно, что должна быть согласованность и общее решение.

В таком состоянии я вновь поехал к известному в то время проповеднику православия Иоанну Кронштадтскому, которого народ чтит как святого. Это был один из живых центров тогдашней православной жизни. Он, как и монахи-отшельники, искренно и самоотверженно служил своей вере. Жизнь свою он проводил в совместных молитвах с народом, в непрерывном с ним общении, но не в уединении, как отшельники. Он весь горел верой и оказывал огромное влияние на народ, который валил к нему непрерывными толпами со всей России. Я и раньше бывал у него, и те же толпы застал в 1903 году. Солдаты, матери их и жены, которым в виду войны предстояло пожертвовать своим благополучием, жизнью, предстояла разлука, искали у него сил для этого подвига, искали благословения. И он благословлял их на все жертвы, посылая на войну. Его поклонники и приближенные раздавали солдатам листки с его портретом — это были воззвания за его подписью о том, что необходимо идти воевать и защищать требования православного царя, и пр.

Картина эта производила удручающее впечатление. Старик, искренний до глубины души, святой в глазах народа, благословляет на завоевательную бойню народные массы. Стоял рев от рыданий матерей и завывания жен. При этом у святого и народа полное единение и доверие друг к другу. Здесь можно было почувствовать источник той загадочной силы, которая называется властью. — Но мне все это казалось ужасным, и я при свидании с Иоанном Кронштадтским спросил его: «Как можете вы благословлять людей на такое ужасное и ненужное дело?» Он был удивлен. Таких вопросов, очевидно, ему никто не задавал. Подумав немного, он отвечал: «Если тебе такие мысли лезут в голову, их необходимо тотчас же изгонять, никогда их не продумывать и не останавливаться на них».

Он не признавал даже этого вопроса. Он был целен и не хотел даже мыслить по другим линиям, и когда я настаивал и пояснял свои мысли более подробно, он спросил меня: «Ты, вероятно, не русский?» — Я объяснил ему, что со стороны отца я немецкого происхождения, но мать русская, и я с детства воспитывался в православии, как весь народ, и что я не первый раз ищу у него ответа на мучающие меня вопросы. Он молчал, не зная, что сказать. Очевидно было, что мысль его никогда не ходила по этим дорогам, и он чуждался этих вопросов как греха, не допуская их в себе. Однако он видел, что я жду от него ответа на вопрос: почему он благословляет на убийство народные массы, и решил принять это просто как личное обвинение, а не вопрос и стал просить у меня прощения: «прости меня», «прости меня» — говорил он.

Мне стало тяжело, и я ушел от него. У меня, конечно, не было личного обвинения, но мне была страшна и непонятна его безоглядная вера во власть, в то, что она безусловно согласована с религией Христа. Он запрещал себе и другим самое мышление над этим. Ум не смел думать

своих мыслей (блуждать), он должен был думать по уже протоптаным дорогам православия и только.

После этого свидания с Иоанном Кронштадтским я убедился, что православие не могло согласовать религию с решением общественных вопросов. Общественные вопросы решал царь, и церковь признавала его решения абсолютно правильными и согласными с заветами Христа. Кто мог вынести этот обман? Только тот, кто сумел задавить в себе мысль, самобытно не мыслить. Но это уже невозможно сделать *теперь*.

В настоящее время религия должна уметь решать все общественные вопросы и если она их не решает, она перестает давать религиозное удовлетворение современным людям, т. е. перестает быть религией действия.

Но где же найти решение общественных вопросов?

В политических партиях?

Правда, они берутся решать все общественные вопросы, но все их решения совершенно исключают религию до полного ее отрицания. В вопросах религии и этики политики бессильны. В этой стихии они не могут мыслить, и они беспомощны в ней так же, как Иоанн Кронштадтский в вопросах общественных. И решают они религиозные вопросы подобно тому, как Иоанн Кронштадтский решал общественные: они велят не мыслить их, отрицая эти вопросы, т. е. отрицая религию как суеверие. Но *теперь* это так же невозможно, как невозможно признать данные решения общественных вопросов абсолютно правильными только потому, что власть находится в руках тех, которые вынесли это решение. Поэтому меня не могли удовлетворить безбожные политические партии, также как церкви и сектанты, которыми совсем не ставились общественные вопросы. Нигде не было удовлетворения в исканиях пути жизни.

Оставался один Толстой. Он бесстрашно ставил религиозные и общественные вопросы *вместе*, чувствуя и понимая обе эти стихии. Руководясь христианским сознанием, он со всей силой религиозного гения старался найти для них согласованные ответы.

С этого времени мое общение с Толстым возобновилось. Он со всей любовью отзывался на все мои недоумения и старался помочь всем опытом своим, накопленным таким великим трудом. И действительно, помощь его была огромная. Все его писания разбирали те вопросы, которые я ставил себе. В нем я увидел спутника, шедшего по той же дороге, но далеко опередившего меня и к тому же вдохновленного гением пророка. Толстой интересовался каждым спутником своим как собою и невольно возбуждал любовь и почитание, которые внушают все люди, отрешившиеся от всего личного и посвященные Богу.

В Толстом странным образом согласовалось противоречие, как непонятное достижение: он был ярко выраженной личностью и в то же время в нем было погашено все личное. В общем это сказывалось могуществом единения. Вы чувствовали его силу не как внешнюю, а как силу, которую вы чувствуете в себе.

Иметь встречу с таким явлением в этом мире составляет редкое счастье. Вот кое-что из личного общения с ним.

I

Приезжаю в Ясную Поляну зимой 1908 (16 янв. 1909) года. В. Г. Чертков предупредил о моем приезде. Софья Андреевна (жена Л. Н. Т.) из любопытства остановила меня в одной из проходных комнат яснополянского дома и засыпала меня вопросами. Как я ни спешил пройти к Толстому, но пришлось остаться с нею. В полутемной гостиной, в которой мы сидели, она показалась мне женщиной обворожительного вида лет 40–45 (а ей тогда было уже более 60 лет). Она была разговорчива, умна и любезна. Предполагая, что я слишком увлекаюсь идеями Льва Николаевича, Софья Андреевна как будто хотела меня предостеречь. Спрашивала, вегетарианствую ли я, и когда я ответил утвердительно, с сожалением покачала головой. Рассказывала мне, как родному, о своей семейной жизни с Л. Н., о том, что она 13 раз рожала детей, и как вся ее жизнь ушла на это рождение, выкармливание и воспитание детей и сколько труда и горя она при этом перенесла.

Мне показалось, что она хотела показать мне другую сторону жизни Толстого, чисто личную, семейную, чтобы я не рисовал его себе неземным. Она даже прочитала мне отрывок из его письма к какому-то великому князю с просьбою личного характера (это было из прежнего периода его жизни). Письмо этоставляло Л. Н. совсем земным и обыкновенным человеком, поглощенным семейными интересами. Мне невольно стало ее жалко. Я увидел, что эта женщина была глубоко несчастна и несчастна благодаря величю своего мужа. Ей хотелось его умалить, чтобы приблизить к себе, хотелось, чтобы он был прежним и жил ее семейными интересами. Она чувствовала, что он куда-то ушел, и она стала ужасно одинокой и оставленной. Он как бы умер для нее, исчез из поля ее духовного зрения и в то же время физически был здесь. Это было невыносимо для ее сил. Ее многие обвиняют, но она не могла не сумасшествовать.

Жизнь Толстого в обстановке того времени была великой трагедией русской жизни, ломавшейся на глазах всего мира.

У Толстого она закончилась уходом из своей семьи в 82-летнем возрасте и смертью в дороге, т. е. самым неожиданным образом. Будда этим начал, а Толстой так закончил свою жизнь.

II

Кабинет Толстого — это небольшая комната, заставленная столами, креслами, увешанная картинами. Захожу. В углу в кресле сидит он. Он привстает, спешит пожать руку скорее, просит сесть, точно отмахивается от светских условностей, хотя в своем обращении с людьми он изысканно вежлив и деликатен. В движениях тела и ума быстр, как огонь. В 80 лет он был очень стар на вид. Глаза уже у него не блестели как раньше. Лицо с бородой казалось очень большим. Полукруги под глазами в морщинах спускались низко и желтизна их доходила до висков. Это производило впечатление надрыва от работы, которая очевидно поглощала все его силы. Точно то же я видел у некоторых сильно пострадавших от го-

нений, тюрем и оскорблений. То же у монахов-отшельников, как непосильный надрыв в усилиях внутренней молитвы, в усилиях превращения окружающего зла в добро.

Ясно было, что победы духовные не даром доставались Толстому, а ценою огромного труда и многих страданий, которые, очевидно, он таил в себе, так как они остались неизвестны людям.

III

Зная о моих резких поступках в жизни, которые невольно болезненно отзывались на моих близких, разговор зашел о моей матери и жене (отца уже не было в живых). Понимая мою душу, Л. Н. с каким-то необыкновенным внушением стал говорить мне о любви к своим близким родным. Он говорил, что отца, мать, жену, детей, братьев и сестер надо особенно сильно любить, любить больше, нежели других, посторонних. На эту тему он развивал мысли, казавшиеся мне противоположными тем мыслям о равной любви ко всем людям, которые столько раз провозглашались им в его письмах и статьях. Помню, как эта противоположность меня поразила. Но я весь ушел во внимание к его словам. Тон его речи, движения и взгляд показывали ту силу, которую он употреблял, чтобы внушить ту мысль, которую он силился выразить. Со мною произошло нечто странное. Я не потерял сознания, но стал вне обыкновенного сознания, и в моей душе совершалось нечто серьезное и благодетельное. Слова, которые говорил мне Л. Н., я слышал как во сне, но в глубине души во мне становилось яснее, противоречия падали, и все составило одну целостную истину, выразить которую рационально мне было бы в то время почти невозможно. Очевидно, только в таком странном состоянии, отвлекаясь далеко от физической действительности, душа моя могла принять то, что Толстой хотел передать ей.

Затем я как бы очнулся внутри себя и мы продолжали разговор...

IV

Толстой спросил меня о настроении крестьян — я объяснил ему (это было в 1908 году), что все стихло после взрыва 1905–1906 годов. Он очень удивился этой тишине и все повторял: «Неужели все стихло?» ... «это странно» ... «странно» ... и задумчиво качал головой. Он чувствовал всем существом своим конец старой России и удивлялся тому, как все продолжало держаться. Говорили о писателях и литературных произведениях. Я восторженно отозвался о Достоевском — привел его формулу: «я за всех во всем виноват», которую он доказывает литературными произведениями, между прочим и своим *чуждым* рассказом «Сон смешного человека». Толстой согласился с этим и сказал, что Достоевского он считает самым близким к себе писателем, своим предшественником.

Обратившись ко мне, он сказал, чтобы я поставил себе за правило записывать свои мысли, что это важное и нужное дело. Потом все повторял: «Не то что я хочу, а что хочешь Ты».

Я сделал большую ошибку в своей жизни, что не пожил с Толстым или вблизи него хотя бы год. То, что он давал в личном общении, еще

значительнее его писаний. Писал он для всех и потому считал долгом придерживаться общего рационалистического способа выражения. Мне кажется, что не все знали и понимали это.

V

Л. Н. меня расспрашивал об общинах и людях, которые туда приходили, между прочим я рассказал ему о некоем Ризенкампе, замечательном молодом человеке (лет 30-ти), который пришел к нам в общину в 1907 году пешком из Москвы (около 1000 верст). Это был бывший офицер, который, поняв преступность своей профессии и всей своей жизни, решил ее всю до основания изменить. Изменить так, чтобы она была чиста от всякого личного и общественного греха и чтобы в ней не было насилия ни над чем живым. Такая жизнь, по его мнению, разрешала все вопросы и могла удовлетворить человека. Для того чтобы исполнить это на деле, он оставил военную службу, оставил жену и детей, выкинул паспорт и деньги, навсегда отказавшись от них, перестал есть мясо, молоко, яйца, все вареное и даже хлеб, а ел сырое зерно, фрукты и овощи. Он придавал большое значение пище и опрощению до последней степени, чтобы труд почти совсем упразднился. Чтобы ликвидировалась вся цивилизация. («Будьте как птицы небесные»). Сидя с нами за обеденным столом, он насыпал себе в тарелку голый овес и ел его, утверждая, что в этом все Евангелие. Он мало работал, отрицая надобность почти всего крестьянского труда.

Это был величайший анархист. Один из членов нашей общины указал ему, что зерноедство тоже не является полным вегетарианством, так как в зерне, как в яйце, заключается зародыш жизни и, брошенное в землю, оно произрастает. Полное вегетарианство определяет пищей только оболочки зерен, например: яблоки, груши, арбузы, дыни и др. подобные плоды, так как съедобное в них составляет оболочки зерен, а зерно выплевывается, т. е. сеется в землю. Слова эти поразили Ризенкампа. Ему это показалось правильным, а задача внешней чистоты им недостигнутой. Собравшись с силами, он решил не есть и зерен. Было лето. Пospели арбузы, яблоки, помидоры. Ризенкамп стал питаться исключительно ими. Исхудал, болел желудком и вечно был голоден. Измучившись, он решил, что страна, в которой мы жили (юг России), не для человека, а для зверей. Что в ней нельзя жить, не губя чужой жизни. И он, бедный, принял последнее решение — идти в Африку, где будет возможно жить по совести и уважать чужую жизнь. Он простился с нами и в одной рубашке, босиком, без шапки, без денег, без паспорта, голодный пошел по направлению к югу, где он надеялся найти условия для человеческой жизни. Он был последователен до конца. Тяжело было видеть это отчаянное усилие выполнить такую наружную телесную задачу внешнего совершенства. Будучи целен в действиях своего тесного миропонимания, он не мог поступить иначе. Он и сам понимал, что шел на жертву и погибнет и, прощаясь со мною, не выдержал и разрыдался. Так и случилось. В г. Новочеркасске его арестовали как безпаспортного и посадили в тюрьму. Узнав об этом случайно по газете, брат мой поехал

туда и выяснил все подробности следователю, от которого это дело зависело. Его выпустили из тюрьмы, но доктора признали его умалишенным и посадили в дом умалишенных. От докторов, как от людей науки, уже его нельзя было спасти. Их, как ученых, нельзя было уверить, что могут быть такие убеждения, поэтому они решили заставить его есть мясо, и так как Ризенкампф не согласился на это, они насильно и научно накачивали его мясным бульоном. Ризенкампф сопротивлялся, старался не глотать накачиваемое, и задушился. Кто был лишен ума — Ризенкампф или доктора — ясно каждому здоровому человеку, особенно ясно это было Толстому.

Л. Н. с большим интересом выслушал эту повесть и высказал суждение, нужное для многих, идущих путем наружного или внешнего совершенствования: «Этот Ризенкампф — сказал Толстой — очевидно обладал необыкновенными духовными силами, но к сожалению был *материалист* и все свои огромные силы потратил напрасно на такое внешнее дело. Что бы только он мог сделать, если бы свои великие силы он положил *не на материальное, а на духовное дело!*»

Действительно, Ризенкампф достиг полной святости во внешних поступках своей жизни. Достиг совершенства. Подвиг свой он совершил вне всякого личного интереса, в молчании, оставшись никому неизвестным, и запечатлел его смертью мученика. Чтобы совершить его, он должен был отвергнуть весь уклад нашей жизни: отказаться от военной службы, от семьи, жены, детей, которых он оставил, от собственности, став нищим, порвать всякую связь с государством, не употребляя ни денег, ни паспорта и не пользуясь его учреждениями. Он был безусловно целомудрен и чист и довел свое ненасилие до охраны жизни семян и зерен. Большого совершенства во внешнем действовании человека представить себе невозможно.

И вот этого человека Толстой назвал материалистом, напрасно потратившим свои великие силы. Этим суждением Толстой ставит внешнее совершенство поступков и внешние подвиги на второе место. Внешние совершенные поступки *не должны быть целью* человека, а только последствием. Цель нечто невидимое и необъяснимое (Бог). Таким образом, первое и главное это внутреннее невидимое действие — перерождение своего существа в другое существо. Уметь совершать в себе это перерождение — очень трудное и не каждому объяснимое дело. Но дело это не только возможное, а необходимое. Не только надо поступать лучше, чем мы поступаем, но главное, надо *быть* другим. Быть другим это *первое*, а поступать лучше это *второе* дело. Но человеку необходимо совершать как первое, так и второе дело. Невидимое внутри и видимое вне. Для материалиста не существует невидимого, внутреннего действия, и ему нельзя объяснить его. Материалист не видит и не понимает такого действия и считает это за бездействие. Он никогда не делает первого дела.

Жизнь Толстого не богата яркими подвигами внешнего совершенства, так как он им не придавал главного значения, тем не менее значение Толстого для мирового развития человечества велико и благотельно и только в будущем будет осознано.

Итак, Ризенкампф, несмотря на свою силу и подвиг и внешнее совершенство, не совершил главного дела и потому не достиг цели человеческой жизни.

Однако не достиг цели и другой подвижник, обладавший такими же волевыми силами — Иоанн Кронштадтский. Эти два силача были противоположны по своим устремлениям: Ризенкампф все силы свои положил на изменение своей личной, внешней жизни, а Иоанн Кронштадтский впал в другую крайность, он все силы свои положил на отвержение всякого внешнего совершенствования, всякого внешнего изменения личной и общественной жизни. Достиг он этого тем, что задавил часть своего духа — мысли свои и потому Бога поставил вне земли, а земную власть царя вместо Бога на земле. Он был искренний представитель официальной православной церкви и с негодованием относился к Толстому.

VI

Многие материалисты неизбежно проходят через Толстого, через его (так называемый) рационализм, чтобы от материализма добраться до религии вообще, и в частности некоторые проходят Толстого, чтобы добраться до православия. И такие без помощи Толстого едва ли добрались бы до духовного понимания мира. Люди эти, пройдя Толстого, отвергают его как еретика и негодуют на него. Они не последовательны и не понимают Толстого. Толстой не рационалист, но он должен был употреблять рационалистический метод выражения религии, так как он призван был сокрушить и уничтожить материализм.

Материалисту трудно прийти к духовному миропониманию иначе чем через рационализм. Поэтому Толстой — спаситель материалистов от материализма.

Материалисты, оставшиеся после Толстого материалистами, должны прийти к абсурду и безумию, к поклонению злу. Поэтому известно и обратное явление, когда люди через Толстого приходят к безбожию. Толстой как огонь, который может быть благодетельным для разумных и может сжечь все у неразумных. Неразумные берут у него только всю критическую часть и ею разрушают в себе свои слабые религиозные представления и опустошенные переходят к безбожному материализму. Но явление такое неизбежно. Пустоцвет должен опасть, чтоб дать завязи развиться в плод.

Такие явления служат поводом отрицательного отношения к Толстому. Разные религиозные течения обвиняют его в рационализме и даже безбожии. А безбожники-материалисты обвиняют Толстого в мистицизме, в гнусной для них вере в Бога. Но в большинстве случаев Толстого не знают, его не знают даже некоторые из тех, которые считают себя последователями его. Они не знают того, чего в своем духовном делании достиг Толстой, т. е. кто он был.

Толстой — столь редкое явление, что, может быть, один из всех миллиардных масс данного поколения человечества к концу жизни своей достиг истинной цели — победы духа, опытно соединившись с живым Божеством.

Ладыженский, а за ним другие православные обвиняют Толстого в гордости и говорят, что он, критикуя церковь, не знал писаний святых подвижников христианства и достижений монахов-отшельников и не имел их духовного опыта. Но это недоразумение. Я здесь постараюсь это выяснить.

Смолоду, как я уже объяснил, будучи православным, я интересовался религиозными вопросами, читал православную литературу, писания отцов церкви, монахов, отшельников и пр. По монастырям бывал у затворников и схимников-отшельников, которые, отказавшись от земного, себя всецело посвящали Богу. Я знал о великих достижениях некоторых из этих людей, благодаря которым до нас дошла духовная сущность христианства.

Тем более знал это Толстой, он знал это опытно.

К Толстому я попал благодаря тому же исканию. Я предполагал и предчувствовал у Толстого, как результат его пути жизни, те же опытные достижения в мире духа, которые были у некоторых первоначальных христиан, у некоторых отшельников и мучеников древнего и среднего времени. Но достижений этих я не мог найти ни у Иоанна Кронштадтского, ни у современных отшельников, вероятно потому, что эти опытные переживания духа теперь уже не могут быть приобретены прежними путями.

Условия, задачи и сознание настоящего времени иные и сообразно с этим прежние средства достижения слития (т. е. соединения в одно) с Совершенным Началом жизни уже *недостаточны*.

Из некоторых выражений в письмах и дневниках Толстого я догадывался, что он обладает тем необыкновенным духовным состоянием внутренних чувств и совершенством сознания, которое подвижники православия называли стяжанием Духа Святого и слитием (соединение с Богом).

Только редкие, из названных святыми, достигали его. Они утверждали, что состояние это невыразимо словами и дает полное удовлетворение всем исканиям духа человеческого и благо, не сравнимое ни с чем земным.

Подобное состояние духа достигается в Индии прохождением каждой из 4-х ног. Высшая точка достижения называется там Самадхи — Слияние с Высшим, состояние, которое дает человеку предельное счастье, доступное человеку на земле. Это то состояние переполнения чувством совершенной любви к Богу и людям, в котором человек готов на всякую жертву для человечества, ради исполнения воли Бога, когда все страдания приносят человеку неземную радость (Рамакришна, Исаак Сирий, Франциск Ассизский, Будда и др.). Такого состояния не испытавшему его нельзя понять, однако ученые психологи пытаются его изучить, как, например, американские профессора Джемс и Бек и английский профессор Карпентер. Ученые эти приводят много примеров из действительной жизни, свидетельствующие, что человек в таком состоянии перерастает самого себя (перерождается). Человек достигает своего предельного развития, цели своего существования. В нем раскрываются новые необыкновенные чувства, а сознание, слагаясь в одно с Божественным, становится сверхчеловеческим, чего не знают самые гениальные из людей. Достижения величайших ученых ничтожны перед этим озарением в познании и изменении

всей внутренней природы человека. Исчезают остатки тупости и жестокости животного материализма в сознании человека, мешавшие видеть истинную духовную Действительность (иллюзорность мира и иллюзорность обожбенности).

Этого состояния сознания и внутренних чувств люди не только не знают, но и не предполагают возможным. А гордые в своем невежестве материалисты отрицают все это как гнусный обман.

Состояние это ученые психологи называют «сверхсознанием». На церковном языке то же самое называют слитием с Духом Святым. Святостью.

Несомненно одно, что здесь утверждается крайняя степень духовного развития, определяемая не людьми, а событием в духовной природе человека, подобным телесному рождению. Человек преображается в чисто духовное существо и это происходит как явление, независимое от самого человека.

Тот, с кем совершается подобное явление, постепенно или внезапно, становится иным по своей природе и внутренне отличается от всех людей, подобно тому, как в физической жизни зрячий отличается от слепого.

Однако окружающие люди никогда не видят этого, подобно слепым, которые никогда не видят зрячего и не понимают того, что значит «видеть». Прозревший, с которым произошло это изменение его существа, не чувствует себя выше слепых, но, наоборот, переполняется смирением и любовью, так как в этом сила и прозрение его. По этой причине люди не могут отличить этих действительно могущественных и необыкновенных существ от обыкновенных людей, представляя себе людей высокосоввершенных, великих, совсем в ином, превратном виде.

Вспомните Христа поруганного, побитого, сидящего в шуговском наряде перед смеющейся над ним толпой. Он проявлял свое божественное могущество над всеми людьми, но толпа, в своем невежественном животном материализме, видела в этом лишь его ничтожество.

Меня всегда интересовал вопрос — совершилось ли в Толстом подобное преобразование его духовной природы?

Достиг ли он сверхсознания, или опытного слияния с живым Богом? Того самого, чего достигали некоторые великие подвижники христианства и других религий?

Если Толстой, идя своим путем, действительно пробился к высшей цели жизни человека, опытно сливаясь с Совершенным Началом жизни, то ведь это является доказательством того, что дорога избрана верно, что она приводит к Великой Цели.

Если современные монахи и отшельники, в лучших своих представителях действительно отрешенные от мира и всего личного, проводя время свое в молитвах и постах, если они все-таки почти не имеют древних вдохновений и достижений, то это является доказательством того, что современные условия развития сознания и современные отношения людей ставят новые задачи духу человеческому. Прежние способы духовных усилий не устарели, они должны остаться, но их недостаточно, так как, кроме прежних препятствий, явились новые, которые необходимо преодолеть.

Таким образом, если Толстой имел древние вдохновенные достижения слияния с Совершенным Началом жизни в одно общечеловеческое сознание, то он возобновитель первоначального христианства, проложивший ему дальнейший путь в условиях нынешнего времени.

В этом случае Толстой является победителем современных трудностей, которые заградили старые, испытанные дороги, но отнюдь не разрушителем их. Такая победа имеет необыкновенное значение для дальнейшего развития человечества. Она раскрывает Христа для всего мира и открывает новые дороги для новой культуры и новой цивилизации.

Итак, мне необходимо было узнать, совершена ли эта победа Толстым?

В моем общении с Л. Н. однажды настал момент, когда я решился задать этот глубоко задушевный вопрос во всей значительности его. И я это сделал.

Толстой сразу понял всю сущность моего вопроса до самого дна. Я увидел, что получу настоящий и полный ответ, сообразный с глубиной этого человека.

Я спросил его, соединяется ли он опытно в своем духе с живым Божеством, Началом всего, как древние? Есть ли у него великое благо достигнутой цели? Я объяснил ему вопрос свой, как объяснил его здесь в этих записках.

Я получил от него исчерпывающий ответ. Но я не знал, что он будет сопровождаться такой тратой душевных сил. Мой вопрос оказался для него внутренним потрясением. Я как будто нажал на какое-то особенное место в его душе. Он изменился в лице, и видно было, что в нем, как-то само собою, совершалось внутреннее огромное усилие. Из глаз его брызнули слезы, у него остановилось дыхание и сделались спазмы в горле. Он силился дать мне утвердительный ответ — я понял это — но не мог сказать слова. На лице у него отразились какие-то безмерные чувства — может быть, любви, может быть, блаженства, не знаю, но очевидно было, их с трудом могла вмещать его душа. Он зарыдал...

Мне стало страшно за него...

Постепенно успокоившись, он еще словами утвердительно ответил на мои вопросы, доказавшими мне, что мои предчувствия были правильны.

Чтобы ответить мне утвердительно в той искренности, которая должна была соответствовать столь прямому и решительному вопросу о глубочайшей тайне души человека с Богом, он должен был вызвать в себе все свое единение с Началом нашей жизни, и это было потрясением всего его существа.

Этот быстрый переход его к этому потрясающему единению показал мне, до чего этого человек был сосредоточен в духовной высоте своей. Как он всегда был готов взлететь! Оттуда, из этого Духа питался его религиозный гений и вдохновением его прорвало некую преграду, которую встретила религия на своем пути в умах и сердцах современного человечества.

Сравнивая Толстого со всеми религиозными проповедниками, которых я видел и наблюдал, он, говоря церковным языком, несомненно великий подвижник совсем нового типа, не новой, а той же христианской веры.

которая наконец пробилась из сектантской и церковной обособленности. Подвижник, не выходящий из земных условий в иные, а остающийся среди людей и их интересов.

Толстой — тот единственный человек, выявивший дух Христа в решениях общественных вопросов и возможность новой христианской общечеловечности как выход для человечества из его нынешнего ужасного состояния. Этим он поставил религию Христа, которая была действительна только в храмах и монастырях, в центр жизни людей, как руководство частного и общего поведения.

Конечно, все это еще не выполнено никем, но тем не менее путь найден и все вопросы решены в главных чертах. А остальные безбожные решения, идеи и учения выявлены как ложные и уничтожены.

Материалистические учения изнутри преодолены Толстым и уже не имеют никакого значения, хотя в настоящее время они искусственно распространяются в массах перед событиями и переворотами в нашей европейской цивилизации.

VII

На другой день после столь значительного для меня общения Л. Н. казался изнуренным и слабым. Это было, конечно, следствием расходованных им сил на потрясающие ответы.

Он рассказал мне, что ночью ему сделалось совсем дурно, он почувствовал сильное телесное страдание и приближение смерти. И одновременно сквозь больное тело испытывал необыкновенное ясное блаженство новой, необъяснимой жизни и желание скорее расстаться с телом, которое мешает этому новому неземному состоянию.

После этого я почувствовал, что мне нельзя больше говорить с Толстым. Главное было выяснено, и все остальное было слишком незначительным и неуместным после раньше пережитых мгновений.

Октябрь 1928 г.

Шейерман Владимир Александрович (1862-1939) — харьковский помещик, отдавший в 1905 г. землю крестьянам; один из организаторов земледельческой общины в Телятинках близ Ясной Поляны. Переписывался с Толстым с 1906 г., когда послал свое «Открытое письмо к землевладельцам», где призывал их добровольно отказаться от частной собственности на землю.

Приехал в Ясную Поляну 16 января 1909 г. с 20-летним сыном Михаилом, пробыл несколько дней. Толстой 17 января отметил в дневнике: «Вчера был очень близкий и сильный человек Шейерман. Очень хорошо беседовали» (ПСС, Т. 57. С. 13). Сыну Шейермана предстояла военная служба, и он намеревался отказаться от нее.

41. Г. С. ПАВЛОВ

Воспоминания о Л. Н. Толстом

Я имел счастье видеть Льва Николаевича и пожать его руку. Было это за полтора года до его смерти. Я в то время учился в Туле, в реальном училище. Мне было 15 лет, я заканчивал четвертый класс, соответствовавший 7–8 классу теперешней средней школы, т. к. реальному училищу предшествовало три года обучения в начальной школе.

Надо заметить, что преподавание в реальных училищах, в отличие от так называемых классических гимназий, было поставлено с упором по преимуществу на физическое и математическое образование.

Помню прекрасный весенний день в конце мая. У нас, учеников, была страдная пора экзаменов. После одного из экзаменов кто-то из нас предложил воспользоваться хорошей погодой и отправиться за город. Желающих набралось человек 8–10. Решено было ехать в Ясную Поляну (это недалеко от Тулы), там прекрасные роши и пруды. Уверенности в том, что мы увидим Льва Николаевича, у нас не было. Мы даже не знали, был ли он в тот день у себя. Тем не менее мы решили попытаться счастья.

На поезде мы доехали от Тулы до ст. Козловка-Засека. Это километров в 12 на юг от Тулы. Оттуда пошли пешком в усадьбу Толстых — Ясную Поляну, километров в 5-ти от железнодорожной станции. Теперь и сама станция называется «Ясная Поляна».

Около дома, где жили Толстые, нас встретил какой-то молодой человек, который, угадывая наши желания, спросил: «Вы хотите видеть Льва Николаевича? Придется вам немного подождать. Он сейчас занят. Погуляйте пока по парку».

Мы пошли в парк, представлявший, собственно, прекрасную рошу с множеством тропинок. Запомнился в парке мостик через ручей, сделанный из березовых жердей. Как потом нам сказали, этот мостик был сделан самим Львом Николаевичем.

В парке мы побыли с полчаса. За нами пришли и позвали в дом. В комнате, куда нас ввели, помню, был большой стол, шкафы с книгами и особенно врезалась в память лесенка, крутая, ведущая на второй этаж дома.

Спустя несколько минут ступени лесенки зашуршали, и мы увидели спускающегося к нам Льва Николаевича. Он был в широкой рубашке-толстовке. Лев Николаевич поздоровался с каждым из нас за руку и, догадываясь по форме, где мы учимся, сказал: «Вы реалисты — значит математики. Я сейчас изучаю индусскую культуру. В старинных индусских рукописях я нашел интересное доказательство теоремы Пифагора. Хотите я вам расскажу?» Мы, конечно, с радостью согласились.

Лев Николаевич подошел к столу, взял бумагу и карандаш, а мы окружили его. Доказательство этой общеизвестной теоремы оказалось совер-

шенно оригинальным, не встречавшимся, да и теперь почему-то не встречающимся в учебниках геометрии, хотя и очень простое.

.....

...Прощаясь, Лев Николаевич каждому из нас дал по маленькой книжечке издания «Посредник» со своим автографом. К глубокому сожалению, моя книжечка затерялась при эвакуации...

Был я и еще один раз в Ясной Поляне. Но это было уже не в солнечный майский день, а в тусклый осенний день ноября 1910 года, день похорон Льва Николаевича.

Неделей раньше распространились в Туле слухи о том, что Толстой ушел от своих. Затем стало известно, что он умер на ст. Астапово, недалеко от Тулы. Наконец стало известно, что его тело привезли в Ясную Поляну и что 9 ноября он будет похоронен.

В те времена сведения о Толстом сообщались только по секрету. На его похороны ученикам средних школ идти не разрешалось под угрозой исключения из школы. Тем не менее многие учащиеся старших классов в Туле не пошли на занятия, а уехали в Ясную Поляну. Был и я в их числе. В этот день в Ясной Поляне мне запомнилась многочисленная очередь, тянувшаяся из парка к дому Толстых, где был установлен гроб. В этот день я видел Льва Николаевича в гробу, видел, как этот гроб долго несли на руках из дома, где жил Лев Николаевич, и закопали на опушке рощи...

Павлов Георгий Степанович — в 1909 г. ученик Тульского реального училища. В 1959 г., когда писал воспоминания, жил в г. Кирове (Вятка). В тексте нами сокращено показанное Толстым «оригинальное» доказательство общезвестной теоремы Пифагора.

42. И. МЕЛЬНИКОВ

Из моих воспоминаний об Ясной Поляне

В тяжелые годы реакции — после 1905 г. — многие молодые люди пытались найти в Ясной Поляне ответы на волнующие вопросы жизни.

И неудивительно — Ясная Поляна была магнитом, притягивающим к себе множество людей: крестьян, рабочих, студентов, литераторов, ученых, монахов и даже жандармов и попов.

«Кто из нас не прошел через роман с Толстым?» — спрашивает проф. Цявловский, говоря о влиянии Толстого на его современников.

Наиболее культурная молодежь Тулы и ее окрестностей совершала паломничество в Ясную Поляну, несмотря на то, что это было сопряжено с риском попасть в число «неблагонадежных». Молодым людям нашего села Мяснова, расположенного под Тулой, хорошо была известна дорога в Ясную Поляну.

В праздничный летний день 1909 г. я и мой товарищ сошли со ст. «Засека» и направились в Ясную Поляну.

Живописная дорога по Засеке круто подымалась в гору. Мы неоднократно останавливались, чтобы полюбоваться огромным массивом леса и подышать воздухом, напоенным благоуханием трав и цветов. Высокое солнце, освежающая прохлада леса, полевые цветы по дороге создавали радостное ощущение жизни в наших молодых сердцах.

Мы бодро шли, беседуя о предстоящей встрече с Львом Николаевичем.

По мере приближения к Ясной Поляне нами все больше и больше овладевало волнение. Но вот мы у Яснополянских столбов, за которыми начинается территория усадьбы. Мы у цели своего путешествия.

— Не вернуться ли обратно?

— Примет ли нас Лев Николаевич?

— Стоит ли его беспокоить нашими вопросами?

Волнение доходит до своего предела. Однако мы вступили на землю усадьбы Ясная Поляна. По дороге, которую принято в усадьбе называть «прищепком», мы поднялись к дому, расположенному на поляне в довольно высокой точке территории усадьбы. Дорога к дому оканчивалась аллеей кустарников, за крутым поворотом которой мы неожиданно подошли к террасе дома с балясинами, украшенными простонародным резным рисунком. Клумбы хорошо выхоженных цветов окружали террасу, дикий виноград скрывал часть ее, подымаясь по протянутым нитям к карнизу.

Среди цветов, с лейкой в руках, стояла дама пожилых лет, одетая в белое платье, плотно облегавшее ее сильную фигуру; без труда мы узнали в ней Софью Андреевну.

Прервав свою работу, Софья Андреевна строго вопросительно посмотрела на нас.

— Можно ли видеть Льва Николаевича?

— Лев Николаевич на прогулке.

— Мы подождем.

— Его долго не будет и он сегодня не принимает.

На энергичном лице Софьи Андреевны отразилось недовольство нашим посещением.

Мы отнесены к «темным».

Софья Андреевна делила посетителей Ясной Поляны на «темных», к которым относила людей, тяготивших ее своим присутствием в Ясной Поляне, и людей своего круга, или полезных Ясной Поляне.

Огорченные отказом, мы направились обратно. Но не хотелось уходить из усадьбы, не повидавшись с Львом Николаевичем.

— А может быть примет.

— Подождем.

Решили, не выходя из усадьбы, ждать возвращения Льва Николаевича с прогулки и вновь попросить свидания.

Расположились под елью у края поляны. Перед нами открывался вид на главный фасад дома, живописно обрамленного клумбами цветов по цоколю.

Довольно большая поляна, покрытая густой травой, перед домом, аллен кустарников, примыкающих к нему с одной стороны, и липовая аллея, уходящая в парк, — с другой стороны, составляли ансамбль пейзажа около дома усадьбы Ясная Поляна.

Через некоторое время на фоне зелени и цветов появилась Софья Андреевна: уверенным движением руки она поливала цветы, поправляла их, неторопливо переходила от клумбы к клумбе; все в ней было твердо, солидно и деловито. Движущаяся Софья Андреевна оживляла пейзаж усадьбы, сливаясь с ним в одно целое. В лучах яркого солнца все это приобретало особенный эффект и четкость; порою казалось, что перед глазом отображение природы усадьбы на фотографической пластинке цветного фото.

Вдруг товарищ мой заволновался.

— Лев Николаевич смотрел на нас в бинокль. — тихо сообщил он мне, указывая глазами на открытую дверь кабинета Льва Николаевича, выходящую на балкон второго этажа.

— Так он дома!.. — вырвалось у меня.

— Попробуем еще раз добиться свидания с ним.

Не совсем уверенные в успехе нашего предприятия, мы медленно двинулись по аллее к дому.

— Лев Николаевич не принимает. Не ждите! — сухо заявила Софья Андреевна, увидев нас у террасы. Мы молча двинулись обратно. Вторичный отказ расстроил все наши планы. В почтительном расстоянии от дома мы остановились, чтобы обсудить создавшееся положение. Незаметно к нам присоединился молодой человек.

— Вы не от Льва Николаевича? — спросил он.

— Не принимает! — огорченно сообщили мы вновь прибывшему.

— Жаль, очень жаль!.. — Молодой человек вопросительно смотрел на нас и, видимо, тоже не знал, что предпринять.

— Подождем еще!..

— Теперь нас трое.

Решили ждать. Вновь прибывший молодой человек оказался воспитанником Тульской духовной семинарии и сыном тульского священника Троицкого.

О священнике Троицком следует сказать несколько слов.

Он приезжал к Льву Николаевичу в Ясную Поляну с целью вернуть его в лоно православной церкви: в Ясной Поляне Троицкого приняли за шпиона тульских властей, что, кажется, впоследствии не оправдалось. Поездка священника в Ясную Поляну не имела никакого успеха¹.

Троицкий был законоучителем в Тульском Техническом училище, в котором я учился до 1906 года; он был небольшого роста, сухонький, маленький, с редкой бородкой и редкими прядями влажных волос, местами обнажавших старческий череп; одет он был всегда в рясу лилового цвета. Уроки Закона Божия батюшка превращал в душевспасительные беседы, которые иллюстрировал обилием фактов из своей жизни и жизни других ревнителей православия; эти беседы весьма развлекали нас, ибо в них было много курьезного, смешного, а порою наивного и глупого.

Когда содержание его бесед доходило до чудес, мы высказывали свои сомнения.

— Если вы в чем-нибудь сомневаетесь, то осените себя трижды крестным знаменем, — поучал нас батюшка; он осенял себя при этом широким крестом со словами: — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Мы улыбались.

— А если это не поможет? — раздавалось из класса.

— А если это не поможет, — он спокойно расхаживал по классу, поглаживая бородку. Остановится, подумает: — То еще осените себя крестным знаменем и так до тех пор, пока сомнения не оставят вас. — И батюшка снова широко крестился с теми же словами: — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

— Вы еще не тверды в вере, — говорил он и морщил свой маленький низенький лоб, что было признаком его умственного напряжения: батюшка, видимо, что-то вспоминал. После непродолжительной паузы он привел нам пример из жизни московского митрополита, отличавшегося твердостью в вере.

Митрополит присутствовал на заседании какого-то общества, где были представители науки. Один из ученых по ходу беседы выразил сомнение в истинности некоторых положений церкви.

Ученый стал испытывать митрополита. «В Священном писании, — говорит, — сказано, что кит проглотил пророка Иону. Пророк пробыл во чреве кита три дня и три ночи и вышел невредим. Как это понять, разве это можно? Это уж несовместимо с наукой естествознания». Митрополит несколько не смутился и ответил: «Если бы в Священном писании было сказано, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, и тогда я поверил бы».

Общий смех. Батюшка победоносно смотрит на нас.

— Ученый был посрамлен твердостью веры митрополита, — заключил батюшка. — Вот образец истинно верующего человека и твердого в вере.

Особенно Троицкий огорчился тем, что молодые люди, оканчивающие духовную семинарию, не хотели принимать сан священника и уходили учиться в ветеринарный институт или другие учебные заведения.

— Когда я у них спрашиваю, — говорил батюшка, с некоторым лукавством поглядывая на нас, — почему они не хотят быть священнослужителями и по конеечке собирать себе на пропитание, они отвечают, что нет призвания. Нет призвания быть священником, служителем алтаря! — патетически восклицает батюшка, остановившись на середине класса и подняв указательный палец вверх. — Нет призвания быть священником, а есть призвание быть ветеринаром, лечить лошадей!! Это что же такое.

Батюшка как бы в негодовании воздел обе руки вверх.

— Они меняют алтарь на конюшню!..

Он кому-то грозит указательным пальцем и не замечает нашего смеха.

Видимо, и сын его, пришедший в Ясную Поляну, решил променять алтарь на что-то другое.

Итак, мы трое ждем Льва Николаевича. Время — далеко за полдень. Наша беседа не клеится. У всех одна дума: как бы добиться свидания.

Неожиданно для нас из-за поворота аллеи вышел Душан Петрович Маковицкий — доктор Льва Николаевича; он приветливо поздоровался с нами и, узнав, что мы долго ожидаем Льва Николаевича, выразил желание пойти доложить о нас Льву Николаевичу. Обрадованные таким предложением доктора, мы очень просили его помочь нам увидеться с Львом Николаевичем: Душан Петрович немедленно направился в дом.

Во внешности Душана Петровича было что-то глубоко демократическое. Необыкновенно скромный и простой, он как-то весь светился. Обаятельная задушевность взгляда его светлых спокойных глаз с первого же момента встречи расположила меня к нему, и это чувство расположения к Душану Петровичу никогда не покидало меня при встречах с этим удивительным славянином, связавшим свою судьбу с Львом Николаевичем и посвятившим свою жизнь великому другу.

Душан Петрович быстро скрылся за углом террасы, оставив нас в приятном волнении.

И вот из-за угла показалась знакомая по фотографиям и портретам фигура Льва Николаевича, в сопровождении Душана Петровича. Лев Николаевич шел к нам навстречу легкой бодрой походкой, заложив руки за пояс. В соразмерном движении его тела чувствовалась тренировка опытного ходока или спортсмена. Необыкновенная опрятность простой одежды Льва Николаевича невольно бросалась в глаза.

Лев Николаевич быстро подошел к нам вплотную. Немного волнуясь, мы приветствовали его.

Лев Николаевич просто и хорошо ответил на наше приветствие.

Мы были в некотором замешательстве: с чего начать и кому? — мысленно задавал вопрос каждый из нас, глядя друг на друга.

Лев Николаевич быстро вывел нас из затруднительного положения.

— Что скажете? — обратился Лев Николаевич ко мне.

— Посоветуйте, Лев Николаевич, что мне читать.

— Что читать? — Лев Николаевич сделал небольшую паузу и посмотрел мимо меня куда-то в пространство. — Читать Будду, Конфуция, Христа! — наставительно прозвучало в воздухе.

«Будда, Конфуций, Христос! Как это бесконечно далеко от нашего времени», — пронеслось в моем сознании.

— А я, Лев Николаевич, читаю Куприна, — точно в свое оправдание начал я. — Недавно прочитал «Яму» и иначе стал смотреть на женщин, описанных им в его произведении.

Лев Николаевич быстро обернулся ко мне, посмотрел на меня из-под нависших бровей пронизательными глазами.

— Ну и читайте, читайте Куприна, если он на вас хорошо действует, — поспешно произнес Лев Николаевич. В его взгляде, устремленном на меня, я почувствовал доброту, и меня покинула неловкость, вызванная тем обстоятельством, что я не был знаком с рекомендованными им авторами, писавшими за много веков до нашей эры. Доброжелательное отношение к нам Льва Николаевича успокоило и ободрило всех нас, и скоро разговор перешел на самое главное.

— Что делать и как жить?

— Живите и работайте не только для себя, но и для других, — произнес Лев Николаевич и, оживившись, особенно проникновенно заговорил: — Нужно в жизни уподобляться рабочему шкиву. Есть холостые шкивы и рабочие. Холостой шкив только вращается сам и не производит никакой работы, а рабочий шкив не только сам вращается, но и приводит в движение станок, на котором производится работа. — Движение шкивов и работающего станка Лев Николаевич подкреплял жестами своих рук, красивые пальцы которых как бы реализовали его мысли о динамике работающей личности.

Чтобы дать наиболее подходящее обобщение своих мыслей, Лев Николаевич остановился и, видимо, увлеченный мыслью о движущихся механизмах, весьма выразительно широкими движениями обеих рук имитировал работу шкивов.

— Так и среди людей, — продолжал он, — есть люди, которые живут, работают только для себя и ничего для других не хотят делать; но есть люди, которые живут и работают не только для себя, но и для других; они похожи на рабочие шкивы, которые не только сами вращаются, но вращают станок, выполняющий работу. — Лев Николаевич смотрит на нас с удовлетворением; его умные глаза говорят нам: сравнение хорошее, и оно понято вами вполне.

И стоит перед нами Лев Николаевич простой, ясный, доступный нам; с ним можно уже говорить обо всем, что долго готовили для него; мы не чувствуем его особого преимущества над собой, нас не давит мощь титана, и его всемирная популярность не отделяет от него.

С нами ходит по аллее Яснополянской усадьбы давно нам знакомый, бодрый, соразмеренный в движениях своего ловкого тела человек, которому мы принесли свои лучшие мысли и чувства наших молодых сердец.

Стало вечереть.

Душан Петрович, оставивший нас наедине с Львом Николаевичем, подошел к нему и предложил одеть легкий пиджак и шапочку.

— Холодно и сыро, — сказал Маковицкий, заботливо накинув на плечи Льва Николаевича пиджак. Лев Николаевич взял шапочку и одел ее на голову. Нужно было кончать беседу. Теперь он говорил с семинаристом. Как не хотелось прерывать столь приятно протекавшие минуты нашей встречи! Лев Николаевич начал прощаться. Крепкое пожатие руки, теплоту которой я так сильно почувствовал в тот момент и которая осталась в памяти на всю жизнь.

— Вас не пускали ко мне, — конфиденциально сообщил он, обращаясь к нам в последнюю минуту и делая жест в сторону дома. — Вы извините их, часто просто из любопытства приходят сюда. — Лев Николаевич поспешил в дом.

Необыкновенная деликатность его тронула нас. На прощанье Лев Николаевич вынул из каких-то тайников своих обширных карманов аккуратно сложенные записочки и дал каждому из нас.

На узкой полоске бумаги, попавшей ко мне в руки, было напечатано на машинке:

Знаю, что, если я в любви,
То я с Тобою.
А если я с Тобою, то все благо.
Поэтому буду любить всех
В мыслях, словах и делах.

Душан Петрович вынес нам брошюры, которыми обычно Лев Николаевич снабжал паломников, посещавших его.

Мы еще раз поблагодарили добрейшего доктора Маковицкого и двинулись обратно в Тулу.

Я держал записку в руках и думал: Что это? Разговор с себе подобным или молитва схимника?

Для меня это было такой же неожиданностью, как и рекомендованные им Будда и Конфуций. — Но я читаю Куприна.

Впрочем, о чем говорить, когда в сердце уже было вписано на всю жизнь:

«Нужно в жизни уподобляться рабочему шкиву, который вращается сам и приводит в движение станок, выполняющий работу».

¹Тулский священник Д. Е. Троицкий приезжал в Ясную Поляну 26 сентября 1897 г., надеясь склонить Толстого к возвращению в православие. С. А. Толстая записала тогда в дневнике: «Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что для того, чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком?» (Толстая С. А. Дневники в 2-х томах, Т. 1. С. 302). Протоиерей Троицкий бывал в Ясной Поляне с той же целью и позднее, казался Толстому «сомнительным». В 1908 г. произошел резкий разговор. Спустя три года после смерти Толстого Троицкий напечатал в Сергиеве Посаде брошюру «Православно-пастырское увещание графа Л. Н. Толстого».

43. И. В. ДЕНИСЕНКО

Воспоминания

В июле 1909 года, когда я был в Ясной Поляне, Лев Николаевич Толстой собирался на конгресс мира в Стокгольм, против чего была София Андреевна. Это вызвало целый ряд недоразумений, и София Андреевна тогда заболела, не желая, чтобы Лев Николаевич поехал на конгресс.

Как-то она позвала меня к себе в спальню и, показавши мне общую доверенность на управление делами, выданную ей давно уже Львом Николаевичем, спросила меня, может ли она по этой доверенности продать третьему лицу право издания произведений Льва Николаевича, а главное возбудить преследование против Сергеенко и какого-то учителя военной гимназии за составление ими из произведений Льва Ник. сборников и хрестоматий, ввиду того, что эти сборники могут причинить ей, С. А., большой материальный ущерб ее новому изданию сочинений.

Я страшно был удивлен, что произведения Льва Ник. до 81 года не составляют ее собственности, что я ей и высказал, на что она мне ответила, что того, что она издает сочинения Льва Николаевича только по доверенности, никто не знает, и просила меня этого не разглашать¹. Я ответил ей, что, по моему мнению, продавать право издания сочинений по имеющейся у нее доверенности она права не имеет: для возбуждения же преследования против составителей сборников ей необходимо иметь специальную доверенность от Льва Ник., которую он, конечно, ей не даст.

Насколько мне помнится, С. А. сказала: «А может быть и даст, я попробую».

Во всяком случае, чтобы дать С. А. точный ответ на ее вопросы, я просил ее достать из Тулы соответствующие сборники и законы, которые мною и были указаны. Просьба моя была исполнена в тот же день.

По рассмотрению законов, я вполне подтвердил высказанное мной раньше С. А. мнение. Мое мнение, видимо, не удовлетворило С. А. Болезненное состояние ее все продолжалось, она не выходила из спальни и, как стало известно, она настойчиво требовала от Л. Н. доверенности на возбуждение упомянутых выше дел и передачи ей сочинений Л. Н. в собственность, для чего и приходила к нему ночью, настойчиво требуя исполнения своих просьб.

Кажется, на другой день после этого, днем, я с женой и детьми были в парке на ягодах. Жена просила меня зачем-то сходить во флигель. Я пошел по аллее, проходящей между цветами, и тут совершенно неожиданно встретил Льва Николаевича. Вид его меня поразил. Он был сгорбленный, лицо измученное, глаза потухшие, казался слабым, каким я его никогда не видал. При встрече он быстро схватил меня за руки и сказал со слезами на глазах:

— Голубчик, Иван Васильевич, что она со мной делает, что она со мной

делает! Она требует от меня доверенности на возбуждение преследования. Ведь я этого не могу сделать. Это было бы против моих убеждений.

Затем, пройдя со мной несколько шагов, он сказал мне:

— У меня к вам большая просьба, пусть только она пока останется между нами, не говорите о ней никому, даже Саше. Составьте, пожалуйста, для меня бумагу, в которой бы я мог объявить во всеобщее сведение, что все мои произведения, когда бы то ни было мною написанные, я передаю во всеобщее пользование. Кроме того, я желал бы передать всю землю крестьянам.

Лев Николаевич, говоря это, был страшно расстроен и нервно возбужден.

Я сказал, что исполнить его просьбу немедленно не могу, так как мне необходимо будет справиться с законами и узнать мнение некоторых юристов, и тогда я ему набросаю желаемое и пришлю из Новочеркасска. Лев Ник. на это изъявил согласие.

На другой день после этого разговора, когда он выходил на утреннюю прогулку, Лев Николаевич встретил меня и, отозвав в сторону, сказал:

— Ах, ах, что я вам вчера сказал. Я так был расстроен, что забыл, что я землю уже давно отдал детям и жене, а насчет моих сочинений вы все-таки сделаете то, о чем я вас просил.

Вскоре после этого по вызову С. А. приехал сначала Андрей Льв., а затем Михаил Львович уже по вызову Андрея. Как один, так и другой, каждый в отдельности просил меня уделить ему несколько минут для делового разговора.

И Андрей и Михаил Львовичи спрашивали меня, как юриста, мое мнение о том, может ли мать по имеющейся у нее доверенности на управление делами отца продать, не спрашивая отца о том, право на издание всех произведений, написанных им до 81 года. Они объяснили свое желание узнать мое мнение по этому поводу тем, что отец может ввиду преклонных лет умереть, не сделавши никакого распоряжения относительно этих произведений.

Вернувшись домой, в Новочеркасск, я, собравши необходимые сведения для исполнения просьбы Льва Николаевича в ноябре или декабре 1909 года, написал Саше письмо, в котором просил ее узнать от отца, нужно ли ему то, о чем он меня просил летом, и если нужно, то я исполню его просьбу.

Ответа на это письмо я не получил, так как, как я узнал после, оно никогда не дошло по назначению.

Пирогово 12 августа 1911 года

Денисенко Иван Васильевич (1851–1916) — муж племянницы Толстого Елены Сергеевны (1863–1942); юрист, чиновник Судебной палаты в Новочеркасске. Воспоминания написаны по просьбе В. Г. Черткова; несколько цитат были приведены в подстрочных примечаниях в книге Черткова «Уход Толстого». Москва, 1922. С. 35–36.

¹Д. П. Маковицкий отметил 14 июля 1909 г.: «О том, что у Софьи Андреевны нет права на издание, никто не догадывался (никому не приходило на ум, даже Черткову)» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 4. С. 15).

44. Б. О. ГОЛЬДЕНБЛАТ

Лев Николаевич Толстой в суде

(Из воспоминаний защитника. 16 января 1910 г.)

Зимнее морозное утро. Небо низко нависло над землей. Холодно, серо, уныло. Люди, кутаясь от резкого ветра, спешат по своим делам, угрюмые, озабоченные.

Окружной суд. Торжественная обстановка. Лестница покрыта красным ковром; курьеры в новых ливреях. Все блестит чистотой и порядком. На верхней площадке судебный пристав в мундире и с цепью на шее, проверяет явившихся свидетелей.

Эта праздничная обстановка вызвана приездом Судебной палаты из Москвы, которая начинает сессию с участием сословных представителей.

Время тянется долго, уныло, скучно. Давно пора начать заседание, а членов Палаты все нет да нет: поехали с официальным визитом к губернатору.

Слоняешься из угла в угол, злишься на это опоздание. Вдруг подходит ко мне курьер и докладывает, что меня просит вниз какой-то старик, крестьянин, которого не хотят пропустить наверх в залу заседаний. Какой это мужичок, что ему нужно, для чего ему необходимо попасть в залу заседаний, да и при чем я тут?

Недовольный, неохотно спускаюсь вниз по лестнице в переднюю и... обомлел: на нижней площадке в шубе, валенках, весь заиндевевший, стоит Лев Николаевич. Сам Лев Николаевич, с своей милой, ласковой улыбкой. Это тот мужичок, которого не пускают наверх. Еще бы! Замажет ковры, испортит торжественный вид Палатского заседания. А рядом с ним стоит, с своим застенчивым видом, Душан Петрович Маковицкий, доктор Льва Николаевича.

Лев Николаевич приехал из Ясной Поляны по скверной, ухабистой дороге, чтобы присутствовать на этом заседании Палаты, так как его очень интересует и дело, и обвиняемые, в которых он принимает живое участие.

Идем наверх. Усаживаю Льва Николаевича и Маковицкого на скамье для публики, причем с присущей Льву Николаевичу скромностью он ни за что не хочет сесть на первой скамье, а усаживается подалее, не на виду.

С быстротой молнии распространяется и в суде и в городе весть о том, что Лев Николаевич в Туле, что он сидит в зале уголовного отделения суда, и потянулась толпа взглянуть на великого писателя русской земли, властителя душ и сердец людских...

— Палата идет! — громко и торжественно возглашает судебный пристав.

Начинается заседание, но все взоры, все внимание, весь интерес сосредоточен там, где сидит Лев Николаевич, внимательно прислушивающийся и присматривающийся ко всему происходящему.

А секретарь все читает и читает обвинительный акт: группа крестьян свыше 20 человек в праздничный день возвращались из уездного города Крапивны к себе домой. Продали хлеб, хорошенько погуляли, выпили и сильно навеселе по проселку тянутся длинным обозом, в самом благодушном настроении духа.

Вслед за ними выехала из Крапивны почта. И ящик и почтальон тоже крепко выпивши. Мчатся лихо почтовые лошади, гулко звучит колокольчик.

С гиканьем, свистом, руганью врезываются почтовые сани в обоз. Подымается перебранка, ссора. Почтальон выхватывает шашку, рубит у крестьян построжки, раскровавливает руку одному мужичку и... одерживает победу. Мужички сворачивают в сторону по пояс в снег, помогают почтовым саням выбраться на дорогу; и снова потянулся длинной лентой обоз в свою засыпанную снегом деревушку. Казалось бы, и делу конец, но почтальон в пылу сражения потерял шашку, да и опоздал на станцию, где должен был объяснить причину опоздания и отсутствия шашки. Вот он и придумал, что на него произведено было по дороге разбойное нападение крестьянами, которые хотели ограбить почту, он защищался, но у него отняли шашку и т. д. Еле спасся. Возникло дело. Разбойное нападение толпой на почту, отнятие оружия — одним словом, дело, грозящее лишением прав, каторгой.

Заинтересовался этим делом Лев Николаевич, принял в обвиняемых сердечное, близкое участие; написал мне письмо с просьбой принять на себя защиту крестьян и вдруг неожиданно для всех приехал на суд. Не сиделось дома, защемило сердце; судьба десятков людей, страдающих братьев, взяла верх над благоразумием, увещаниями родных, просьбой Софьи Андреевны и — несмотря на сильный мороз, снег, ветер, ухабы приехал из Ясной Поляны в Тулу.

Прочитан обвинительный акт, допрошены свидетели, опрошены обвиняемые. Судебное следствие окончено. Слово принадлежит обвинителю. Встает прокурор. Как жалок его вид: он смущен, теряется; робко и со страхом смотрит на Льва Николаевича. Поддерживает обвинение, но чувствуется что-то натянутое, неискреннее.

Слова защиты. Встаю, но чувствую себя как школьник, который отвечает урок в присутствии министра. Слова, мысли, чувства скованы смущением: все парализовано сознанием, что меня слушает сам Толстой, что он здесь близко, близко, что от его зоркого глаза не скроется ничто. Но все это длится только один мучительный миг. Я оборачиваюсь к Льву Николаевичу и встречаюсь с взглядом его глубоких изумительных глаз: встречаю ободряющую улыбку и чувствую, что от его сердца протянулась невидимая, тончайшая нить, придавшая мне энергию, бодрость, внушившая и подсказавшая мне нужные мысли, образы, слова...

Кончена речь защитника. Палата ушла совещаться.

Боюсь оглянуться; боюсь посмотреть на Льва Николаевича. Страшно!.. А вдруг он недоволен мною, вдруг я взял неверный тон; сказал не то, что нужно, и не так, как нужно.

Стою как пригвожденный к месту, но вот подходит ко мне Душан Петрович и говорит, что меня зовет Лев Николаевич. Он, этот великий сердцевед, понял и почувствовал мои переживания и мое настроение и с необыкновенной чуткостью позвал меня, обласкал, утешил, ободрил: «Как братьев защитили. Как хорошо, любовно, по-братски».

Звонок. Палата идет. Председатель с веселой, радостной улыбкой читает оправдательный вердикт.

Какое создалось в зале настроение! Все преисполнены радости, любви. Все почувствовали себя родными, близкими, братьями. На момент как бы спали с плеч внешние отличия и произошло единение человеческих душ, единение, спаянное любовью. Человек стал человеком! Этот чудный миг забыть нельзя.

Все окружили Льва Николаевича: все старались выказать ему свою любовь, уважение, преданность. А он, простой, ласковый, общительный, с доброй старческой улыбкой на устах, интересуется всеми мелочами дела, настроением, переживаниями подсудимых, судей. Вдруг подходит к нему прокурор, милейший Лопатин. Рекомендуется. Лев Николаевич знает брата его, родных. «А, как вам не стыдно желать людям зла, обвинять их?» — спрашивает Лев Николаевич. Прокурор смутился и в большом смущении отвечает: «Ничего не поделаешь, это моя обязанность». С грустью посмотрел на него Лев Николаевич и тихо заметил: «Нехорошая же у вас обязанность».

После заседания Лев Николаевич побывал в комнате присяжных поверенных, где принял участие в шахматной игре и где его напоили чаем.

Так не хотелось расставаться, так страстно хотелось продлить пребывание дорогого гостя, но его верный и преданный Душан Петрович все торопил с отъездом.

Зимний день короток, быстро надвигались сумерки, и Лев Николаевич уехал.

Большая, огромная радость, все заполнившая, все поглотившая; радость и счастье общения с Львом Николаевичем остались неослабеваемым воспоминанием об этом исключительном, ярком для нас дне.

Гольденблат Борис Осипович (1864–после 1930) — адвокат. Окончив в 1888 г. Новороссийский университет, поселился в Туле, где, как писал он Н. Н. Гусеву 21 января 1929 г. (см. № 52), «прожил всю свою жизнь».

16 января 1910 г. Толстой записал в дневнике: «Проснулся бодро и решил ехать в Тулу на суд... И поехал. Сначала суд крестьян, адвокаты, судьи, солдаты, свидетели. Все очень ново для меня. Потом суд над политическим. Обвинение за то, что он читал и распространял самоотверженно более справедливые и здравые мысли об устройстве жизни, чем то, которое существует. Очень жалко его. Народ собрался меня смотреть, но слава Богу, немного. Присяга взволновала меня. Чуть удержался, чтобы не сказать, что это насмешка над Христом» (ПСС, Т. 58, С. 9).

Воспоминания печатались в «Известиях Тульской кооперации», 1918, XXII, С. 4–5. Здесь публикуются по автографу, сохранившемуся в архиве Гусева при письме Гольденблата к Т. Л. Сухотиной от 20 марта 1922 г.

45. Г. Д. ДЕЕВ-ХОМЯКОВСКИЙ

Рабочие в гостях у Л. Н. Толстого (Из воспоминаний)

Весна 1909 года была особенно красочная. Дни стояли солнечные, ясные, теплые. Мы, рабочие учащиеся Пречистенских рабочих курсов в Москве, особенно много делали загородных экскурсий в дни отдыха.

Экскурсии преследовали двоякую цель: там мы обсуждали происходящие политические события, там только, в лесах, мы могли более или менее знакомиться с «незаконной» тогда литературой и намечать план действий пропаганды и агитации.

Курсанты, оставшиеся к весне, в большинстве были из специальных групп: «Аттестатники на зрелость», так называли тех учеников, которые готовились к поступлению в высшие учебные заведения.

Была и учительская группа, или «Камерники», как называли подготовляющихся рабочих к учительской деятельности. Были и другие группы, менее значительные по своему курсовому общественному весу.

Тон задавали две вышеуказанные группы. Они-то и решили составить экскурсию в Ясную Поляну в конце мая 1909 года.

В этих группах были рабочие фабрик — Сиу, Гивардовского, электрической станции, завода Циндель, Жиро, Трехгорной мануфактуры и др. Желание учиться и быть на передовых постах общественной жизни было у курсантов настолько сильно, что многие товарищи, не дождавшись дня намеченной экскурсии к великому писателю, «засыпались». Пришлось собранные значительные суммы отдать им.

Реакция в эту весну свирепствовала особенно сильно. Было какое-то кошмарное преследование рабочих. Закрывались профсоюзы, кружки, и агенты охранки шныряли по пятам за курсантами.

До охранки, очевидно, дошла весть о том, что мы, собравшиеся ехать в Ясную Поляну, не вполне благонадежны, т. к. все наши ходатайства и особенно усиленные хлопоты покойной Гольцевой О. А. и Левицкого, состоящих тогда ректорами этих курсов, не удавались.

Экскурсию сделать в Ясную Поляну градоначальство не разрешало. Наконец в один из воскресных дней, когда мы собрались на курсах для решения этого вопроса, явился чиновник «особых поручений» из Московского учебного округа (фамилии не помню) и красноречиво доказывал нам то, что ехать незачем.

Помню любопытный разговор:

- Что вы хотите от Толстого? — спрашивал чиновник.
- Творчества!
- Активной защиты рабочих организаций от разгона полиции!
- Его поучений насчет попов. — сострил тов. Секретов.

Особенно не понравилась чиновнику речь т. Секретова о попах. Хотя сам Секретов не верил ни в каких попов, т. к. сам был социал-демократ.

примыкавший к левой группе, но все же вступил в дискуссию с чиновником о полах.

Поехало нас человек сорок пять. С нами были девушки, женщины, два извозчика, человека три служащих.

Перед отъездом помню разговор о том, как нам поехать, в каких костюмах. Многие предлагали опроститься и одеться возможно проще. Большинство это отвергало и доказывало:

— Софья Андреевна — жена писателя — не допустит, если мы приедем не опрятно.

К ней рабочие были настроены предубежденно.

— Это будет искусственность.

— Неискренность.

— Толстой этого не любит и т. д.

Словом, решили ехать так, как кто найдет нужным. Так оно и вышло: девушки надели крахмальные воротнички и подтянулись ремешками. Это было тогда в моде. Некоторые ребята приоделись в костюмы и «заманжетились». Некоторые были в простых рубашках и выглядели очень демократично. В общем пестрота в нашей одежде была невероятная. Ну, это было и лучше впоследствии, так как при посадке на поезд те, кто не «опростился», легче устроился в вагоне и помогал остальным «операциям», так как вагоны так были набиты народом, что кондуктора отказывались впускать, хотя и с билетами.

Вечером в субботу под Троицын день мы все собрались на курсах и оттуда двинулись с узелками на вокзал.

Шли мы группой. Движение приодетой публики из рабочих было не без тайных проводов шпиков.

У Покровских ворот, когда мы стали группой свертывать в переулок, произошел инцидент с полицейским.

Какой-то ретивый околодочный хотел поинтересоваться.

— Куда идете? Толпой нельзя.

— Гляди под нос! — кто-то оборвал его.

Обиженное «начальство» вдруг свистнуло. Подбежал городовой.

— Остановись! буду стрелять!

Остановились. Собралась толпа. Показали бумагу от градоначальника, разрешающую ехать.

Конфузно отступил «ретивый» полисмен.

Не знаю, была ли эта задержка сделана случайно или по предписанию полиции, но мы едва не опоздали на поезд.

Ехали мы с каким-то необыкновенным трепетом. Когда сошли с поезда, то на многих какой-то напал страх. Некоторые товарищи предлагали вернуться или побыть в окрестностях.

Под влиянием солнца, цветущих полей робость прошла. Мы пешком, с песнями, смело шагали по направлению к имению писателя.

Наконец показался дом.

Сразу мы идти не решились. Остановились вдали, устроили завтрак. Потом уже тихо, без песен, двинулись к парку.

Видись жаворонки. Над парком летали с криком грачи. Нас встретили необычайно любезно.

Встретила нас одна из дочерей писателя, кажется, Татьяна Львовна. Она спросила нас о цели приезда. Очень ласково обращалась с приехавшими девушками.

Узнав, что мы пробудем и понедельник, нас устроили так, чтобы мы могли спокойно ночевать.

Лев Николаевич не сразу к нам вышел. Он, как нам сказали, только что вернулся с прогулки. Был не совсем здоров.

Мы осматривали сад. Постройку. Наконец пили чай. Огляделись и чувствовали себя бодрее. Часов в двенадцать нам сообщили, что Лев Николаевич нас просит. Это сообщение нас как бы обожгло. Все начали приводить себя в порядок. И не успели мы собраться, как увидели идущего к нам самого писателя.

Одет он был очень просто: любимая длинная блуза, с книжкой в кармане и с рукой, затыкнутой за пояс. На ногах сандалии из лык, без шляпы.

Это появление Льва Николаевича нас сразу привело в какое-то немое состояние. Мы не знали, что делать и как вести себя. Наконец, после минутного замешательства, мы пошли навстречу.

Он пронизательным взглядом остановился на нас и, поздоровавшись, попросил сесть тут же около дома на ступеньках, лавочках, и сам спокойно, по-стариковски, присел на ступеньку.

— Кто вы? — спросил он.

— Рабочие.

— Служащие.

— С фабрики Гивардовского — завод дрожжей.

Выкрикивали как-то бестолково.

— Рабочие?.. — переспросил Лев Николаевич, — а эти девушки — работницы?

— Работницы, — отвечали мы.

— Как же это работницы, а так себя затанули, — сказал он улыбаясь, обращаясь к курсисткам. Те смутились, а Лев Николаевич продолжал:

— Как это вы себя мучаете такими платьями, воротничками? Рабочий человек должен держать себя вольно, а вы, тоже...

Откровенно говоря, мы были готовы провалиться от такого сюрприза. Торжествовали только «опрошенцы».

— Человек, — продолжал Лев Николаевич, — сам себе делает тюрьму. Так и вы вот. К чему надели корсеты и шляпки, мало разве вас душат фабриканты и полицейские...

С замиранием сердца слушали мы слова. Мы сами знали, как нас душат, а тут — «не в бровь, а в глаз».

— Как вам живется? Ну, вот, вот, не смущайтесь. Как ваше имя? — обратился он к товарищу, кажется Дежиной, работнице с пивоваренного завода.

— Расскажите о себе, — ласково уже говорил Толстой.

С трудом, поборов в себе страх и покраснев, что называется, до ушей, товарищ, смущаясь, рассказала, кто она и как живет.

— Так, так, — говорил Лев Николаевич, — а как же вы после этого себя-то не жалеете. Вот вы ведь все так, сами себя не жалеете. А кто себя не пожалеет, тот и другого не будет жалеть...

Эти слова ярко запали в память.

Нам что-то в них польшалось от религии. Только многие товарищи никак не могли понять, почему это он так говорит и с этого начал с нами разговор.

После этих слов Толстой встал и предложил нам пройти с ним в парк. Там по очереди он спрашивал нас: Чем кто занимается? Как живут рабочие? Что в Москве делают извозчики? Он особенно был любезен с пожилым экскурсантом, который служил в Бабы-Городском районе Москвы извозчиком.

Мы недоумевали, почему Лев Николаевич так расспрашивал о жизни извозчиков, сколько у хозяина лошадей, как их кормят, много ли извозчики пьют.

— У меня был приятель, извозчик, — пояснил сам писатель, — хороший был человек, любил животных, нужно их любить, стоит любить! Лошадь близкий друг человека.

Часа два гулял с нами Толстой. После этого нас пригласили обедать. С нами обедал и писатель.

Мы встретились с ним на второй день в десять утра. Солнце слепило глаза. На этот раз мы шли полем.

Лев Николаевич до подробностей расспрашивал каждого из нас — о том, как он живет, кто его родители.

Хмуро, напустив брови, как-то отрывисто говорил он, когда кто-либо из экскурсантов рассказывал, как он вырос в деревенской нищете и как попал в город.

— Так, так, ну, а потом что? — переспрашивал он.

Остановившись у изгороди, мы следили, как крестьяне поднимали поле. Шел сев. Несмотря на праздничный день мужики работали с утра.

Разговор как-то перешел на то, кто кем хочет быть в жизни.

— Ну, а вы? — обратился Лев Николаевич к одному из рабочих. Агапову.

Тот смело ответил: — Народным учителем.

Лев Николаевич как-то вздрогнул и, подняв брови, взглянул своим проницательным взглядом на него и переспросил:

— Народным учителем?

И потом, как бы подумав, продолжал:

— Нам ли быть народными учителями? Не нам быть его учителем, а нам нужно у трудового народа учиться. Взгляните, — и он, вынув свою руку из-за пояса, показал нам на работавших крестьян, — как они трудятся, а живут в темноте и изнывают от голода. Нет, нет, не нам народ учить, а нам нужно у него много и долго учиться... — закончил он.

Беседа после этого приняла оборот иной.

Много говорилось о том, как нужно строить школы. Что может сделать просвещение.

Время шагнуло далеко за полдень. Нас снова пригласили на обед.

Мы распрощались с великим писателем. Он как-то трогательно прощался с каждым из нас.

Мы уехали из Ясной Поляны, захваченные ласковым приемом и необычной простотой писателя. Не верилось, что мы его видели.

Только в поезде мы пришли в себя от этого очарования и начали шутить над своими товарищами.

Больше всего досталось девушкам и «народному учителю».

В 1910 г. мы ездили хоронить его, как делегаты всех Пречистенских рабочих курсов. Многие из нас сдали экзамены на звание учителей при Московском учебном округе.

Не верилось, что он умер.

Не были мы с ним согласны во многом. Но все же, то, что он говорил, было нам ново.

Деев-Хомяковский Григорий Дмитриевич (1888-1946) — рабочий, учащийся московских Пречистенских курсов. Окончив их в 1909 г., остался преподавать. Участник революционного движения. В 1912 г. исключен из Московского университета как «опасный элемент». Печатался в газетах и журналах. Переписывался с М. Горьким. Автор книг стихов и рассказов.

Поездка в Ясную Поляну относится не к 1909, а к 1910 г.: отмечена в дневнике Толстого 6 июня: «...Пришли рабочие Пречистенских курсов. Очень хорошо с ними говорил» (ПСС, Т. 58, С. 62). В тот же день Д. П. Маковицкий записал слова Толстого: «Очень милые ребята, все рабочие; приехали нарочно. Вопрос за вопросом — кто о Дарвине, кто о Геккеле. Мне приятно было с ними». По свидетельству Маковицкого, им Толстой сказал: «Блаженны не читающие газет, безграмотные, непричастные, ибо у них есть здравый смысл. Для того, чтобы испытать полное благополучие, надо жить попроще. Чтение газет прибавило глупых людей. Надо читать литературу шестидесятых годов. Теперешние писатели сравнительно с теми — мальчишки. Вам я то же советую читать, оно и просеяно» («Литературное наследство», Т. 90, Ки. 4, С. 270). В газете «Русское слово» 10 июня появилась анонимная корреспонденция «Рабочие у Л. Н. Толстого» — их было 26 человек (см.: «Интервью и беседы с Львом Толстым», Москва, 1985, С. 436-37).

46. Ф. МИЛОВИДОВ

Л. Н. Толстой в Московской губ.

Фактически Л. Н. Толстой бывал у В. Черткова на даче, в имении «Отрадное» (тогда) Мальвинского, при дер. Дубинино, Молодинской волости, Подольского уезда, Московской губернии, а «Мещерское», как помечал свои три произведения Л. Н. (он написал там «Нечаянно» — маленький рассказ, исполненный в форме лучших чеховских вещей, «Благодарная почва» (из дневника) и там же дописал, работая над ее вариантами, — пьесу «От ней все качества»), — Мещерское — скорее также относится к д. Дубинино, как если бы я пометил «Москва», а фактически это было написано на «Лосиной». Так и Л. Н. помечал свои произведения: «Мещерское», а на самом деле жил в полутора верстах от него на соседней даче-усадьбе, расположенной на красивой горе, над речкой «Рожай», заросшей старыми липами, березой и окаймленной искусственно посаженными молодыми сосенками — в виде ограды вокруг поместья. Здесь отдыхал в белой даче от административной ссылки и преследований царского режима В. Чертков, и здесь по неделям у него гостил Л. Н. Толстой. Л. Н. бродил далеко по окрестности пешком и ездил верхом на лошади. Здесь помнят его крестьяне, когда он 18 лет тому назад заходил к ним в сарай, в соседней дер. Томарово, укрыться от дождя, а затем просил перевести его по «лаве» (так называлось дерево, положенное через речку в виде моста для перехода на другую сторону) в Дубинино, т. к. он признался, что у него кружится голова на таком «мосту». И вот крестьяне, взяв его за руки, один за левую — пошел вперед, другой за правую — поддерживал позади, а двое зашли в речку по бокам «лавы», чтобы Л. Н. все-таки не свалился в воду. Так мне рассказывал крестьянин Бурмистров, когда мы с ним ехали на телеге в г. Подольск.

— Плохо бы нам жилось, совсем не знали бы, как жить, и как люди на свете живут, когда бы не было таких, как Л. Н. и М. Горький, — так закончил со мной беседу Бурмистров...

Другой крестьянин, С. Т. Кузин, фигурирует в рассказе «Благодарная почва» в качестве примерного крестьянина, бросившего пить водку¹. Этот С. Т. жив и теперь. Ему 65 лет. Он председатель Молочного Кооператива, до сих пор трезвенник; в течение 30 лет — как он вместе со Л. Н. составил устав «Об-ва трезвости», — он не пьет и имеет достаточное хозяйство, пчельник в 12 ульев и библиотечку в 1 500 томов, чем он несказанно порадовал и вместе с тем удивил меня: к нему я нередко обращаюсь за справочниками и всегда получаю что мне нужно: напр. Реклю — «Земля и человек», «Художественная Россия», в альбомном издании и почти все биографические данные о Л. Н. Толстом. Но не я один: крестьянские дети, все — без отказа — получают у крестьянина Кузина классику при прохождении в школе и для чтения — дома.

У тов. Кузина я и узнал все о пребывании Л. Н. Толстого в Мещерском — это большой благоустроенный, электрофицированный больничный городок с населением до 3-х тысяч не считая дер. Мещерское в 30 дворов.

Л. Н. Толстой как-то в 1909 году заехал в дер. Ивино (в двух верстах от Дубинино) верхом, где живет С. Т. Кузин.

— Здравствуй, Лев Николаевич, — приветствует Кузин. Л. Н. Толстой очень удивляется, откуда он его знает, а тов. Кузин напоминает, как он к нему в Москву, в Хамовники, приходил в 1898 году, с тетрадкой своих стихов. А Л. Н. Толстой стихи забраковал, говорит — я сам не пишу стихов и Вам не советую.

— Давайте лучше напишем устав «Об-ва трезвости»...

В это время подоспел В. Чертков с одним врачом из Мещерского. Тут же В. Чертков усадил Л. Н. на бревнышке и давай «стрелять» из фотоаппарата. Так шутливо называл Л. Н. слабость Черткова — всюду и везде снимать его.

Этот портрет, где заснят т. Кузин, на почетном месте красуется в избе С. Т. Тов. Кузин и оказался той «благодарной почвой», порадовавшей Л. Н. Примером Кузина, трезвенника, хотел увлечь Л. Н. другого молодого крестьянина, Александра С.², чтобы и он не пил. И этот крестьянин жив, ему сейчас 38 лет. Но, говорят, он плохо слово держит, данное Л. Н.: нет-нет да и зашибает... «русской горькой»...

2 Августа 1928 г.

Из нескольких писем, написанных Софье Андреевне из Отрадного, видно, что, за полгода до смерти, Лев Николаевич был по-прежнему бодр, несмотря на свои 82 года. Прямо поражаешься его неутомимостью.

Миловидов Ф. — крестьянин Московской губернии.

¹21 июня 1910 г. Толстой писал жене из Отрадного: «Все, какие были у меня здесь сношения с народом, очень приятные. Они ласковее наших и более воспитаны. Дни два назад поехал в деревню, где выздоравливающие больные помешаются у крестьян. И первое лицо — крестьянин, встречает меня словами: Здравствуйте, Лев Николаевич. Оказывается, он 12 лет [на самом деле: 22 года] тому назад был у меня в Москве, поступил в наше общество трезвости и с тех пор не пил. Живет богато. Повел меня смотреть свою библиотеку — сотни книг, которой гордится и радуется» (ПСС, Т. 84, С. 397). См. выше воспоминания Кузина (№18).

²А. П. Сурин. Ему было в 1910 г. 17 лет. 22 июня Толстой пометил в дневнике, что за книжками приходил «милый Александр». В 1931 г. Сурин писал одному из редакторов Юбилейного издания, Н. С. Родионову: «Несмотря на мою молодость, темноту и бедность, в которой я жил, встреча 1910 года 21 июня и разговор Л. Н. Толстого дали мне много ценного и справедливо-поучительного, а именно: я понял, что кругом царит ложь и обман; я понял, что никакой войны рабочим и крестьянам не нужно и что врагами рабочих и крестьян всех наций являются правители, богачи и лгуны попы. Я узнал от Л. Н. Толстого, что нет никакого божества, которому мы в то время молились; из слов Л. Н. Толстого я узнал, что в случае войны не нужно убивать тех, на кого будут указывать и называть врагами — таких же рабочих и крестьян какой бы ни было страны, а лучше сделать какое-нибудь государственное преступление и сесть в тюрьму, дабы не пить кровь своего брата. Со дня встречи у меня зародилась ненависть ко всем, кто нас обманывал» (ПСС, Т. 58, С. 425).

47. А. МАЧИКИН

Воспоминания о посещении Ясной Поляны летом 1910 г. и встрече с Л. Н. Толстым в поезде

Товарищи, 10 лет тому назад, в 1910 году летом едучи с юга в Москву, я решил побывать в Ясной Поляне. Чем ближе подходила наша компания к Ясной Поляне, тем все становились беспокойнее. Было много разговоров, споров, но в душе все готовились к чему-то особенному. Какое же было наше горе, когда недалеко от Ясной Поляны догнавшая нас яснополянская крестьянка сообщила нам о выезде Льва Николаевича из Ясной Поляны. Мы решили хоть взглянуть на те места, где обитал Лев Николаевич, но эта же крестьянка совсем некстати запугала нас встречей с Софьей Андреевной: она де, если увидит вас, то удалит из своих владений со всякого рода оскорблениями. Хотя большинство из нас не доверяло рассказам этой женщины, однако настроение у нас все же понизилось, и мы пошли в усадьбу Льва Николаевича с некоторой опаской, т. к. кое-что все же слышали о крутом характере Софьи Андреевны.

Пробрались мы окольными путями в парк, в столетнюю липовую аллею, сели там в противоположном углу от дома и отдались думам о Льве Николаевиче. Каждый из нас благоговейно впитывал, если можно так выразиться, в окружающую нас природу, представляя себе, что здесь каждая точка особенная, ибо здесь великий человек, вероятно, не одно свое творение обдумывал и вынашивал.

Наше чудное настроение было прервано: нас увидели собаки и бросились к нам с лаем. Откровенно признаться, все струсили, подумав, что вот кто-нибудь придет сюда и попросит уйти. Как ни странно, но собаки же и успокоили нас: они начали ласкаться к нам, и больше всех одна из них какой-то особой породы.

Нужно заметить, что все мы были психически как-то одинаковы и одинаково до смешного на все реагировали. Мы все по-детски решили: раз собаки здесь ласковы, то люди не должны быть менее добры. Собаки настроили нас на веселый лад, и мы рискнули пройти около дома Льва Николаевича. С замиранием сердца проходили около окон толстовского дома, который казался в тот момент чем-то особенным, а на самом-то деле он самый скромный будничнейший помещичий дом.

Итак, посещение Ясной Поляны было неудачно, и мы возвращались подавленные и разочарованные. Казалось, что-то стало на пути и не позволяет взглянуть на «всемирного старца». С таким чувством пришлось уехать в Москву. Но вышло как-то по-толстовски, т.е. независимо от человеческих построений и предположений...

На обратном пути — из Москвы — вдруг разносится слух: «Толстой едет с нами».

Теперь не помню того первого впечатления своего, но твердо помню первое, вырвавшееся слово: то был вопрос: «где, в каком вагоне?» И по-

бежал искать. Оказалось, Лев Николаевич ехал не в III-ем классе, а в вагоне II-го класса, что противоречит только что сообщенному нам Валентином Федоровичем обычаю Льва Николаевича — всегда ездить в вагоне III-его класса. Очевидно, так сделано было его близкими, сопровождавшими его, по весьма понятным причинам... Купе было закрыто. Вполне понимая поведение близких Льва Николаевича, все же на душе было скверно. Думалось: «вот он здесь, а что-то мешает взглянуть на него». Оставалась надежда на остановках увидеть Льва Николаевича. Надежда не обманула: на одной из остановок, к счастью окружавших вагон, наконец показалась его седая львиная голова. Душа замерла, и я увидел Льва Николаевича, давно знакомого по фотографиям. Он был в той же серой широкой блузе, борода немного на сторону. Тут же послышался его звонкий, немного резкий голос: «Кондуктор, сколько минут простоят?» — «Семь минут, Ваше Сиятельство!» Мягкость тона в ответе кондуктора и прибавление «Сиятельство», от которого Лев Николаевич давно отказался (о чем знал, конечно, и кондуктор), было чрезвычайно приятно слышать, т. к. во всем этом сказывалась должная любовь и уважение ко Льву Николаевичу. Хотелось как-нибудь отблагодарить кондуктора за то, что он своим ответом выразил общее настроение находившихся здесь.

Душа была полна чувств, а каких, я теперь не сумею рассказать о них: не только теперь, но пожалуй, даже и тогда не сумел бы определить их. Одно только могу сказать, товарищи, было очень, очень отраднo и как-то тепло на душе... Хотелось еще хоть разок взглянуть на Льва Николаевича, т. к. уж слишком все это мгновенно произошло.

Начинало темнеть, следовательно, не оставалось никаких шансов на выход из вагона Льва Николаевича. Пришлось успокаиваться...

В Туле мне нужно было сделать остановку, которая мне приготовила такой сюрприз, о котором я и не мог мечтать.

При выходе из вагона я увидел волнующуюся и стремящуюся в вокзал толпу. Отовсюду слышалось: «Толстой на вокзале». Действительно Лев Николаевич сидел за столом в буфете вокзала. Толпа тут же. Кто-то попросил Льва Николаевича написать что-нибудь на открытке. Толпа бросилась подражать. Громадное большинство, не имея открыток, бросилось к книжному киоску приобрести их, чтобы потом просить Льва Николаевича писать на них. Это мне дало возможность занять место против Льва Николаевича по другую сторону буфетного стола. Началась осада: каждый хочет иметь автограф Льва Николаевича; хотелось и мне того же, но у меня ничего не было под рукой; пойти же купить открытку я почему-то не мог: вероятно, боялся утратить самое удобное место.

Вот тут-то я многое увидел и переживал. Отсюда я вплотную увидел со всеми мельчайшими подробностями лицо и голову Толстого. (Лев Николаевич в первый момент на меня произвел тяжелое впечатление). Во время писания на бесконечном потоке открыток он, сморщив лоб, иногда на мгновение поднимал глаза вверх, которые мне показались выцветшими: такими, как у обыкновенного старика. Кроме того, мне показалось, что и мысли-то его стали мало послушны ему. Было до жуткости тяжело смотреть на «уходящего великого старика», и невольно возникали воп-

росы, упреки Провидению: «Зачем все это, какой смысл в этом разрушении?»...

Но вот Лев Николаевич еще раз поднял глаза и задержался в такой позе сравнительно долго. Сотни глаз впились в него, но он никого не замечал: он что-то думал и смотрел куда-то в пространство. Теперь я увидел его настоящие глаза: они, без сомнения, выцвели и потеряли обычный блеск, но в то же время они светили каким-то особенным светом. В них светилось такое спокойствие и радость, такое настроение, о которых рассказать не сумею: у меня нет таких слов, чтобы охарактеризовать, определить это *что-то*, светившееся в глазах Льва Николаевича. Может быть, это была его душа, но душу Толстого кто расскажет?..

Одно скажу, товарищи, что это было нечто неземное: он, видимо, был в данную минуту где-то далеко, далеко от наших будничных интересов и так спокоен и доволен, как только могут быть спокойны и довольны люди, познавшие счастье духовной любви... Одним словом, товарищи, его глаза выражали какую-то тихую, спокойную и торжественную радость и неземную любовь. В противоположность Толстому, мы, когда бываем очень довольны и счастливы, мы это проявляем бурно: готовы прыгать, как дети, и весь мир расцеловать. Лев же Николаевич торжественно спокоен.

Это я вам, товарищи, говорю не потому, что о покойниках на поминках принято говорить только хорошее, а о Льве Николаевиче — великом покойнике — тем более нужно говорить особенное; нет, это мои настоящие впечатления, которые я, к сожалению, не могу ярче выразить, но которые так же, как и 10 лет тому назад, сейчас переживаю. Глаза Льва Николаевича я сейчас ясно вижу и, вероятно, буду их видеть в любой момент, как только вспомню о нем.

Такие глаза не забываются!

Встреча в Туле произошла 23 июня 1910 г., когда Толстой возвращался от Чертковых. 12 июня Маковицкий записал: «В 11.30... Л. Н., Александра Львовна, Илья Васильевич (Сидорков — см. №37), Булгаков и я уехали на лошадях в Тулу, оттуда в 2 часа — поездом в Столбовую, где поджидали Черткова с сыном, и с ними в Отрадное (в Подольском уезде Московской губ. — см. №46)... Л. Н. ехал в вагоне второго класса с Александрой Львовной. Желал третьим классом, но по моим настояниям согласился ехать вторым» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 4. С. 272). И 23 июня: «В вагоне его не беспокоили. Только в Туле приставали с автографами. Л. Н. подписал десятки. Наконец, отказал. И один, написавший книгу с научными доказательствами существования Бога, просил разрешить послать ее для отзыва. Л. Н. отказался: «Некогда» — и прибавил, что если бы он все читал, что ему присылают, то весь день уходил бы на это» (Там же. С. 286).

18. М. БОГДАНОВИЧ

У Льва Толстого

(14/27 июля 1910 — посещение Толстого сербами)

Дорогою, в Будапеште, мы читали в газетах, будто бы Л. Н. опасно болен, но в Москве, в редакции «Русского слова», узнали, что и эта вест, ровно как и бесчисленные другие вест и о Л. Н., — пустой вымысел.

Мы очень желали видеть его и вместе с тем немного стыдно было этого желания, стыдно и малейшей внешней сходности с неделикатным любопытством. И как осуществить это желание? Мы спросили одного из редакторов, М. М. Боловича о здоровье и местопребывании Л. Н. и к кому обратиться, чтоб повел нас к нему. Любезный же М. М. сделал, что нам и в голову не приходило: написал письмецо для передачи тульскому корреспонденту «Русского Слова» Виктору Герасимовичу Куприянову, прося его о свидании для нас с Л. Н.

Итак, мы во вторник 13/26 июля к трем часам пополудни поехали в Тулу. Какие разнообразные настроения царили среди путешественников нашего купе третьего класса! Какая-то женщина с молоденькою дочерью плакала так горько, что я не удержалась и спросила ее о поводе. А так: должна ехать в Ростов-на-Дону, другую же дочь должна была оставить в Москве. И только что я успела успокоиться на этот счет, как она уже познакомилась и порядочно разболталась с другою женщиной и, конечно, с первой же остановки поезда началось бесконечное питье чая, как будто на дворе зимний вечер, а не жаркий летний день.

К девяти часам приехали в Тулу. Чем ближе к цели, тем страшнее становилось на душе. На вокзале за ужином невольно рассматривали, не напоминает ли хоть что-нибудь о близости великого человека. Открыточка с его портретом да и только; для этого, конечно, вовсе не нужно поехать в Тулу. Потом сажались на извозчика, назвав ему какую-то гостиницу, отрекомендованную Бедкером. Но оказалось, что ее уже нет. Пережив маленькую одиссею, причем успели разглядеть скромно освещенные широкие прямые однообразные улицы с домиками большею частью одноэтажными и часто деревянными, мы, наконец, нашли тихую пристань. То есть, тишина-то и не особенная: попали мы в задние комнаты, температурой напоминающие венецианские пиомби и выходящие на двор, полный разных домашне-животных звуков и запахов.

В следующее утро мы отправились искать Куприянова. Тула производит впечатление огромнейшей деревни; попали мы сюда не зная куда, никогда б не подумали бы, что это своего рода знаменитый центр индустрии с 110 000 жителями. Рассматривать достопримечательности изнутри — их очень немного — не было охоты.

Увы, оказалось, что Виктор Герасимович выехал из назначенной квартиры. Поблуждав немного, мы направились к адресному столу. Там его тоже долго не нашли. Наконец, барышня прочла как будто удивленно:

«Куприянов В. Г. крестьянин? — Ну, так крестьянин. — Да ведь он переехал в Ясную Поляну, надо справиться у Толстых. Пожалуйста к телефону». Ей богу, я испугалась. Машинально пошла за услужливой барышней и очень обрадовалась, узнав, что телефонная связь прервана. Ну так нечего делать, поедимте после обеда в Ясную Поляну, на авось! Утомившись исканием подходящего ресторана, мы попали в самый дорогой. Потом уложили вещи, расплатились и поехали. Никто из нас обоих не помнит ни одного из сопутных лиц и разговоров. Я стояла у окна и смотрела на леса и дуга под темно-серым небом. Мне было очень странно: через 20 минут Засека. Мы вышли из маленькой станции. Я посоветовала моему товарищу оставить чемодан на вокзале, но он и не слышал и почти не замечал, что тащит его с собою. Не знали мы, идти ли нам направо или налево. Заметив что-то вроде трактира, решили спросить, на всякий случай, можно ли переночевать здесь. Милован Данилович остался у дороги, я же, вследствие большего владения русским языком, пошла к домику и спросила хозяина, есть ли у него комнаты. «Какие это комнаты?» Он очень плохо понимал, что комнаты могут быть нужны не только чтобы выпить чаю. Пока я толковала, мой товарищ вдруг кликнул меня не громко. «Подожди, я сейчас», — сказала я. Но только я узнала, наконец, что ночевать здесь нельзя, как Милован Данилович опять кликнул меня, может быть еще менее громко, но гораздо настоятельнее. Я обернулась. «Вот он!» Он медленно ездил на гнедой лошади: позади его, в расстоянии шагов с двадцать, молодой человек, наверно секретарь. Мы воспринимали молча каждую черточку нечаянного «видения». На голове у него была обыкновенная белая шапка, обыкновенный темный плащ был накинут на плечи его. Но от этого задумчивого профиля с седой русской бородой, от целой крепко-старческой фигуры веяло чем-то, так сказать, не то сказочным, не то легендарным, как будто ожила какая-то былина о древнем серебристом князе Льве Николаевиче... Кто-то прошел и молча снял шапку. Тише, его величество едет... И как когда-то, в ранней юности нашей, он опять, не зная нас, указал нам дорогу. Теперь мы знали, где Ясная Поляна. По всей Руси, казалось, тучи темные, только там, куда ездил он, небо просияло милою улыбкою. Он быстро погнал лошадь вниз по небольшому спуску и исчез среди берез.

Мы же бросились вслед за ним. Милован Данилович летел, как будто на плечах его не чемодан, а крылья. Румяные и радостные мы бежали через душистый лес, только что освеженный, кажется, дождем. Вышедши, встретили какого-то господина и спросили его про В. Г. Куприянова. «Третий дом от Толстых», — ответил он.

Ясная Поляна три с половиной версты на юго-запад от Засеки, в приятной волнистой местности. Войдя в деревню, мы тотчас по правую сторону дороги увидели ворота толстовского парка, с дощечкой, на которой написана просьба без нужды около усадьбы не ходить. Я немного оробела от этого, впрочем вполне понятного и основательного обращения. Ну, а коли спросят, что нам надо и не признают наше душевное желание удовлетворительным документом? Дальше одноэтажный деревянный домик с надписью «Библиотека». Потом мы узнали, что предположили открыть

ее к восьмидесятилетию Льва Николаевича в 1908 году и назвать ее его именем. Но по независящим обстоятельствам открытие состоялось лишь зимой с 1909 на 1910 год, и, конечно, без имени Льва Николаевича. Рядом с безымянной библиотекой опять такой же домик. Мы спросили про Куприянова. «Это я», — сказал невысокий молодой человек в рубашке с симпатичным русским лицом горьковского гина. Мы передали ему письмо Боловича. Прочел его, сказал преспокойно: «Ну что ж, это можно», — а у меня вдруг заболела голова. «У них обед в пять часов, подождем». Уселись мы тут же под навесом около стола. То и дело куры забегали к нам и выбегали опять. Через открытую узкую дверь видна была и еще более чувствовалась теснота, к которой для многих желающих опростеть гораздо труднее привыкнуть, чем к самому тяжелому труду и к всевозможным лишениям, требуемым принципом. Появился, конечно, самовар. Госпожа же Куприянова, молоденькая, с темнорусыми коротенькими волосами, которые придавали ее хорошенькому честному серьезному лицу с серыми глазами характер мальчика, — в капоте, босиком и с ребенком на руках, выбежала куда-то в деревню и скоро вернулась с какой-то колбасой, которую так и сунула без обертки и без тарелки на стол. Узнав, что я питаюсь «по-толстовски», как говорят в России, В. Г. приготовил мне чашку какао. Но увы, какие грязные следы оставил нам поэтический бег по лесу на наших платьях и сапогах! Виктор Герасимович дал нам щетку и тряпку, посредством которых мы с грехом пополам привели себя в порядок. Потом пошли в парк. Посидели в маленькой деревянной беседке, исписанной именами и афоризмами посетителей Ясной Поляны, и пр. «Никто не знает правды, не исключая и Льва Николаевича». Пошли к дому, встретили человека, которого В. Г. спросил, кончили обед. «Это повар», — пояснил он. Помню, слово «повар» мелькнуло как-то смешно-неприятно в моей голове.

Дом двухэтажный, вовсе не роскошной внешности. В. Г. вошел первый, чтобы доложить о нас, а потом куда-то исчез, нас же ввели внизу в комнату вполне толстовскую Д-ра Маковицкого. Пока мы разговаривали, несколько раз слышны были шаги. И каждый раз мы, бедные наломники, вздрагивали невольно. Проходили направо от нас в другую комнату один за другим Софья Андреевна, Татьяна Львовна, Александра Львовна, Лев Львович и зять Сухотин. Почти все крепко сложенные люди, по-видимому вполне от мира сего; у женщины необыкновенно твердая походка, вид решительный и без внешней ласковости и потому-то, может быть, и казались мать моложе, дочери же старше своих лет, так что даже можно было бы принять их всех за сестер. Все мимоходом сказали «Здравствуйте». Софья Андреевна бессознательно строго посмотрела на нас. Я помню, как мне рассказывала одна бывшая гувернантка Александры Львовны, с которой случайно познакомилась года три тому назад, будто С. А. жаловалась на людей, приходящих мешать, когда им есть нечего. Я спросила наивно: «Разве нет трактира?» Она же рассмеялась и растолковала, что тут дело не об угощении, а о литературно-денежной эксплуатации посещений великого писателя земли русской. Этот взгляд не только по-

нятен, но даже отчасти справедлив. И мне до сих пор, как ни дорого это воспоминание, немного стыдно.

Душан Петрович ушел, чтобы доложить о нас. Мы же продолжали вздрагивать при каждом звуке и разговаривали только шепотом, переживая вновь давние, бессмертные впечатления, связанные с «его» благословенным именем. И вот-вот увидим ту голову, те глаза, те руки! Мой друг, удивительно независимый и свободный от того гипноза, который заставляет людей терять разум перед «Наполеонами», вдруг оробел так, как будто ему десять лет. Ему было страшно.

Вошла Александра Львовна и позвала нас к отцу, а мы даже и не вздрогнули на этот раз. Повела нас вверх и оставила нас у порога комнаты Льва Николаевича.

Перед нами стоял старый, невысокий, сухой мужик, немного сутуловатый, в светлой рубаше, с ясноголубыми глазами среди глубоких морщин. Раньше мы называли его «князем»; это вовсе не противоречие: и то и другое вполне совмещалось в этом человеке. Великой тишиной веяло от него. Подал нам руку, очерствелую от старости и работы, и спросил тихим милым старческим голосом, что может сказать нам. «Вы во многом были нашим учителем», — сказала я. Мы сели на диван. Л. Н. против нас в кресло, слегка отвернувшись от окна, и сложил руки на коленях. «Вы родные?» — «Нет, друзья». Спросил, откуда мы и куда едем. План путешествия — вниз по Волге и по Каспийскому морю на Кавказ, далее через Черное море на Крым и потом по Дунаю домой — ему понравился. Спросил, чем занимаемся. Услышав, что преподаем историю и географию, сказал с легкой улыбкой: «Не скучные ли предметы?» Я уже знала про этот его взгляд и только удивлялась, как это для него, с его чудной способностью не только проникания в характер прошлых эпох, но и углубление и исправление своих понятий, история все еще значит одно только бесполезное и прескучное исчисление и внешнее описание трескучих событий политической и военной жизни и всевозможных дипломатических сплетен. Стало быть, даже гению трудно преодолеть, хотя бы и поздно, вред, нанесенный этим, скверными учебниками и ограниченными учителями! Мы постарались выяснить, что понимаем историю как психологически углубленную «биографию» человечества. Какими словами это сказано было тогда, не помню, а передаю только смысл, с которым Л. Н. согласился. Биографии совершенной ни по качеству, ни по количеству быть не может, потому что нет всезнающего человека, который мог бы написать ее, но стремление к ней существует, и чем выше стоит человек, тем глубже он помнит свое прошлое и тем больше чувствует потребность понять прошлое других людей и человечества вообще.

В географии указал в особенности на важность этнографии, как средства для ознакомления учеников с народами и племенами, ознакомление же необходимо для понимания братского единения.

В разговоре видно было, как сильно и свежо живет в нем все, что касается его главных идей, все, что, так сказать, находится по его прямой дороге в вечность, в остальном же иногда заметно было некоторое ослабление памяти и быстроты ассимилирования фактов. Так, к примеру,

услышав, что мы сербы, спросил, говорят ли они славянским языком, близким болгарскому; пресловутое же дело о 53-х государственных изменниках-сербах, на шумевшее на всю Европу, о котором было упомянуто вскользь, казалось новостью для него.

Узнав, что мой товарищ еще не совсем понимает по-русски, Л. Н. сказал по-немецки: «Wenn Sie etwas nicht verstehen, werde ich es [auf] deutsch sagen». По акценту видно было, что не очень много говорил по-немецки. Дальше даже сделал какую-то маленькую ошибку в каком-то немецком слове, не помню в котором, может быть, случайно. Спросил нас, как преподается у нас закон Божий. Ответили, что православные, конечно, тоже должны переносить догматику и т. п., но что у католиков духовный гнет куда хуже. Вообще же молодежь поставляется перед ужасными противоречиями, которые у большинства губят чуткость совести и способствуют плоскому материализму. У самых же лучших возбуждают гневное презрение или глубокую, иногда отчаянную тоску. Он рассказал нам, как где-то на экзамене в присутствии архиерея задан был вопрос о шестой заповеди и о том, можно ли все-таки убивать людей в некоторых случаях. Конечно, ожидали положительного ответа с указанием на «законные» казни и войны, но одна девочка встала и, покрасневши, ответила: «Нет, никогда нельзя». При этих словах Л. Н. улыбнулся и даже сам немножко покраснел. Как мило сказала в этой улыбке вечная молодость этой души! «Верьте себе!»¹

Речь перешла на недоразумение, владеющее в теперешних ходячих понятиях о науке, философии и религии. Л. Н. упомянул о своей давней мысли о том, что суеверие церковное сменилось в наше время суеверием научным точно так, как раньше оно сменило суеверие государственное. «Но вы, может быть, в этом не согласны со мной», спросил он, улыбаясь, вспомнив о нашей «академической образованности». Вовсе нет, мы уже успели убедиться, что настоящая философия не постигается «ученостью».

В разговоре о том, насколько человек в отношении к вечным вопросам независим от современного положения специальных наук и что продолжительно исключительное занятие какой-либо специальностью непременно должно мешать в истинно философическом жизнепонимании, Л. Н. упомянул о Канте, и видно было, что глубоко чтит его. Я спросила его, знает ли он Вейнингера, который, ознакомившись необыкновенно рано со всеми течениями современной науки и философии от Авенариуса и пр., вдруг резко повернулся к идеалистическому мировоззрению, взявшись к примеру за проблему единства логики и этики с чрезвычайной глубиной и силой; но хотел сразу стать совершенным, не успел и покончил самоубийством на 24 году жизни. Л. Н. сказал, что читал о нем, но немного². Очень заинтересовался, так что даже при прощании еще раз обещал прочесть его и даже поблагодарил за указание. Потом я узнала от Душана Петровича, что Л. Н. уже несколько лет тому назад читал Вейнингера, но что тот ему не понравился. Так забыл ли или же, кажется, вероятнее, тогда не углубился в книгу, очень может быть потому, что оттолкнуло его от молодого революционера мысли его прямо жестокое категорическое отрицание всего человеческого в женщине, хотя Л. Н. сам очень хорошо

знал типичные недостатки женщин. Что касается сексуального вопроса, Вейнинггер говорил то же самое, что давно уже сказал в послесловии к «Крейцеровой сонате», что полное целомудрие есть идеал, к которому надо стремиться неустанно, а не одно внешнее, физическое состояние. Помню еще, что Л. Н., говоря о праздноверии научном, привел пример из нового Брокгауза, где утверждается, что вариететов мышей известно около 9000. (Точно ли это число, не знаю, так как Брокгауза у меня нет). Вот на что не только тратят много труда, но даже часто весь труд и гордятся этим, самые же важные вопросы считают ненаучными пустяками.

Начинались сумерки, мы были у него более получаса и, конечно, не хотели дожидаться выражения усталости на дорогом лице. Вставая, попросили его подписаться нам на photographиях. «С удовольствием». Не могу не улыбаться при воспоминании о том, как мне приходилось когда-то «защищать» его от упреков, будто снятие и подписывание для него удовлетворение тщеславия! Я убеждена, что те, кто так говорили, если бы видели его, как он взял photographии, пришел к окну, вынул перо из маленького кармана на груди, попробовал его сначала на конверте и потом ставил подпись и число простым и твердым почерком, вполне соответствующим ему, — должны были бы сознаться, что он делает это единственно для того, чтобы исполнить чью-то невинную просьбу. Над иным предположением только расхохотаться можно.

Стоя у него и зная, что видим его в первый и последний раз, мы с глубокой внимательностью, с какой-то радостной тоской воспринимали его лик. Хотелось удержать сумерки, чтобы еще раз взглядеться в светлые глаза.

Он протянул нам руку. «До свидания!» И внизу, окружен другими, опять пожал нам руки. «До свидания, милые люди!» Душан Петрович и Виктор Герасимович сопровождали нас. Первый скоро вернулся, второй же шел с нами до Засеки, чтобы отослать телеграмму в «Русское слово» о нашем-то посещении! Разве это не точность немецкого «Goetheforscher»? Мы даже помогли редактировать ее. Потом сидели вдвоем в темноте, на платформе и смотрели в фонарь, где-то в направлении к Ясной Поляне. И чуть чуть осмеливались поделиться впечатлениями. Только через несколько недель на дунайском пароходе, опять одни, хотя и среди шумной толпы, мы вдруг тихонько заговорили о самых задушевных помышлениях того вечера. И оказалось, что думали почти одно и то же, что очень трудно выразить письмом.

Сколько смертного в человеке! Мы молодые еще, сколько ни желали вечности, невольно содрогает, увидев в том, кто уже при конце дороги, как многому еще надо будет умереть в нас, что теперь составляет часть жизни, и как одинок человек на этой дороге.

И сейчас он стоит передо мной, старый мужик-князь, морщинистый, сутуловатый, с тихим ясным взглядом не от мира сего. И хочется спросить его что-то, да нельзя. Надо вытерпеть до конца дороги.

Богданович Милица Семеновна — учительница гимназии в Загребе, д-р филологии, писательница. 14 июля 1910 г. Д. П. Маковицкий отметил: «Сегодня были в сопровож-

денни В. Г. Куприянова сербы — доктор философии Милица Богдановичева, учительница из Загреба, с ее другом Милованом Грбой, гимназическим учителем. Богдановичева очень интеллигентная, хорошо умеющая выражать свои мысли, приветливая девица, с глубоким почитанием и любовью, благодарностью к Л. Н., русскому народу. Хвалила Л. Н. книгу Вейнингера. Л. Н. говорил с ними внимательно и довольно долго» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 4. С. 300). В сентябре 1910 г. Богданович обращалась с письмом; по поручению Толстого ответил Маковицкий (ИСС, Т. 82. С. 263-64).

¹Так называлась обращенная к молодежи статья Толстого, опубликованная 28 декабря 1907 г. в газ. «Русское слово».

²Книга: O. Weininger. *Geschlecht und Charakter*. Wien-Leipzig, 1903. сохранилась в яснополянской библиотеке. Автор этой шумевшей в Европе книги («Пол и характер») упоминается в неоконченной статье Толстого 1910 г. «О безумии» (тема — самоубийство).

49. И. И. ПЕРЦЕР

Из воспоминаний о Льве Николаевиче
(отрывки из моего дневника 1910 г.)

Кажется, это было 4 или 5 августа 1910 г.¹ Я гостил тогда у Чертковых. Когда Дима узнал, что я собираюсь к Льву Николаевичу, он просил меня передать последнему письмо. В письме были два вопроса, один из них касался изречения в «Круге чтения» из Талмуда: «Надает камень на кувшин — горе кувшину, падает кувшин на камень — горе кувшину; так или иначе, всё горе кувшину». (Содержание второго вопроса забыл). Застал я Л. Н-ча в его кабинете, он выглядел очень бодрым. Он взял письмо Димы, прочел его, и тут же спросил меня: «Как вы понимаете это изречение?» Я сказал: «оно мне так же как и Диме непонятно». Л. Н. разъяснил мне вопросы Димы и при мне написал ответ, который ему передал.

Если память мне не изменяет, то смысл ответа Льва Ник-ча по поводу кувшина был таков: оба предмета твердые, жесткие, поэтому кувшин пострадал, будь один из них мягче (в людских отношениях — уступчивее), результат был бы иной.

Потом мы беседовали о «Вегетарианском Обществе», о том, как укрепить его материальное положение. Во время этой беседы пришел Павел Иванович Бирюков и Лев Ник-ч познакомил нас. Приняли телеграмму от Вла[димира] Галактионовича Короленко, что он желает приехать в Ясную Поляну. Л. Н. велел ответить, что с радостью ждет его.

Л. Н-чу нужно было уехать и он спешил. Мы вышли вместе. Впервые я видел Льва Н-ча едущего верхом. Радостно было смотреть на него.

7-го августа 1910 г. утром сидели мы (Сереза Булыгин, Миша, я и другие) на веранде яснополянского дома и пили чай. К нам пришел Сергей Дмитриевич Николаев², а вслед за ним Лев Н-ч и Короленко. Лев Н. познакомил всех с Короленко и попросил последнего рассказать «лучшему знатоку теории Генри Джорджа и переводчику его произведений», как он встретился с Генри Джорджем и что последний говорил.

Владимир Гал. подробно рассказал о выступлении Генри Джорджа на «Выставке в Чикаго». Говорил Генри Джордж тихо, роста был небольшого, когда после его речи один из публики спросил его, как поступать с китайцами, проникающими в Америку и сбивающими заработную плату. Генри Джордж ответил, что американские рабочие должны бороться с этим явлением и не допускать последних в свою страну. — «Вот вам ваш Генри Джордж!», сказал Лев Ник. Николаеву. Последний подтвердил, что такое решение этого вопроса было самой слабой стороной Генри Джорджа.

17/X 1910 г. Когда мы сидели у Льва Н-ча, Юрий Осипович Якубовский рассказал, как он побывал на беседе брата Иоанна в Петербурге. Лев Ник. много и долго расспрашивал Юр. Ос-ча о бр. Иоанне³, о его ма-

нере говорить, во что он был одет, как он выглядел, как его слушали и пр. и пр. Особенно поразил меня следующий вопрос Льва Н-ча: «Скажите, потели ли стены?»

Перлер Иосиф Иосифович (наст. фам. Осневич, 1886-1965) — литератор, редактор журнала «Вегетарианское обозрение». Приглашал Толстого к сотрудничеству. В письме 5 февраля 1909 г. Толстой посоветовал напечатать «превосходный рассказ» М. П. Арцыбашева «Кровь» (что и было сделано). Впервые посетил Ясную Поляну летом 1909 г. Д. П. Маковицкий записал тогда в дневнике: «Перлер из Кишинева, издатель «Вегетарианского обозрения», 24-летний симпатичный, серьезный молодой еврей. Говорил, что первое русское сочинение о вегетарианстве профессора Бекетова написано в 1879 г. Бекетов в преклонном возрасте убедился, что в будущем пища человечества — вегетарианская. А третье по времени — Л. Н-ча» («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 3. С. 426). Рассказ об этой встрече Перлер поместил в своем журнале, №№ 6 и 7 за 1909 год (см.: «Интервью и беседы с Львом Толстым». Москва, 1986. С. 363-69); о беседах 7 августа и 17 октября 1910 г. — в рижской газете «Советская молодежь» (1953. 11 сентября), но в ином изложении.

¹Верная дата: 4 авг. 1910 г. (отмечено в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого).

²С. Д. Николаев (1861-1920) — экономист, переводчик Генри Джорджа.

³Иоани Кроншгалтский (1829-1908).

50. Ф. И. НОВИКОВ

Рассказ о Л. Н. Толстом

Извозчик Федор Новиков, возивший Толстого из Козельска в монастырь, рассказывал: «В четверг подошли ко мне высокий барин и старичок в армяке, подпоясанный ремешком. Старичок предложил повезти их в Оптину пустынь. Думал, говорит Новиков, что это наш брат, мужик. Такой у него вид и говор. Подрядился дешево и взял старичка и барина, а на подводе багаж: корзина, чемодан и подушка. По дороге Л. Н. Толстой расспрашивал меня о семье и жизни, я отвечаю, а не догадываюсь, кто он. Узнал об этом после разговора с гостиником в Оптине. Когда старичок спросил — «пустите ли меня, я отверженный церковью — Толстой?», ему отвели первый номер. Толстой дал мне отправить письмо коротенькое и телеграмму. Сказал, чтоб я приехал отвезти его в Шамардино. Назавтра я повез.

Захотелось дорогой покурить, я и говорю: ваше сиятельство, разрешите?

А он отвечает: что ты, голубчик! разве я тебе запрещаю курить. А потом спрашивает: сколько у тебя в год на табак уходит, небось не меньше пяти рублей? Отвечаю ему, что больше.

— На эти деньги половину лошади твоей купить можно.

— Но что делать! Сам знаю, выходит, что это плохо, а отвыкнуть трудно.

— Я тоже курил, пил, а бросил.

Помолчали. Потом спрашивает: а водку пьешь?— Выпиваю, иной раз гривенник в день выходит.

— Значит, не половину лошади пропиваешь, а всю пару...

Засмеялся я тоже... Но вижу, что невесело он смеется... Проезжаем деревню, он говорит: почему бабы так разряжены?

Вчера первопрестольный в деревнях праздник был, вот и пьют... Вздохнул и говорит: как нехорошо!

Приехали в Шамардино... Ваше сиятельство, когда прикажете лошадей подать? — Душою думаю пробыть в монастыре долго. Подает руку... Вчера утром, подъезжая к вокзалу, Толстой узнал меня и протянул руку. Хотелось спросить его, почему в пятницу мне не сказал, чтобы приехал за ним, да удержался, а почему удержался, сам не знаю.

Новиков говорит о Толстом: явственных знаний у меня о нем нет, но чувствую, что сердце действует у него не как у всех. Хочу отстегнуть фартук экипажа, а он не дает, сам, говорит, Федор, сделаю, у меня руки есть. В церковь не ходит, а по монастырям ездит».

Новиков Федор Ильич — ящик. Упоминается в «Яснополянских записках» Д. П. Маковского 28 и 29 октября 1910 г.:

-В 4.50 доехали до Козельска. Л. Н. вышел первым. Когда я с носильщиком снес вещи в зал ожидания вокзала, Л. Н. пришел и сказал, что уже подрядил извозчиков в Оптину Пустынь, и повел нас: сам взяв одну корзинку, снес ее на бричку, нанятую под вещи.

Поехали с ямщиком Ф. П. Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямщик с вещами. Проехав город, они стали совещаться, ехать дорогой или лугами. Дорога была ужасная, грязная, неровная, и ямщики взяли с нее влево, через луга города Козельска: несколько раз приходилось проезжать канавы. Было не очень темно, месяц светил из-за облаков. Лошади шагали. На одном месте ямщик стегнул их, они рванули, и страшно трянуло, Л. Н. застонал. Это проехали через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на мост. Потом въехали в ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да еще все время приходилось нагибаться, сторониться от ветвей старых лоз, очень низких вследствие того, что выгонки обрубают.

Л. Н. спрашивал еще в вагоне и теперь ямщика, какие старцы есть, и сказал мне, что пойдет к ним. Л. Н. спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться; тот посоветовал остановиться у о. Михаила, говоря, что там чисто...

Л. Н. разговаривал с Федором, спрашивал его, чье это имение слева. Оказалось, Н. С. Кашкина, сверстника, старого друга Л. Н.: с ним он на *ты*. Кажется, единственный из живущих, с которым Л. Н. был на *ты*. Он живет в Калуге. Он был сослан по делу Петрашевича на Кавказ. Там подружился с Л. Н....

Л. Н. много разговаривал с Федором и уговаривал его не курить, не пить («Литературное наследство», Т. 90. Кн. 4. С. 403, 406).



Воспоминания
в письмах Н. Н. Гусеву

51. Е. Н. ЛЮБИЧ

Николаю Николаевичу Гусеву нужны были для комментария сведения об адресатах Толстого, и он посылает письма с вопросами. В фонде Николая Николаевича сохранилось ответное письмо ему Любича из Одессы от 27 февраля 1926 г.

Одесса, 27 февраля 1926 г.

Уважаемый Николай Николаевич,

Ваше письмо я, конечно, получил...

На пункты Вашего письма отвечаю вот что:

1) Единственное письмо Льва Николаевича я сфотографировал и снимок переслал Владимиру Григорьевичу. Касательно письма добавлю: письмо это я получил в Зайсене, Семипалат[инской] области, в 1890, кажется, году. При письме были приложены 3 рубля. На конверте адрес был написан не рукою Льва Николаевича. Отправителем значился, кажется, Денисов, из Тулы. Так как в Зайсене мое военное начальство вообще не доверяло мне, то письмо было вскрыто командиром той роты, куда я был приписан (я служил лазаретным служителем и жил не в казарме, а в лазарете), меня вызвали, командир громко прочел это письмо и был немножко удивлен: «тебя знает Толстой?»... Зайсен — небольшой городок-пост, слух о письме Льва Николаевича распространился среди военного начальства, и это обстоятельство намного облегчило мое положение, начальство (хотя забегу наперед: сибирское начальство вообще было гуманнее и человечнее российского) стало относиться ко мне очень хорошо...

Не ответил я Льву Николаевичу на это письмо по трусости — все думал: ну как это я буду писать Льву Николаевичу и что я ему буду писать? Но Хилкова я об этом письме уведомил. Лев же Николаевич выслал мне журнал «Русская мысль» и прислал некоторые свои рел.-фило-софские книги. Книги эти получались на имя одного офицера Михаила Васильевича Лурье, моего непосредственного начальника, человека золотой души.

Это о письме. Еще имею я портрет Льва Николаевича с его надписью «Е. Н. Любичу. Лев Толстой. 1908 г. 10 октября».

С искренним уваж[ением].

Ефим Любич

Я работаю, как и раньше, в газете, на ночной корректуре.

В отделе рукописей музея с 1949 года хранится и автограф письма Толстого и фотография с дарственной надписью. Письмо Толстого Е. Н. Любичу, относящееся к июню 1889 г., впервые опубликовано по фотокопии из архива В. Г. Черткова: *Летопись Гос. Литературного музея*, кн. 12, М., 1948, С. 18. Письмо Любича к Гусеву свидетельствует, что и в этой книге, и в т. 64, С. 276, неверно указана дата смерти адресата.

52. Б. О. ГОЛЬДЕНБЛАТ

Запрашивал о сведениях для комментария к дневникам 1904-1906 (Т. 55) Николай Николаевич Гольденבלата Бориса Осиповича, тульского адвоката, к которому Толстой неоднократно направлял лиц, нуждающихся в юридической помощи. В Юбилейном издании имеется 14 писем к нему Л. Н. Толстого за 1903-1910 годы. В дневнике Толстого первое упоминание Гольденבלата мы находим в записи 29 июля 1904 г. «Были: 1) От Гиля убившийся в шахте крестьянин. Я послал его к Гольденבלату» (Т. 55, С. 70). Ответное письмо Бориса Осиповича содержит гораздо больше сведений, чем вошло в примечания к этой записи дневника Толстого.

21 января 1929 г. Тула

Дорогой Николай Николаевич,

К моему глубокому сожалению, я не записывал того, что мне в течение нашего долгого знакомства говорил Лев Николаевич. Все в прошлом, я долго помнил почти все, что он мне говорил, но время, а в особенности мое здоровье, много затуманило.

.....

Впервые я видел Л. Н. на Киевском шоссе, куда я приехал на извозчике в гости. Когда я выходил из дачи и пошел к своей пролетке, я увидел толпу, окружавшую мою пролетку. Оказалось, что лошадь испугалась прошедшего поезда, запуталась в постромках и упала. Вот толпа ее распрягала, а в особенности возился с нею какой-то старик, усиленно подымавший лошадь. Когда все пришло в норму, старик ушел, и вот тут мне что-то вспомнилось и я спросил, кто этот старик. Это был Лев Николаевич.

.....

С Львом Николаевичем меня познакомил прокурор Давыдов приблизительно в 1892-93 гг., и с этих пор я неизменно помогал Л. Н. в его юридических вопросах.

.....

Помню один эпизод с Львом Николаевичем, но это было в 1910 г., незадолго до его кончины. Зимой он приехал с Душан[ом] Петровичем в Тулу, в заседание суда по делу о многочисленных крестьянах, которые обвинялись в разбое. Если это Вас интересует, напишите, и я Вам пришлю этот рассказ, который отчетливо сохранился в моей памяти.

Этот «рассказ» — см. в наст. книге, №45.

53. М. П. НОВИКОВ

Некоторые письма помогают уточнить примечания в томах Юбилейного издания. Таково письмо Новикова Михаила Петровича (1871-1939).

Впервые Новиков упоминается в дневнике Толстого в записи 2 мая 1896 г.

«Почти два месяца не писал. Всё это время жил в Москве. Событий важных было: сближение с писарем Новиковым, который изменил свою жизнь вследствие моих книг» (Т. 53. С. 83. Примеч. — С. 446. Москва, 1953 г., редактор Н. С. Родионов).

По этой записи и указывается дата знакомства Толстого с Новиковым: 1896 год. Самое удивительное то, что в примечаниях к дневнику 1907 года (Т. 56. С. 452), который редактировал сам Николай Николаевич, сказано, что Новиков «Познакомился с Толстым в Москве в 1896 году» (Т. 56, Москва, 1937 г.). Объяснить это можно тем, что том был подготовлен и сдан в печать до того, как Николай Николаевич получил такое вот письмо Новикова от 29 февраля 1936 г.

29/II 36 г.

Дорогой Н. Н.

Подарок твой получил, великое спасибо, и четыре вечера посвятил его просмотру. Как все было хорошо в этом недавнем прошлом и как оно было близко мне и всем причастным тому времени. Теперь для меня на очереди 53 и 82 тома, а потом, чтобы я мог разобраться во всех остальных, я прошу тебя как-нибудь прислать мне список всех предполагаемых к выпуску томов с 1-го и по 95, с отметкой, что в каком есть. А если дневники и письма, то и за какие они годы. Тогда бы я наперед знал, что мне из них ближе всего и чего я еще не видел и не читал. В частности я очень хотел бы знать: записал ли Л. Н. в дневнике за 95 год мой приход к нему вечером с секретн[ым] делом из штаба «О вызове войск для содействия гражд[анским] власт[ям]», в котором была и вся переписка о расстреле рабочих на Большой Корзинкинской фабрике в Ярославле. Он тогда очень перепугался за меня, боясь, что меня выследят и арестуют. Однако все же ушел в свой кабинет с этим делом и часа 1-2 его просматривал. Или он побоялся и в дневнике обнаружить тайну моего прихода, чтобы не выдать меня?

.....

Привет всем.

Новиков М. П.

Конечно, никаких упоминаний о посещении его Новиковым, который в то время был на военной службе старшим писарем строевого отделения окружного штаба, у Толстого в дневнике 1895 года нет. И понятно почему.

Новиков более подробно пишет о своем первом посещении Толстого в своих воспоминаниях о писателе, правда не называя опять-таки его точную дату. Воспоминания эти он пишет по настоятельному совету Николая Николаевича и посылает ему первые три главы для отзыва в 1932 году.

«Мое знакомство с Л. Н. совпало со временем усиленного рабочего движения 93-96 годов прошлого столетия и давало мне поводы к посещению его в Хамовническом доме, без которых мне было так неудобно и совестно нарушать его покой и занятия. Я был к тому же на военной службе старшим писарем строевого отделения окружного штаба (на Пречистенке)».

Служба давала возможность Новикову знакомиться с секретными делами на такие события в России, о которых молчали все газеты, что возмущало Новикова. Его товарищи советовали ему пойти к Толстому, который жил по зимам в Москве. Они уверяли его, что Толстой непременно опубликует эти факты за границей. И Новиков решился пойти ко Льву Николаевичу. Было это в 1895 году.

54. В. С. НИКОЛЬСКИЙ

Только один раз упоминается в указателе к Юбилейному изданию Никольский Виктор Сергеевич. В Записной книжке Толстого 22 июля 1907 г. читаем: «Ездил к Чертковым, у них Булыгины и юноша с сестрой очень милые: Никольские» (Т. 56. С. 204). Примечание составлено на основании сведений из письма Никольского Гусеву из Ленинграда от 17 января 1937 г. Но помимо них письмо содержит воспоминания о трех встречах Никольского с Толстым, о чем не упомянуто нигде.

17/1 37. Ленинград.

Многоуважаемый Николай Николаевич,

Получил от брата Ваше милое письмо и сейчас же на него отвечаю.

Прежде всего я очень удивлен, что Лев Николаевич отметил такой ничтожный по существу факт, как мое с сестрой там пребывание.

Во всяком случае сейчас мне это очень приятно.

Отвечаю на Ваши вопросы: родился я в 1887 году, таким образом, в отмеченное Львом Николаевичем время его встречи с нами, мне было 19 лет, я был студентом Петроградского Технологического Института и летом жил у Булыгиных, посещая иногда Чертковых.

Теперь я беспартийный инженер, работаю на одной из Ленинградских текстильных фабрик и честно, наравне с другими, отстаиваю пядь за пядью высоты социалистического строительства. Вопросы философского характера мне и сейчас не чужды.

Сестра, Валентина Сергеевна, моложе меня на 3 года, она училась тогда в одной из средних школ и все переживания того времени мы делили с ней пополам.

Отвечая на вторую часть Вашей просьбы — мне хочется отметить три встречи со Львом Николаевичем, которые особенно резко сохранились у меня в памяти.

Первая встреча: Живя у Чертковых, мы услышали, что приехал Лев Николаевич. Мы быстро, тут же на дворе, окружили его и он сейчас же стал с нами шутить: взял свою шляпу, повертел ее около нас, как-то быстро в два приема сложил ее вчетверо, потом развернул снова и, подав ее мне, сказал: «ну-ка, сверните ее так же!» — Я вертел, вертел эту шляпу в руках, и ничего не мог с нею сделать. — «Ну вот! — говорит Лев Николаевич, — вот у Вас и нет наблюдательности».

Вторая встреча: Он приехал верхом, весь мокрый от дождя. Владимир Григорьевич забеспокоился и притащил ему свой пиджак, чтобы он переоделся во все сухое. Лев Николаевич надел этот пиджак и, смотря на нас с лукавой улыбкой, оттопыривал его за переднюю пуговицу, показывая этим, что в этот же пиджак мог смело поместиться еще такой же Толстой. — Всем известно, что Владимир Григорьевич обладал весьма

солидными размерами и по объему был в два раза больше Льва Николаевича. Пля к коню и все еще оттягивая пиджак и улыбаясь нам — он быстро вскочил на коня и ускакал.

Третья встреча: встречаясь изредка у Чертковых со Львом Николаевичем, я несколько раз выражал желание увидеться с ним в Ясной Поляне. И вот однажды пианист Гольденвейзер (с которым я как-то вечером у Чертковых играл скрипичный концерт №9 Берио), однажды спросил: «Кто-то хотел поехать в Ясную Поляну?» Я живо откликнулся, мы сели с ним в двуколку и поехали. Он сам правил. Я ехал, чтобы поговорить со Львом Николаевичем о волновавших меня в то время вопросах жизни. Подъехали мы к Ясной Поляне в сумерки. Лев Николаевич повел меня к себе в кабинет во второй этаж, усадил в кресло, и я ему коротко рассказал о тщетных своих попытках найти истину, о своих намерениях бросить институт, уйти от родителей и жить в деревне среди простых людей и природы. — Он выслушал меня очень внимательно, и очень долго и ласково говорил, что я напрасно так горячо волнуюсь, напрасно думаю так резко сломать свою внешнюю жизнь. Говорил, что он сам близок к истине, но рецептов к ней дать никаких, конечно, нельзя. Она есть следствие сильной, глубокой жизни. Старайтесь глубже вдумываться в жизнь, анализировать свои поступки к окружающим вас людям, вкладывайте в них больше добра и вы будете также близки к ней.

Вот вкратце и все, Николай Николаевич. Я, к сожалению, тогда не записал эти его слова, но смысл приблизительно такой. И помню, что несмотря тогда на свою юность, я его понял и уехал от него успокоенным и более уравновешенным.

Если Вас что-нибудь будет еще интересовать, я к Вашим услугам.

Передайте, пожалуйста, от меня сердечный привет Михаилу Васильевичу Булыгину и скажите ему, что буду очень рад получить от него писульку, в которой он мне написал бы о своих сыновьях, особенно о Сереже.

Посылаю Вам карточку, на которой Вы увидите массу знакомых лиц, в их числе и я с сестрой.

Мой адрес: Ленинград 15. Улица Слуцкого, д. 37, кв. 5. Виктор Сергеевич Никольский.

[подпись]

Михаил Васильевич перепутал меня с Александром Сергеевичем.

Указатель упоминаемых произведений Л. Н. Толстого

- Азбука- 71-72
- Анна Каренина- 39, 87, 90, 99, 109, 167
- Благодарная почва- 236
- Власть тьмы- 10, 145-46, 149-51, 197
- Верьте себе- 245, 247
- Война и мир- 18-19, 34, 39, 57, 59, 87, 90, 109, 163, 167, 195
- Воскресение- 25
- Воспоминания- 1
- В чем моя вера?- 61, 63, 73
- Голод или не голод?- 94
- Два старика- 62
- Исповедь- 73
- Исследование догматического богословия- 74
- Казачи- 59
- Как читать Евангелие и в чем его сущность- 190
- К политическим деятелям- 153-54
- Крейцера соната- 80, 97, 246
- Круг чтения- 11, 165, 187, 190-91, 194, 198, 248
- На каждый день- 187
- Не могу молчать- 94, 96-98
- Нечаянно- 236
- О безумии- 247
- О голоде- 103
- О значении русской революции- 157, 160
- О методах обучения грамоте- 71
- О народном образовании- 58-59, 112
- О переписи в Москве- 73
- Ответ на определение Синода от 20-22 февраля- 124, 129
- От ней все качества- 236
- Песни на деревне- 189
- Плоды просвещения- 73, 197
- Послесловие к рабочему народу- см. «К политическим деятелям»
- Почему голодают русские крестьяне- см. «О голоде»
- Праздник просвещения- 94
- Прогресс и определение образования- 58
- Русские книги для чтения- 74
- Соединение и перевод четырех Евангелий- 74
- Страшный вопрос- 94
- Хаджи-Мурат- 10, 153
- Хозяин и работник- 105
- Царство Божие внутри вас- 8, 104, 107, 111
- Что такое искусство?- 8, 19, 119-21, 141
- Что я видел во сне...- 26

Указатель имен

- Августин Аврелий Блаженный 138
- Авенариус Рихард 245
- Агапов *рабочий* 234
- Адриан *кучер* 152
- Александр I 153
- Александр II 90
- Александр III 90, 95
- Альбертини Татьяна Михайловна (*урожд.* Сухотина) 161, 189
- Андреас-Саломе Лу 115, 118
- Андреев Леонид Николаевич 177, 180-81
- Анненков Павел Васильевич 33-34
- Анненковы 141
- Антоний (Медведев) *иеросхимонах* 38
- Анучин Дмитрий Николаевич 3, 27, 204
- Арнаутов Иван Александрович 5, 64, 67-68
- Арнаутова Татьяна Григорьевна 5, 64-68
- Аронсон Любовь Лазаревна 144
- Аронсон Наум Львович 9, 142-44
- Арцыбашев Михаил Петрович 249
- Бакунин Михаил Александрович 134
- Барятинская Лидия Борисовна см. Яворская Лидия Борисовна
- Барятинские, князья 146
- Барятинский Владимир Владимирович 151
- Бастрыкина Валентина Степановна 20
- Баумгартен Александр Готтлиб 119
- Безверхий Павел Федорович (*псевд.* Буки) 10, 155
- Бек *амер. профессор* 214
- Бекетов Андрей Николаевич 86, 249
- Бекетов Николай Николаевич 86
- Белинский Виссарион Григорьевич 57
- Беллами Эдуард 158
- Белоголовый Николай Андреевич 93
- Белозеров Александр Андреевич 6, 74
- Белоконский Иван Петрович 97
- Бельгард Софья Владимировна (*урожд.* Менгден) 4-5, 48-50
- Берио Шарль Огюст 261
- Берг Александр Андреевич 193
- Берг Петр Андреевич 67
- Бетховен Людвиг ван 81, 116
- Бирюков Павел Иванович 15, 19, 188, 248
- Блохина Пелагея 178
- Бобринский Алексей Павлович 166
- Бобырь Тамара И. 9, 133-37
- Богданович Милица Семеновна 15, 241-47
- Богданович Николай Модестович 154
- Боднарский М. 27
- Бодянский Александр Михайлович 155

- Болович М.М. 241, 243
 Бондарев Тимофей Михайлович 7, 83-85, 97
 Борисов Филипп Петрович 178
 Брейтбург Семен Моисеевич 4, 36, 38, 45
 Брокгауз *энциклопедия* 246
 Буайе Поль 10, 156-60
 Будда 42, 166, 209, 214, 224-25
 Булгаков Валентин Федорович 181, 183, 187, 239-40
 Булыгин Михаил Васильевич 179, 261
 Булыгин Сергей Михайлович 248, 261
 Булыгины 16, 260
 Бурмистров *крестьянин* 236
 Бурмистрова Раиса Демьяновна 133
 Васильев Владимир Никитич 26
 Вейнберг Петр Исаевич 93
 Вейнингер Отто 15, 245-47
 Великанов Павел Васильевич 3, 24
 Венедиктева Дарья 44
 Вениаминов Иван Евсеевич 47
 Викторова *курсистка* 134, 136
 Власовский Александр Александрович 144
 Волинский Аким Львович
 (наст. фам. Флексер) 8, 113-21
 Воронов Александр Дмитриевич 40, 45-46
 Ганс *садовник* 175
 Гаррисон Вильям Ллойд 161-62
 Ге Николай Николаевич *(сын)* 129, 185
 Геккель Эрст Генрих 235
 Герц Генрих Рудольф 8, 122
 Герье Владимир Иванович 133, 137
 Гиль Ричард (Роберт) Ричардович 257
 Гладстон Вильям Юарт 55
 Глинка Михаил Иванович 195
 Гоголь Николай Васильевич 57, 60
 Гольденблат Борис Осипович 14, 16, 228-30, 257
 Гольденвейзер Александр Борисович 1, 2, 12, 16, 179, 185-86, 191, 197, 204, 261
 Гольцев Виктор Александрович 85
 Гольцева О. А. 231
 Гончаров Иван Александрович 90
 Горбунов-Посадов Иван Иванович 129, 157, 174
 Горемыкин Иван Логгинович 115
 Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 74, 149, 235-36
 Гоц Михаил 71
 Грба Милован Данилович 15, 241-42, 244, 247
 Грибоедов Александр Сергеевич 55
 Григорович Карл Карлович 197
 Громова-Опульская Лидия Дмитриевна 1, 18-20
 Грот Николай Яковлевич 8, 105, 110, 139
 Грот Яков Карлович 105
 Губерт *баронесса* 65
 Гуревич Любовь Яковлевна 120-21
 Гусев Николай Николаевич 1, 4, 16, 18-20, 106, 108, 143-44, 176, 180, 198-99, 203, 230, 255-61
 Давыдов Николай Васильевич 257
 Данилевский Василий Яковлевич 88
 Дарвин Чарлз Роберт 235
 Деев-Хомяковский Григорий Дмитриевич 14, 231-35
 Дежина *работница завода* 234
 Делиб Клеман Филибер Лео 196
 Демидов Алексей 11, 163-67
 Денисенко Елена Сергеевна
 (урожд. Толстая) 13, 227
 Денисенко Иван Васильевич 13-14, 226-27
 Денисов *из Тулы* 255
 Денисов Андрей (кн. Мышецкий) 42, 47
 Джемс *амер. профессор* 214
 Джордж Генри 2, 15, 158, 165, 189, 248
 Диллон Эмилий Михайлович 103
 Дитерихс (Дидерихс, Дитрихс) Иосиф Константинович 11, 161-62
 Добролюбов Александр Михайлович 189
 Добролюбов Николай Александрович 153-54
 Добротворский Иван Михайлович 153
 Долгорукий (Долгоруков) Владимир Андреевич 78, 193
 Долинский М. 143-44
 Донсков Андрей Александрович
 см. Donskov, Andrew
 Достоевский Федор Михайлович 2, 57-58, 60, 114, 210
 Досев Христо Феодосиевич 176
 Дубасов Федор Васильевич 157
 Дубасова 157
 Думитрашко Константин Данилович
 (псевд. Копытько) 39, 46
 Дунаев Александр Никифорович 24
 Дьяков Дмитрий Алексеевич 6, 78-80
 Екатерина II 41, 159
 Еропкина Надежда Михайловна
 (урожд. Тургенева) 4, 33-35
 Жебунев Леонид Николаевич 136
 Жебуневы *сестры* 134, 136
 Жуковский Василий Андреевич 33
 Занфтлебен Федор Федорович 177-78, 189
 Засулич Вера Ивановна 79
 Захарьин *владелец мебл. комнат* 90
 Зелинский Николай Дмитриевич 88
 Златовратский Николай Николаевич 153
 Золя Эмиль 84
 Зубатов Сергей Васильевич 71
 Иванов Александр Петрович 8, 114, 117, 119, 121
 Иванова Зинаида Николаевна 1, 20
 Иванова Надежда Павловна 161
 Игнатьев, граф Николай Павлович 60
 Игуменова Юлия Ивановна 174
 Иевлева Ася 134

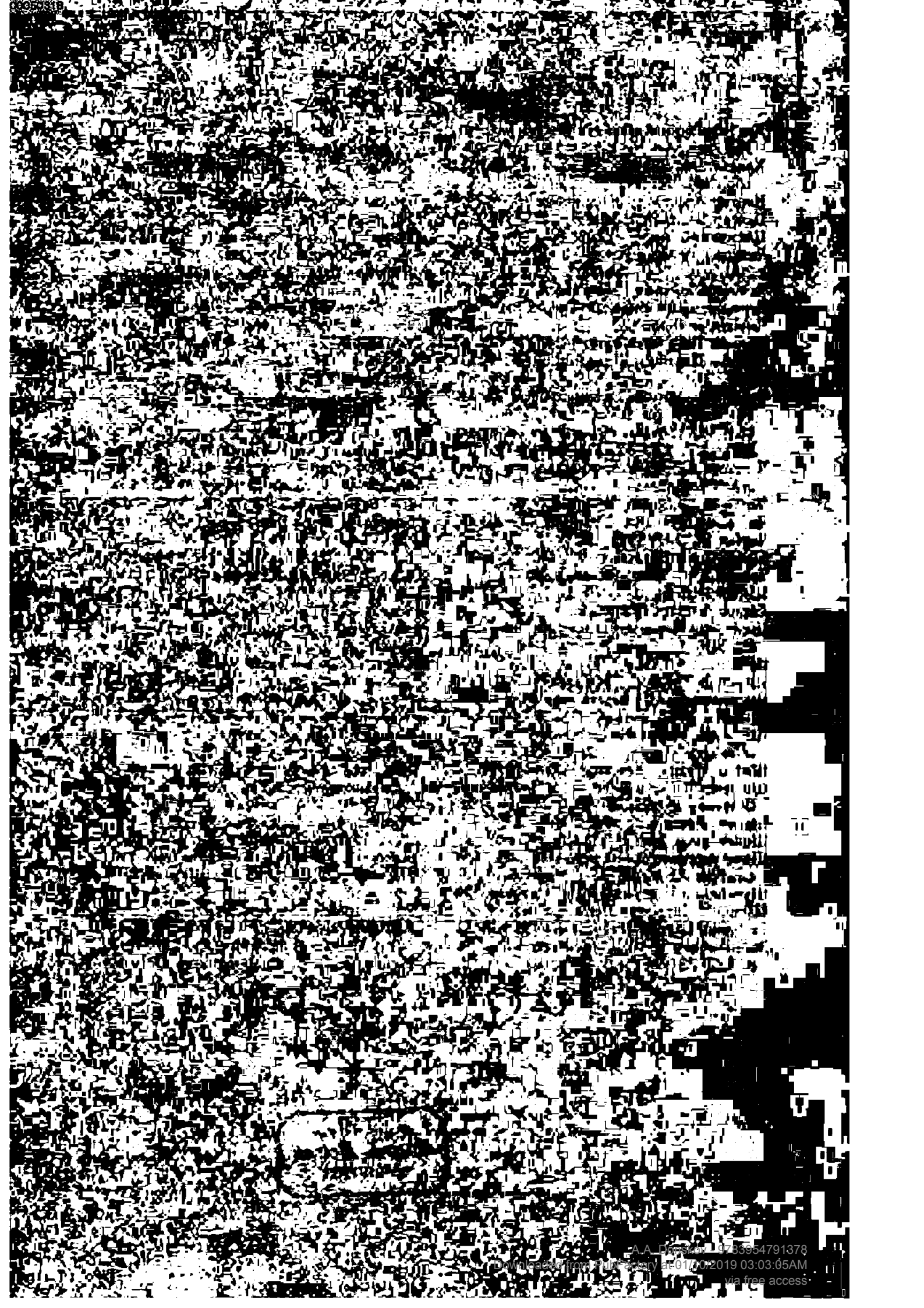
- Изенберг Константин Васильевич
 10, 145-47, 149-51
 Иннокентий *камчатский архиепископ (в мире Иван Евсеевич Вениаминов)* 43, 47
 Иоанн Босой 41
 Иоанн Кронштадтский (*в мире Иоанн Ильич Сергиев*) 12, 206-08, 213-14, 248
 Иона *основатель монастыря* 40
 Иорданский Николай Иванович 100-01
 Иосиф Аримафейский 42, 47
 Исаак Сириянин (Исаак Ниневийский) 214
 Иславин Константин Александрович
 65, 67
 Кант Иммануил 139, 245
 Карамзин Николай Михайлович 51, 53, 60
 Карл I Великий 158
 Карлейль Томас 11, 159
 Карпентер Эдуард 214
 Кашкин Николай Сергеевич 251
 Кенворти Джон 18
 Ковалевский Максим Максимович 93, 157, 160
 Колин 88
 Колокольцев Николай Аполлонович 77
 Колокольцева Мария Дмитриевна
 (*урожд. Дьякова*) 77-78
 Колокольцева Надежда Аполлоновна 77
 Колокольцевы 78
 Кольцов Алексей Васильевич 82
 Кони Анатолий Федорович 50
 Конопляникова Зинаида В. 157, 160
 Конфуций 224-25
 Коровин Сергей Алексеевич 75-76
 Короленко Владимир Галактионович 2, 15, 93, 134, 186, 248
 Краморев Николай Николаевич
 12, 190-200
 Крашенинников Николай Александрович
 64, 67
 Кропоткин Петр Алексеевич 12, 134, 198
 Кузин Сергей Тимофеевич 7, 14, 82-85, 236-37
 Кузминская Татьяна Андреевна
 (*урожд. Берс*) 49-51, 78, 201
 Кузминский Александр Михайлович 49, 77
 Кузьмин Николай Максимович
 (*псевд. Николай Жихарев*) 161-62
 Кулачинский *врач* 184
 Кун Александр Владимирович 178
 Куприн Александр Иванович 224-25
 Куприянов Виктор Герасимович
 15, 241-43, 246-47
 Куприянова 243
 Курчь 101
 Ладыженский Митрофан Васильевич 214
 Лао-Цзы (Лао-Тзе) 166
 Лашкарев Петр 45
 Лебедев Владимир Федорович 8, 104-12, 151
 Левицкий 231
 Леонардо да Винчи 2, 8, 116
 Лермонтов Михаил Юрьевич 37, 43, 82, 109
 Лесков Николай Семенович 114
 Липинская Мелания Андреевна 177, 189
 Лобачевский Николай Иванович 86
 Лопатин Александр Михайлович 230
 Лурье Михаил Васильевич 255
 Любич Ефим Николаевич 16, 255-56
 Люмьер Луи Жан 122
 Ляпунова Вера Сергеевна
 (*урожд. Арбузова*) 182
 Мажонович Владислав 178, 189
 Макиавелли Никколо 8, 117-18
 Маклаков Василий Алексеевич 86
 Маковицкий Душан Петрович 1, 2, 12-14, 16, 27-28, 155, 159, 161-62, 167, 173, 176, 180-83, 185, 187-90, 193, 200-05, 223, 225, 227-28, 230, 235, 240, 243-47, 249-50, 257
 Максимилиан 47
 Малори Люси 194
 Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 93
 Мамонтов Анатолий Иванович 76
 Мамонтов Савва Иванович 76
 Марей Этьенн Жюль 8, 122
 Марков Евгений Львович 5, 51-60
 Марковников Владимир Васильевич
 7, 88-89
 Мартынов Алексей Васильевич
 12, 201-05
 Матвеев Иван Васильевич 178
 Матвеев Николай 178
 Мачикин А. 15, 238-40
 Мельников И. 13, 220-25
 Менгден Елизавета Ивановна
 (*урожд. Бибилова, по первому мужу Оболенская*) 4, 48, 50
 Менгден Ольга Владимировна
 (*в замуж. Фредерикс*) 49
 Менгден Софья Владимировна (*в первом браке Трахимовская, во втором Бельгард*) 48-50
 Мензбир Михаил Александрович 86
 Меншуткин Николай Александрович 88
 Мечников Илья Ильич 177
 Милонидов Ф. *крестьянин* 14, 85, 236-37
 Мин Георгий Александрович 160
 Минаев Иван Павлович 6, 69
 Минор Соломон Алексеевич (Залкинд) 74
 Миролюбов Виктор Сергеевич 153-54
 Миславский Иван 44
 Михайловский Николай Константинович
 58, 60, 108, 110, 112
 Михин С. И. 72
 Михина А. Н. 71
 Мольер (Жан Батист Поклен) 2, 57, 60
 Моод Эльмер (Алексей Францевич) 8, 114, 117-21

- Морлей Джон 118
 Морозов Василий 1
 Морозов Николай Александрович 134
 Морозов Петр 1
 Мошин Алексей Николаевич 6, 75
 Муравьев Андрей Николаевич 39, 42, 46
 Муравьева Соля 134
 Муромцев Сергей Андреевич 93
 Муслин-Пушкин, граф Алексей Иванович 65
 Нагорнов Ипполит Михайлович 81
 Нагорнова Варвара Валерьяновна
 (*урожд. Толстая*) 81
 Наживин Иван Федорович 193
 Накашидзе Александр Петрович 9, 130-32
 Накашидзе Илья Петрович 131-32
 Накашидзе Нина Осиповна 132
 Неизвестный автор 8, 124-29
 Некрасов Николай Алексеевич 82, 111
 Некрасов Сергей Александрович 7, 86-87
 Никитин Дмитрий Васильевич 18, 148,
 151-52, 154, 201-03, 205
 Никифорова Татьяна Георгиевна 20
 Николаев Сергей Дмитриевич 189, 248
 Николаева Лариса Дмитриевна
 (*урожд. Нецаева*) 174-75, 189
 Николай I 44, 153-54
 Николай II 95, 152, 154
 Никольская Валентина Сергеевна 260
 Никольские 260
 Никольский Александр Сергеевич 261
 Никольский Виктор Сергеевич 16, 260-61
 Никон *патриарх* 43
 Ницше Фридрих 2, 8, 115, 118
 Новиков Михаил Петрович 10, 16, 153,
 258-59
 Новиков Федор Ильич 16, 250-51
 Новичков Гавриил Александрович 3, 28
 Оболенская Елизавета Валерьяновна
 (*урожд. Толстая*) 6, 78-79
 Оболенская Мария Львовна (*урожд. Тол-*
стая) 26, 49, 67, 148, 176, 189
 Оболенский Николай Леонидович 148
 Овчинникова Ирина Борисовна 159
 Озолин Иван Иванович 100
 Олсуфьев Василий Александрович 64
 Олсуфьев Дмитрий Аламович 28, 203
 Орлов Владимир Федорович 3, 23
 Орлова-Чесменская, графиня Анна 46
 Павленков Флорентий Федорович 153
 Павлов Георгий Степанович 13, 218-19
 Паскаль Блез 57
 Перпер Иохиф Иохифович
 (*наст. фам. Осиевич*) 15, 248-49
 Петерсон Н. 1
 Петр I 43
 Петров Николай Иванович 4, 36-47
 Петроний Гай 158
 Петрункевич Иван Ильич 79
 Пилат 47
 Писемский Алексей Феофилактович 90
 Пифагор 13, 218-19
 Платон 57
 Погодин Михаил Петрович 60
 Поленов Василий Дмитриевич 6, 75-76
 Поливанов Иван Львович 5, 51-60
 Поливанов Лев Иванович 5-6, 51-54,
 56-59, 67
 Поливанова М. А. 51
 Полонский Яков Петрович 33
 Помяловский Николай Герасимович 90
 Прокофьев Петр 42, 47
 Прокошкин *крестьянин* 178
 Протопоповы 77
 Пушкин Александр Львович 81
 Пушкин Александр Сергеевич 53, 81-82,
 109, 195
 Пушкин Евгений Алексеевич 6, 77-81
 Рабинович Юлий Яковлевич 6, 71-74
 Раевский Н. Н. 9, 140
 Рамакришна
 (*наст. фам. Гададхар Чаттерджи*) 214
 Ратницкий Арий (Лев) Давыдович 169
 Ратов Сергей Михайлович 10, 145-51,
 154
 Реклю Жан Жак Элизе 236
 Рентген Вильгельм Конрад 8, 122
 Реомюр Рене Антуан 122
 Репин Илья Ефимович 2, 109, 111, 116,
 135-36, 145
 Ризенкамф Ф. Ф. 13, 211-13
 Родионов Николай Сергеевич 237, 258
 Розенберг В. А. 103
 Романов Владимир Викторович 3, 7,
 90-103
 Рубинштейн Николай Григорьевич 200
 Рудзит *корреспондент* 102
 Русанов Андрей Гаврилович 10, 152-54
 Русанов Гавриил Андреевич 154
 Русанов Коля 152
 Салищевы Ефим Алексеевич и Алексей
 Алексеевич 11, 168-73
 Салтыков Б. И. 101
 Сампсон *странноприимец* 40, 46
 Сарафов Абдурашид 26
 Секретов *рабочий* 231-32
 Семенов Леонид Дмитриевич 179, 189
 Семенов Сергей Терентьевич 84, 92, 103,
 176-77
 Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович 179
 Сен Кетобчондро 69
 Серафим Саровский 43
 Сервантес Мигуэль Сааведра 57, 60
 Сергеенко Алексей Петрович 25
 Сергеенко Петр Алексеевич 106, 226
 Сергей Радонежский 43
 Сеченов Иван Михайлович 7, 86-87
 Сибиряков Константин Михайлович 3, 23
 Сидорков Илья Васильевич 12, 174-89,
 240
 Сикала Якуб 44

- Сильвестр 178, 189
 Слабченко М. Е. 36
 Соболевский Василий Михайлович
 7, 91-92, 95, 97, 99, 103
 Соловьев Александр Николаевич 179
 Соловьев Владимир Сергеевич 119
 Соловьев Евгений Андреевич 10, 153-54
 Соловьев Михаил Петрович 115
 Сомов Александр Сергеевич 4, 33, 35
 Сомова Ольга Александровна
 (*урожд.* Тургенева) 33-35
 Сорокин А. Е. 39, 44, 46
 Сорокин Евграф Семенович 46
 Софокл 56
 Станиславский Константин Сергеевич
 2, 10, 106, 111, 146-47, 151
 Станикович Константин Михайлович 93
 Стахович Софья Александровна 186
 Столыпин Петр Аркадьевич 181
 Столяров Семен Иванович 195-96
 Стоюнин Владимир Яковлевич 59
 Страхов Николай Николаевич 6, 36, 60,
 68, 70
 Страхов Федор Алексеевич 179
 Стрепетова Полина (Пелагея) Антиповна
 149, 151
 Сумцева Дина 134-36
 Сурин Александр Петрович 237
 Сутковой Николай Григорьевич 161-62
 Сухотин Михаил Сергеевич 185, 189, 243
 Сухотина Татьяна Львовна
 (*урожд.* Толстая) 61, 67, 84, 87,
 119-20, 154, 159, 161, 172, 180,
 185-86, 188-89, 201, 230, 233, 243
 Тагор Дебендранатх 69
 Танеев Сергей Иванович 196
 Тапсель Томас 181
 Терновский Филипп 45
 Тимирязев Климент Аркадьевич 86, 89
 Толстая Александра Львовна 14, 18-19,
 29, 63, 67, 178-89, 193, 201, 204-05,
 227, 240, 243-44
 Толстая Варвара Сергеевна 26
 Толстая Вера Сергеевна 3, 26, 50
 Толстая Екатерина Васильевна
 (*урожд.* Горянинова, *по перв. мужу*
 Арцимович) 186
 Толстая Мария Николаевна 16, 63,
 78-79, 81, 99, 148, 202
 Толстая Мария Сергеевна 26
 Толстая Ольга Константиновна (*урожд.*
 Дитерихс) 159, 162, 177-78, 189
 Толстая Софья Андреевна (*урожд.* Берс)
 2, 5, 9, 12-13, 36, 38, 48-52, 63, 65,
 67, 72, 74, 81, 99, 115, 117, 119-21,
 135, 142-44, 148-49, 152, 159, 161,
 166-67, 171-76, 180, 182-89, 193, 197,
 201-03, 209, 220-21, 225-27, 229, 232,
 237-38, 243
 Толстая Татьяна Львовна 11, 161
 Толстая-Еленина Софья Андреевна 178
 Толстой Андрей Львович 11, 67, 161-62,
 189, 227
 Толстой Иван Львович 7, 63, 84-85
 Толстой Илья Андреевич 178
 Толстой Илья Львович 48-49, 51, 67
 Толстой Лев Львович 51, 67, 73, 127,
 148, 184-85, 243
 Толстой Михаил Львович 180, 227, 248
 Толстой Николай Николаевич 140-41
 Толстой Сергей Львович 5, 51, 63, 88,
 188, 202
 Толстой Сергей Николаевич 10, 26, 50,
 152, 179
 Трепов Дмитрий Федорович 131-32, 143,
 157, 160
 Троицкий Дмитрий Егорович 13, 222-23,
 225
 Троицкий (*сын Д. Е. Троицкого*) 13, 222
 Трубецкой Павел Петрович
 (Паоло Трубецкой) 181
 Тургенев Александр Михайлович 33-35,
 60
 Тургенев Иван Сергеевич 2, 4, 33-35, 90,
 114
 Тургенева Пелагея Христиановна
 (*урожд.* Литке) 35
 Туржанский Павел 189
 Тычинкин *литератор* 175
 Урусов Александр Иванович 81
 Урусов Леонид Дмитриевич 5, 49-50,
 61-63
 Урусова Анастасия Леонидовна
 (*в замуж.* Гирс) 63
 Урусова Ирина Леонидовна 63
 Урусова Мария Леонидовна (Mary)
 5, 61-63
 Урусова Мария Сергеевна
 (*урожд.* Мальцева) 5, 61-63
 Усов Павел Сергеевич 132
 Успенский Глеб Иванович 93
 Успенский Петр Леонидович
 (Петров-Леонидов) 155
 Успенский Порфирий 42-43, 47
 Файнерман Исаак Борисович
 (*псевд.* Тенеромо) 144
 Файнерман Эсфирь Борисовна 144
 Феодосий Печерский 46
 Феофимова Варвара Михайловна 184-89
 Феофан *иерусалимский патриарх* 42
 Фет Афанасий Афанасьевич
 (*наст. фам.* Шеншин) 149
 Филарет (*в мире* Филаретов Михаил
 Прокофьевич) 39, 44, 46
 Фоканов Василий 178
 Франс Анатолий 158
 Франциск Ассизский 214
 Фредерикс Константин Платонович 49-50
 Фукс В. А. *педагог* 51-52
 Хилков Дмитрий Александрович 255

- Храбровицкий Александр Вениаминович 143-44
 Христос 6, 23, 42, 75-76, 116, 120, 139, 166, 207-08, 215-17, 224, 230
 Цингер Александр Васильевич 87, 179
 Цингер Василий Яковлевич 7, 86-88
 Цявловский, проф. 220
 Чайковский Петр Ильич 2, 12, 178, 195, 200
 Чельшев Михаил Дмитриевич 176, 189
 Чернышевский Николай Гаврилович 90
 Черняев *генерал* 65
 Черняев Иван Михайлович 24
 Чертков Владимир Владимирович 174-75, 181, 248
 Чертков Владимир Григорьевич 1, 2, 12, 14, 16, 19, 50, 85, 162, 173-76, 179, 181-86, 188-89, 191-93, 196-98, 202, 209, 227, 236-37, 255-56, 260-61
 Черткова Анна Константиновна (*урожд. Дитерихс*) 162
 Черткова Елизавета Ивановна 186
 Чертковы 16, 183, 240, 248, 260-61
 Черток С. 143-44
 Чехов Антон Павлович 93, 149
 Чупров Александр Иванович 86, 93
 Шарко Жан Мартэн 75
 Шварц Александр Николаевич 204
 Шейерман Владимир Александрович 12, 206-17
 Шейерман Михаил 217
 Шекспир Уильям 2, 57, 60, 165
 Шеляпина Нина Георгиевна 20
 Шишкин Н. И. *педагог* 51-52
 Шишкина Мария Михайловна (*в замуж. Толстая*) 26
 Шмидт Мария Александровна 179-80
 Шнейдер Варвара Петровна и Александра Петровна 6, 69-70
 Шопен Фредерик 194, 204
 Шопенгауер Артур 53, 139
 Шпир Африкан Александрович *с.м. Spir Afrikan*
 Шубейский-Глинский Влас Иванович 44
 Щепкин Митрофан Павлович 64, 68
 Эверлинг Сергей Николаевич 9, 138-41
 Энгельмейер Петр Климентьевич 8, 122-23
 Эпиктет 161
 Эрденко Михаил Гаврилович 178
 Эртель Александр Иванович 159
 Эфрон Анна 134
 Эфрон Елизавета Петровна (*урожд. Дурново*) 134, 136
 Эфрон Яков Константинович 134
 Эфрос Николай Ефимович 100
 Яворская (Барятинская) Лидия Борисовна 10, 145, 151
 Якубовский Юрий Осипович 248
 Янчин Иван Васильевич 51-52
 Ясинский Иероним Иеронимович (Максим Белинский) 114
 Ячницкий А. В. *врач* 64
- * * *
- Boyer, Paul *с.м. Буайе Поль*
 Carlyle, Thomas *с.м. Карлейль Томас*
 Casadesus, Henri (Казадесюз Анри) 189
 Casadesus, Mariel (Казадесюз Мариель) 189
 Casella, Alfredo (Казелла Альфред) 189
 Christ *с.м. Христос*
 Devilliers, Maurice (Девиллье Морис) 189
 Donskov, Andrew (Донсков Андрей Александрович) 1-17
 George, Henry *с.м. Джордж Генри*
 Hertz, Heinrich Rudolf *с.м. Герц Генрих*
 Hewitt, Maurice (Хьюитт Морис) 189
 James, Edward (Джемс Эдуард) 140
 Leonardo da Vinci *с.м. Леонардо да Винчи*
 Machiavelli, Niccolo di Bernardo dei *с.м. Макиавелли Никколо*
 Marey, Etienne Jules *с.м. Марей Этьенн*
 Maude, Aylmer *с.м. Моуд Эльмер*
 Nietzsche, Friedrich Wilhelm *с.м. Ницше Фреидрих*
 Pythagoras *с.м. Пифагор*
 Röntgen, Wilhelm Conrad *с.м. Рентген Вильгельм*
 Sedgwick, Ellery (Седжвик Эллери) 140
 Shakespeare, William *с.м. Шекспир Уильям*
 Spir, Afrikan Aleksandrovich (Шпир Африкан Александрович) 141
 Sully, Thomas (Салли Томас) 140
 Weininger, Otto *с.м. Вейнингер Отто*





VORTRÄGE UND ABHANDLUNGEN ZUR SLAVISTIK

– herausgegeben von Peter Thiergen (Bamberg) –

Verzeichnis der bislang erschienenen Bände

(W. Schmitz Verlag, Gießen)

- Band 1: Peter Thiergen
Turgenevs "Rudin" und Schillers "Philosophische Briefe".
(Turgenev Studien III)
1980, 66 S., broschiert, DM 19,80
- Band 2: Bärbel Miemietz
Kontrastive Linguistik. Deutsch-Polnisch 1965–1980.
1981, 132 S., broschiert, DM 25,–
- Band 3: Dietrich Gerhardt
*Ein Pferdename. Einzelsprachliche Pointen und die Möglichkeiten ihrer
Übersetzung am Beispiel von A. P. Čechovs "Lošadinaja familija"*.
1982, 69 S., broschiert, DM 20,–
- Band 4: Jerzy Kasprzyk
Zeitschriften der polnischen Aufklärung und die deutsche Literatur.
1982, 93 S., broschiert, DM 20,–
- Band 5: Heinrich A. Stammeler
Vasilij Vasil' evič Rozanov als Philosoph.
1984, 90 S., broschiert, DM 20,–
- Band 6: Gerhard Gieseemann
*Das Parodieverständnis in sowjetischer Zeit. Zum Wandel einer lite-
rarischen Gattung.*
1983, 54 S., broschiert, DM 19,–
- Band 7: Annelore Engel-Braunschmidt
*Hebbel in Rußland 1840–1978. Gefeierte Dichter und verkannter
Dramatiker.*
1985, 64 S., broschiert, DM 20,–
- Band 8: Suzanne L. Auer
Borisav Stankovičs Drama "Koštana". Übersetzung und Interpretation.
1986, 106 S., broschiert, DM 25,–

(Otto Sagner Verlag, München):

Band 9: Peter Thiergen (Hrsg.)

Rudolf Bächtold zum 70. Geburtstag.

1987, 107 S., broschiert, DM 22,-

Band 10: A. S. Griboedov

Bitternis durch Geist.

Vers-Komödie in vier Aufzügen. Deutsch von Rudolf Bächtold.

1988, 101 S., broschiert, DM 20,- (vergriffen)

Band 11: Paul Hacker

Studien zum Realismus I. S. Turgenews.

1988, 79 S., broschiert, DM 20,- (vergriffen)

Band 12: Suzanne L. Auer

Ladislav Mňáčko. Eine Bibliographie.

1989, 55 S., broschiert, DM 16,-

Band 13: Peter Thiergen

Lavreckij als "potenzierter Bauer". Zu Ideologie und Bildsprache in I. S. Turgenews Roman "Das Adelsnest".

1989, 40 S. Text plus 50 S. Anhang, broschiert, DM 18,- (vergriffen)

Band 14: Aschot R. Isaakjan

Glossar und Kommentare zu V. Astafjews "Der traurige Detektiv".

1989, 52 S., broschiert, DM 10,-

Band 15: Nicholas G. Žekulin

The Story of an Operetta: Le Dernier Sorcier by Pauline Viardot and Ivan Turgenev.

1989, 155 S., broschiert, DM 18,-

Band 16: Edmund Heier

Literary Portraits in the Novels of F. M. Dostoevskij.

1989, 135 S., broschiert, DM 18,-

Band 17: Josef Hejnic (u. Mitarbeiter)

Bohemikale Drucke des 16.-18. Jahrhunderts.

1990, 65 S., broschiert, DM 8,-

Band 18: Roland Marti

Probleme europäischer Kleinsprachen: Sorbisch und Bündnerromanisch.

1990, 94 S., broschiert, DM 17,-

- Band 19: Annette Huwyler-Van der Haegen
Gončarovs drei Romane – eine Trilogie?
1991, 100 S., broschiert, DM 20,–
- Band 20: Christiane Schulz
Aspekte der Schillerschen Kunsttheorie im Literaturkonzept Dostoevskijs.
1992, 258 S., broschiert, DM 40,–
- Band 21: Markus Hubenschmid
Genus und Kasus der russischen Substantive: Zur Definition und Identifikation grammatischer Kategorien.
1993, 134 S., broschiert, DM 20,–
- Band 22: France Bernik
Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Drei Abhandlungen.
1993, 75 S., broschiert, DM 16,–
- Band 23: Werner Lehfeldt
Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie.
1993, 141 S., broschiert, DM 30,–
- Band 24: Juhani Nuorluoto
Die Bezeichnung der konsonantischen Palatalität im Altkirchenslavischen. Eine graphematisch-phonologische Untersuchung zur Rekonstruktion und handschriftlichen Überlieferung.
1994, 138 S., broschiert, DM 25,–
- Band 25: Peter Thiergen (Hrsg.)
Ivo Andrić 1892–1992. Beiträge des Zentenarsymposiums an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
1995, 161 S., broschiert, DM 25,–
- Band 26: Sebastian Kempgen
Russische Sprachstatistik. Systematischer Überblick und Bibliographie.
1995, 137 S., broschiert, DM 25,–
- Band 27: Peter Thiergen (Hrsg.)
Ivan S. Turgenev – Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der Internationalen Fachkonferenz aus Anlaß des 175. Geburtstages an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 15.–18. September 1993.
1995, 282 S., broschiert, DM 44,–

- Band 28: A. A. Donskov (Hrsg.)
L. N. Tolstoj i M. P. Novikov. Perepiska.
1996, 120 S., broschiert, DM 20,-
- Band 29: A. A. Donskov (Hrsg.)
L. N. Tolstoj i T. M. Bondarev. Perepiska.
1996, 142 S., broschiert, DM 25,-
- Band 30: V. Setschkareff
Die philosophischen Aspekte von Mark Aldanovs Werk.
1996, 80 S., broschiert, DM 18,-
- Band 31: Galina A. Time
Nemeckaja literaturno-filosofskaja mysl' XVIII-XIX vekov v kontekste tvorčestva I. S. Turgeneva (Genetičeskie i tipologičeskie aspekty).
1997, 140 S., broschiert, DM 30,-
- Band 32: L. D. Gromova-Opul'skaja/Z. N. Ivanova (sost.),
Novye materialy L. N. Tolstogo i o Tolstom. Iz archiva N. N. Guseva.
Redaktion: A. A. Donskov.
1997, 267 S., broschiert, DM 40,-